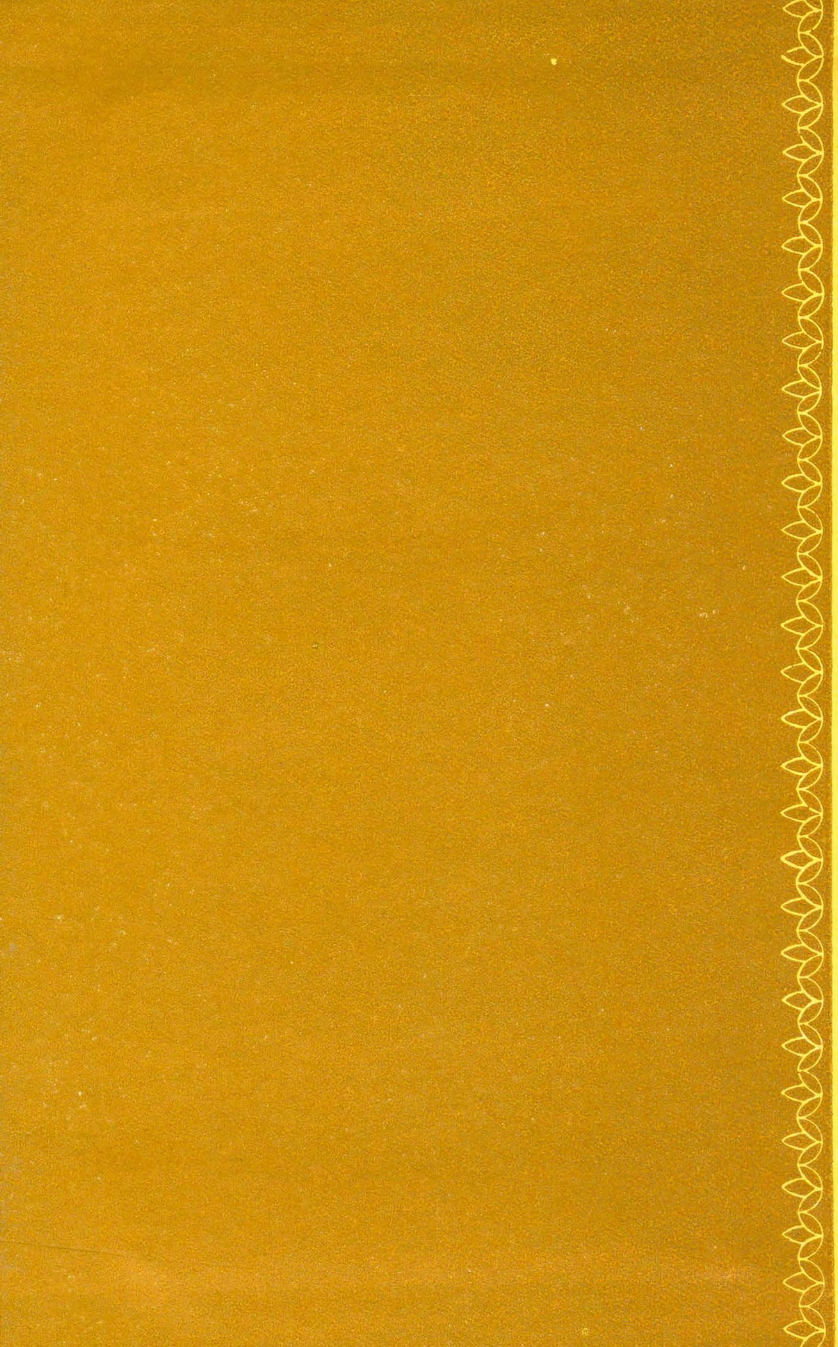
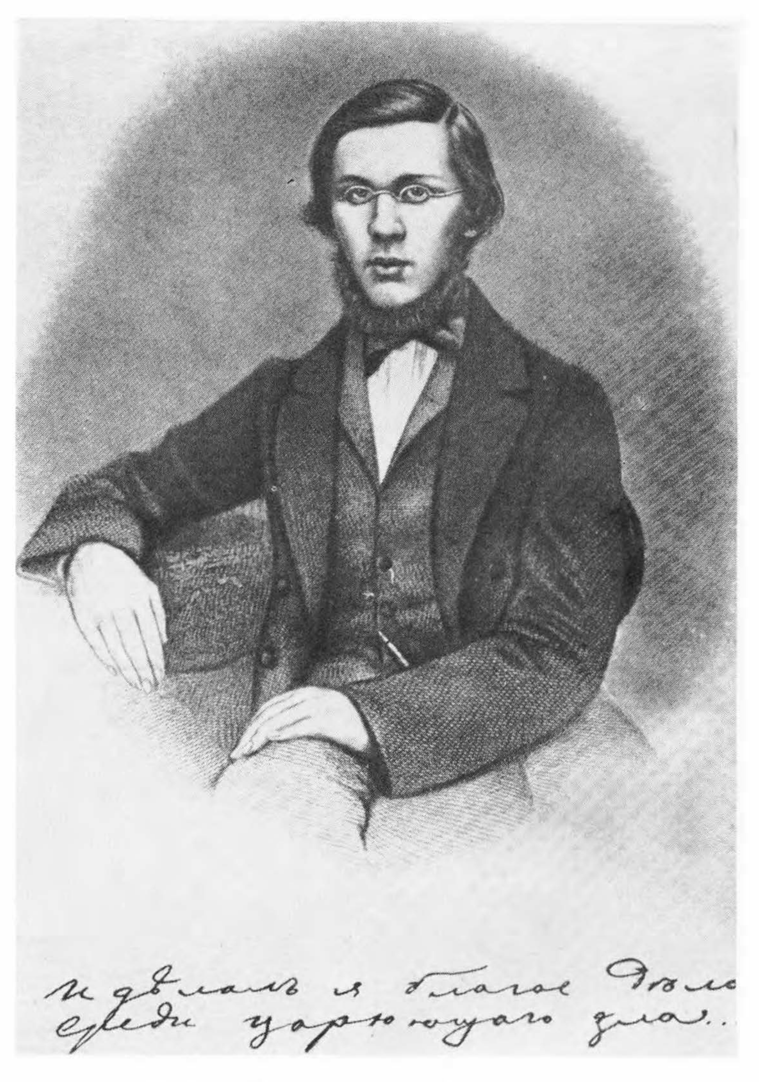
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ







Н. А. Добролюбов. Гравюра Ф. А. Брокгауза. 1862 г.
Строки под портретом (воспроизведение автографа
Н. А. Добролюбова) были запрещены цензурой.



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Вступительная статья
Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНОЙ

Составление, подготовка текста и комментарии
С. А. РЕЙСЕРА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Д $\frac{4702010100-159}{028(01)-86}$ 18-86

СОВРЕМЕННИКИ О ДОБРОЛЮБОВЕ

...Вся наша надежда на будущие поколения.

Н. А. Добролюбов

Отношения ведущего критика журнала «Современник» с его современниками, в том числе и с теми из них, кто впоследствии оставит свои мемуары, были далеко не простыми. Они определялись, как это и всегда бывает, когда речь идет о человеке выдающемся, не только личными свойствами, но и направлением, содержанием его деятельности. Убежденный в неизбежности и необходимости революционного преобразования России, видевший в литературе могущественное средство пробуждения общественного самосознания, Добролюбов и в сфере частной своей жизни не был способен на компромиссы. Идеи, которые он проповедовал, сила его слова, благородство и сдержанная страстность натуры делали его идеалом для одних; те же самые качества способствовали полному неприятию его личности и деятельности для других.

«Говорят, что мой путь — смелой правды — приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть недаром» [1]. Слова юноши Добролюбова, а они сказаны, когда ему было едва двадцать лет, вновь, уже с сознанием сбывшегося предчувствия, прозвучали в его предсмертном стихотворении:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен.

К стихотворению, с его пафосом самоотвержения во имя высокой цели, нельзя относиться лишь как к проявлению индивидуальной настроенности. Этот же пафос определил судьбу многих и многих, видевших в Добролюбове Учителя в самом высоком смысле слова. Отдававшие жизни во имя будущего своей страны, они были убеждены, что недалеко уже то «время, когда будет по справедливости оценен Добролюбов», помогавший им «смотреть без страха и

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М.—Л., Гослитиздат, 1964, с. 254.

трепета в это будущее»: ведь все они сами принимали участие в борьбе за его «победу» [1]. Для них Добролюбов был — и остался навсегда — одним из тех незабываемых людей, сама память о которых облагораживает. «Философ, критик, публицист, поэт, глубокий мыслитель и едкий сатирик — он, бесспорно, принадлежал к высшему разряду «избранных натур»,— натур, отмеченных печатью гения» [2],— писал в начале 1880-х годов революционер-народник П. Н. Ткачев. Воспоминания единомышленников и последователей Добролюбова, если они знали его лично, окрашены чувством восхищенного, а часто и благоговейного уважения.

Другие, высоко оценивая прежде всего талантливость Добролюбова, сожалели о направлении, в котором он ее использовал. Их отношение к Добролюбову — независимо от того, нравился или не нравился им он как человек,— определяется уверенностью в его одаренности и сомнением в правильности выбранного Добролюбовым пути, сочувствием тому, что так быстро «сгорел» один из плеяды блистательных русских критиков и — в то же время — неприятием его взглядов. Наиболее определенно эта позиция выражена в письме Тургенева от 11/23 декабря 1861 года. «Я пожалел о смерти Добролюбова,— писал он И. П. Борисову,— хотя и не разделял его воззрений: человек был даровитый — молодой... Жаль погибшей, напрасно потраченной силы!» [3]

И, наконец, были и такие, для которых личность Добролюбова, его деятельность революционера, критика, публициста оказались неприемлемы до враждебности, до озлобленного отрицания всех его достоинств. Иногда явно, иногда завуалированно прослеживается в мемуарах и подобный настрой.

Собранные вместе воспоминания о Добролюбове именно потому, что они так отличаются друг от друга по своему характеру, не только дают возможность нам представить себе черты живого человека, но и помогают восстановить накаленную атмосферу эпохи, в которой Добролюбов действовал, обретая в пылу идейной борьбы друзей и врагов.

* * *

Краткость жизни Николая Александровича Добролюбова, всего лишь двадцать пять лет (родился 24 января/5 февраля 1836 года в Нижнем Новгороде, а умер 17/29 ноября 1861 года в Петербурге),

---

[1] Бибиков П. А. О литературной деятельности Н. А. Добролюбова. СПб., 1862, с. 110.

[2] Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 226.

[3] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. 4. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962, с. 316.

не могла не наложить специфического отпечатка на мемуарные свидетельства, и даже на самое их количество. Оно сравнительно невелико, и, за некоторыми исключениями, настоящий сборник исчерпывает их. Возможно, и будут найдены новые материалы, но вряд ли обширные.

Среди сохранившегося совсем нет мемуарных книг большого объема, посвященных только Добролюбову, какие существуют, например, о Л. Н. Толстом. Воспоминания о Добролюбове чаще всего кратки, фрагментарны, что также связано с некоторыми особенностями его жизненного пути. Его жизнь четко может быть разделена на несколько сфер; существование внутри каждой из них было достаточно замкнутым, чтобы ограничить число лиц, с которыми общался Добролюбов. Отцовский священнический дом, семинария, Главный педагогический институт, время, проведенное в Италии. Лишь годы сотрудничества в «Современнике» заметно расширили круг личных связей и знакомств Добролюбова, но при его скрытном характере и это «расширение» было весьма относительным. Добролюбов имел обширную читательскую аудиторию — и узкий круг близких людей.

В совокупности воспоминания современников о Добролюбове хронологически охватывают всю его жизнь, и сборник построен в соответствии с ее важнейшими этапами: «В Нижнем Новгороде», «В Петербурге. В Главном педагогическом институте», «Современник». Поездка в Старую Руссу. За границей», «Возвращение в Петербург. Болезнь и смерть».

Есть и еще одна существенная особенность мемуарного материала о Добролюбове. Во многих случаях он был написан не стихийно. Огромную роль в его собирании и появлении сыграл соратник Добролюбова, его старший друг [1] — Н. Г. Чернышевский. Свое понимание значения Добролюбова для России ярко и точно сформулировал он в словах некролога: «Ему было только 25 лет. Но уже четыре года он стоял во главе русской литературы,— нет, не только русской литературы,— во главе всего развития русской мысли».

А в той части некролога, которая в свое время не могла быть напечатана, Чернышевский восклицал: «О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих».

Через два месяца после кончины Добролюбова Чернышевский публикует в первом номере «Современника» за 1862 год «воззвание»

[1] Кстати, заметим, что разница в возрасте между ними — всего 8 лет — потому и казалась значительной им (а позже — нам), что оба были молоды во время своего знакомства. Проживи Добролюбов долее, она, несомненно, сгладилась бы.

к людям, знавшим Добролюбова. «Ко всем бывшим товарищам Николая Александровича и к его друзьям обращаюсь я,— писал Чернышевский,— с просьбою: сообщать мне свои воспоминания о нем и передать мне на время те его письма и бумаги, которые сохранились у них. Смею уверить, что всеми сообщаемыми мне воспоминаниями и документами я буду пользоваться для печати лишь настолько, насколько мне будет разрешено лицом, сообщившим этот материал» [1].

В том же «Современнике» Чернышевский помещает первые собранные им «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», снабжая их своими примечаниями, которые представляют собой большую историко-литературную, общественную и психологическую ценность, так как в них отразилось не только понимание роли и значения Добролюбова-критика, публициста, но и понимание Добролюбова-человека. Примечания Чернышевского, в частности к опубликованным им отрывкам из добролюбовского дневника, принадлежат к тем немногим мемуарным свидетельствам, которые приоткрывают нам недоступный для постороннего взгляда внутренний мир Добролюбова, глубину и борение его чувств.

Начав работу над биографией Добролюбова в 1862 году, Чернышевский продолжал ее и по возвращении из ссылки, более чем через два десятилетия после кончины своего друга и соратника.

Существенные стороны жизни Добролюбова освещены Чернышевским в разных по форме документах. К ним относятся не только «Материалы...», но и «Воспоминания о начале знакомства с Н. А. Добролюбовым». Написанные в 1886 году, они представляют собой письмо к А. Н. Пыпину. «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым» — мемуарный очерк, ценнейший источник сведений о круге «Современника» и его деятелях в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века. Место Добролюбова в этом кругу, последние годы жизни критика очерчены мемуаристом живо и выразительно, хотя о многом Чернышевскому приходилось умалчивать, в частности о революционной деятельности Добролюбова;[2] некоторые же детали за давностью лет стерлись в памяти Чернышевского и могут быть в какой-то мере восстановлены по не вошедшим в настоящий сборник статьям, заметкам и письмам Чернышевского, также имеющим мемуарный характер: «В изъявление признательности», письмо к Т. К. Грюнвальд от 10 февраля 1862 года, письма к О. С. Черны-

[1] Современник, 1862, № 1, с. 319.

[2] См.: П р и й м а Ф. Я. Н. А. Добролюбов и русское освободительное движение.— Русская литература, 1963, № 4.

шевской, в которых не раз упоминается имя Добролюбова. «Я любил его,— писал Чернышевский жене в 1878 году из Вилюйска,— сильнее, чем Сашу или Мишу... [1] Обижайся за них. Но, сколько я могу разобрать мои чувства, это так: тогда я любил их меньше, нежели его» [2].

В сущности, «мемуарен» и образ Левицкого в романе «Пролог». Чернышевский не скрывал, как много в нем черт Добролюбова, даже событий из его жизни.

Уже в 80-е годы Чернышевский, вернувшись из Сибири, обратился с просьбой к сестрам и брату Добролюбова прислать все, что может помочь в продолжении работы над биографией Добролюбова. «...Через десятки лет,— писал он В. А. Добролюбову,— когда исчезнут наши личные интересы и вступит в полные свои права интерес истории русской жизни того периода, деятелем которого был Ваш брат, русская публика будет благодарна Вам за Ваш труд в полном его размере» [3].

Нелегкие обстоятельства последних лет жизни Чернышевского не позволили ему довести до конца задуманное, не дали возможности написать биографию покойного друга. Но и то, что Чернышевский успел сделать,— бесценно.

* * *

Влияние идей Добролюбова, его критических статей на литературный процесс было настолько значительным, такие острые вопросы русской действительности затрагивались критиком по ходу анализа художественных произведений, выводы, к которым подводил он читателя, были настолько радикальны и смелы, что статьи, подписанные одним из псевдонимов Добролюбова: Бов, Лайбов и т. д. (своим именем он не подписывался) неизменно вызывали огромный общественный интерес, становились событием даже и для противников критика. В январе 1860 года А. Н. Плещеев сообщал Добролюбову: «Я начинаю замечать, что несмотря на вражду московских публицистов к «Современнику», они ужасно интересуются Вашей личностью. Все расспрашивают — что Добролюбов — какой он... как он, что он?» [4]

Не разделявший многих воззрений Добролюбова, его оппонент, когда речь заходила о понимании цели и назначения искусства, Ф. М. Достоевский, писал в статье «Г-н — бов и вопрос об искусст-

---

[1] Сыновья Чернышевского.

[2] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. и писем в 16-ти томах, т. 15. М., Гослитиздат, 1950, с. 292.

[3] Там же, с. 837.

[4] Русская мысль, 1913, № 1, с. 140.

ве»: «...критические статьи «Современника», с тех пор, как г-н — бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время когда почти никто не читает критик,— уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте г. — бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения» [1].

Почти каждая статья Добролюбова либо сама вызывала полемическую бурю, либо была, в свою очередь, участием в ней. Конечно, это накладывало определенный отпечаток на восприятие личности Добролюбова его современниками, причем в значительной мере искажая его. Полемические статьи не обходились, как водится, без личных выпадов, и если собрать те высказывания о Добролюбове, которые в них содержатся, то перед нами возник бы образ человека фанатичного и вместе с тем сухого, лишенного слабостей и привязанностей. Подобное ошибочное мнение широко было распространено в среде писателей и журналистов, поэтому Д. В. Григорович в своих «Литературных воспоминаниях» без тени сомнения писал о «Современнике»: «Во главе журнала как критик, дававший камертон направлению, находился Добролюбов, весьма даровитый молодой человек, но холодный и замкнутый» [2].

И совершенно не случайно, опровергая подобные суждения, через все воспоминания Чернышевского о Добролюбове проходит красной нитью утверждение: «Он был человек чрезвычайно впечатлительный, страстный, и чувства его были очень порывисты, глубоки, пылки».

В литературоведческих работах, с большей или меньшей обстоятельностью и объективностью, осмыслен творческий путь Добролюбова, изучена его биография. Сам ход времени, наконец, указал то место, которое занимает Добролюбов в русской культуре, в русской истории. Но ценность мемуарных свидетельств осталась при этом непреходящей. При чтении воспоминаний ощущается еще не покрытое «хрестоматийным глянцем» отношение современников к Добролюбову. Они включают сведения, которые не содержатся в официальных документах. Это помогает нам восстановить индивидуальный облик человека, особенности его речи, привычки, те «мелочи» жизни, которые придают представлению о ней конкретный характер. Глубоко верна мысль Добролюбова: «Десяток живых современных черт объяснят историку целый период гораздо лучше, нежели двадцатилетние изыскания в архивной пыли...» [3]

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 18. Л., Наука, 1978, с. 81.

[2] Григорович Д. В. Литературные воспоминания. ⟨М.⟩, Гослитиздат, 1961, с. 158.

[3] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, с. 109.

Добролюбов высоко ценил мемуарные жанры, полагая, что они равно много дают и для понимания общества и для понимания человека. Общества, потому что лишь знание прошлого способствует подлинно многостороннему воззрению на настоящее и будущее; человека — потому что рассказ о действительно пережитом, о внутренней своей жизни обогащает представление о сложном мире человеческой души. Добролюбов и сам вел дневник. Из откровенных записей становится ясно, как серьезно относился он к жизни, как много надежд возлагал на нее и с какой горячностью откликался на все, что его задевало: будь то исполненная поэзии проза Тургенева или события дружеского круга. Этот юношеский дневник обнажает истоки чувств и мыслей, из которых впоследствии сформировался особый стиль статей Добролюбова — сплав эмоционального и рационалистического.

Содержательности мемуарного повествования Добролюбов придавал такое большое значение, что любые сокращения в нем казались ему неправомерными, ведущими к утратам, значимость которых трудно предусмотреть. «Такого рода сокращения можно делать в посредственных драмах для сцены да в легких произведениях беллетристики,— писал он.— Но в истинном историческом повествовании каждая подробность может при случае пригодиться, если не тому, так другому» [1].

Добролюбов верил, что «простая правда... воспоминаний» [2] в конце концов должна восторжествовать над выдумкой, клеветой, над стремлением исказить действительность.

* * *

В какой мере оправдывают надежды Добролюбова воспоминания о нем самом? Кем были люди, оставившие их?

Естественно было бы предположить, что большинство составят те, кто занимался литературным трудом. Действительно, среди мемуаристов — писатели, критики, публицисты: М. А. Антонович, Д. В. Аверкиев, П. И. Вейнберг, М. Вовчок, Н. Н. Златовратский, Н. А. Некрасов, Н. Я. Николадзе, А. В. Никитенко, П. И. Мельников-Печерский, А. Я. и И. И. Панаевы, А. П. Пятковский, Н. В. Шелгунов...

Учителями, чиновниками стали многие из тех, с кем учился Добролюбов в Главном педагогическом институте, в том числе такие близкие ему люди, как М. И. Шемановский и Б. И. Сциборский.

Интересные сведения и наблюдения содержатся в «заметках»

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2, с. 296.

[2] Там же, с. 294.

видного ученого, литературоведа А. Н. Пыпина, актера М. Н. Самсонова. Особое место занимают воспоминания родных Добролюбова и его ученицы Н. А. Татариновой-Островской. Здесь множество таких «деталей» жизни, внешнего облика, поведения Добролюбова в быту, его отношения к близким людям и посторонним, которые трудно отыскать у других мемуаристов.

Писавшие о Добролюбове принадлежали к разным идейным направлениям; отличается и уровень их нравственных требований; объединяет их, пожалуй, одно — к какому бы сословию они ни принадлежали по своему происхождению — их дальнейшая жизнь, за редкими исключениями,— жизнь трудовой русской интеллигенции, которую вел, в сущности, и сам Добролюбов. В этом смысле материалы сборника достаточно однородны, что также отличает его от мемуарных сборников, посвященных, например, И. С. Тургеневу, Л. Н. Толстому или М. Е. Салтыкову-Щедрину, сближая, напротив, со сборниками «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников» (в меньшей мере) и «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников» (в значительной степени).

При этом речь, конечно, может идти не о качестве мемуарного материала в целом, но о его социальном аспекте, что, разумеется, важно для характеристики и понимания содержания сборника.

Добролюбов был в числе первых разночинцев, не только выступивших на арене общественной жизни, но и возглавивших революционное течение в ней. Соотнесение его с этой деятельностью явно или в подтексте проходит почти через все воспоминания, придавая им своеобразное эмоциональное напряжение, даже драматизм. К тому же для некоторых из мемуаристов, знавших Добролюбова в детстве и юности, лишь после его кончины открылось, что Бов — и есть Добролюбов. Тогда становится понятным особое чувство, с которым оглядывались они на прошлое, желая найти в нем провозвестие будущей необычной судьбы Добролюбова.

Таким образом, по разным причинам, значительным и не очень, мы не найдем «спокойных» воспоминаний в этом сборнике. Не допускали бесстрастия и масштабы личности и деятельности Добролюбова.

Уже в воспоминаниях о его ранних годах прежде всего выделяется пишущими то, что отличало Добролюбова от сверстников. В этом ощущается весьма и весьма понятное, в общем даже традиционное, желание мемуаристов в ретроспективе увидеть то, что как будто бы с самого начала указывало на «избранность» героя воспоминаний [1], на «предначертанность» его выдающейся роли в будущем.

---

[1] Кстати, отрицание «выдающихся» черт личности в детстве, в конце концов, послужило бы тому же.

И определенные основания для этого, конечно, были. Рано пробудившийся ум Добролюбова, его незаурядная, уже в детские годы, начитанность, необычная для ребенка серьезность внушают интерес и уважение к нему со стороны взрослых и сверстников в уездном духовном училище и в семинарии. «Его талантливая натура», отметит учитель Добролюбова, а впоследствии муж его сестры М. А. Костров, «рано начала сказываться».

Атмосфера родного дома, отец и мать Добролюбова, если и не могли сильно способствовать, то и не мешали развитию сына. Люди простые и добрые, не без образования, они, по свидетельству родственников Добролюбова и его учителей, гордились одаренностью сына. «Смерть родителей и особенно, кажется, матери, на руках которой он рос до семнадцати лет неотлучно от нее, для которой и он был любимым сыном, и не только сыном, но и лучшим другом, потому что отец по службе своей чаще всего отсутствовал, и которую и сам он любил, как другому не удастся так любить, была таким ударом для него, от которого он не опомнился до смерти своей»,— пишет Костров. Даже атеизм Добролюбова связывает Костров с утратой юношей отца и матери, с их ранней, неожиданной смертью.

Забота об оставшихся сиротами двух братьях и пятерых сестрах рано сделала Добролюбова взрослым.

Из воспоминаний товарищей Добролюбова по Главному педагогическому институту явствует, что ими всеми достаточно быстро были осознаны те особенности личности Добролюбова, которые сделали его центром дружеского кружка: чувство собственного достоинства, готовность прийти на помощь товарищам, доброта и безупречная порядочность. Отмечается мемуаристами цельность натуры Добролюбова, позволившая ему рано определить свой путь. «В деле общем он никогда не задумывался насчет выбора дороги, а шел прямо, открыто, честно,— вспоминал один из ближайших друзей Добролюбова Шемановский.— Выжидать удобной минуты, действовать медленно и осторожно не было в его характере. Мысль об опасностях, о возможности испортить свою карьеру не приходила, кажется, ему и в голову, когда он был еще студентом. Здесь он опасался больше за других, чем за себя, и в этих опасениях было что-то дружеское, родственное, братское».

Некоторые из однокурсников Добролюбова, впоследствии занявшие враждебные ему, «охранительные» позиции, выражая сомнение в плодотворности критической деятельности Добролюбова, тем не менее навсегда сохранили память о нравственном воздействии его личности. Так, А. А. Радонежский писал: «Немалую долю в вынесенных из студенческой жизни добрых началах товарищи Николая Александровича заняли из его прекрасной, даровитой, любимой нами всеми до страсти благородной души».

Годы в Главном педагогическом институте были нелегкими для Добролюбова. Мелочный надзор, придирки, словом, то, о чем справедливо заметил в своих воспоминаниях Сциборский: «Бывает же в жизни такая обстановка, о которой и рассказать нечего по микроскопичности явлений, совершающихся в ней... между тем эти-то пустяки в совокупности, беспрерывно повторяясь, производят такое одуряющее тяжелое впечатление, образуют такую удушливую атмосферу, что, освободившись от нее, сам удивляешься, как это можно было вынести в продолжение четырех лет всю тяжесть самых пошлейших стеснений, самых нелепых требований».

К тому же — частое недоедание, отсутствие самого необходимого. Сциборский вспоминал, как «жутко приходилось... в трескучие петербургские морозы в холодной казенной шинельке» «путешествовать с Васильевского острова в Публичную библиотеку и обратно».

Добролюбов не только вынес эту жизнь, но и смог противостоять ей. Кружок, вокруг него объединившийся, жил идейными и литературными интересами: читались сочинения Белинского, Герцена, Некрасова, «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского. «Вопросы о судьбе нашей родины поглощали все наши мысли и чувства»,— вспоминал один из участников кружка. Выпускалась ими и рукописная газета «Слухи», в которую помещались все те сведения о злоупотреблениях, о политических событиях, которые не публиковались органами официальной печати. Добролюбов был активнейшим редактором и автором газеты.

В те же институтские годы началась литературная деятельность Добролюбова. Он пробует себя в прозе и в стихах. Среди последних уже тогда — немало сатирических. Многие из стихотворений — «На юбилей Н. И. Гречу», «Ода на смерть Николая I» и другие — ходили в списках по Петербургу.

Еще студентом Добролюбов знакомится с Чернышевским и начинает сотрудничать в журнале «Современник». Статья Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» послужила началом первой в его критической деятельности полемике (с А. Д. Галаховым) и показала, что в журнал пришел новый, многообещающий критик. «Кто такое г-н Лайбов, автор статьи о «Собеседнике»? — спрашивает Тургенев В. П. Боткина из Парижа в письме от 25 октября / 6 ноября 1856 года. И о том же — 29 октября/10 ноября — И. И. Панаева: «...Статья Лайбова весьма дельна (кто этот Лайбов)»? [1]

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. 3, с. 23, 27.

* * *

Те немногие годы, что еще оставались Добролюбову, были заполнены работой для журнала «Современник». Естественно, что наиболее разнообразны и количественно превосходят другие разделы мемуарные свидетельства, связанные именно с этим, важнейшим, этапом жизни Добролюбова.

Став во главе отдела критики и библиографии журнала, Добролюбов неуклонно и страстно защищает, по его собственному выражению, «партию народа в литературе». Идейная борьба, которую он ведет, определяет не только пафос, но и стиль его статей, полемически заостряет его высказывания. «По его мнению,— свидетельствует Антонович,— журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны, или же согласны с его направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать враждебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их, во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их».

Добролюбов не знал сомнений в правильности выбранного пути, не знал вольных или невольных отклонений от него, а тем более противоречий между словом и делом. Нельзя думать, однако, что ему не были знакомы внутренние терзания. Стихотворения Добролюбова, его признания друзьям говорят о том, как мучила его мысль о грандиозности поставленной им перед собой цели и недостатке сил для ее исполнения. А между тем современников больше всего и поражала в его личности, по признанию Шелгунова, «сосредоточенная, замкнутая сила». Размышляя над тем, что́ выделяло Добролюбова из круга его современников, в числе которых было немало людей замечательных, Антонович писал: «Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже благоговение к нему,— это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало пути к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление».

Никакие личные отношения не способны были заставить Добролюбова изменить тому, что он считал верным. Революционные убеждения критика, его представления о назначении литературы не могли не приводить к непримиримым конфликтам с некоторыми сотрудниками «Современника», в частности, с одним из наиболее замечательных из них — Тургеневым.

Конфликту между Добролюбовым и Тургеневым, разрыву последнего с «Современником» под предлогом недовольства статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» мемуаристы уделяют очень много внимания. Некоторые из них ищут корни разрыва в психологической несовместимости, как мы бы сейчас сказали, Добролюбова и Тургенева, но большинство современников понимало: истинные причины носят мировоззренческий характер, что хотя «все... одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления об этих улучшениях» и способах их достижения «весьма различны». Антонович замечает в этой связи: «...могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изысканно любезен и преданнически почтителен со старшими литераторами».

Впоследствии Тургенев писал в своих воспоминаниях, что он «высоко ценил» Добролюбова «как человека и как талантливого писателя». И нет никаких оснований сомневаться в этом. Время унесло остроту разногласий, и Тургенев понял, что статья «Когда же придет настоящий день?» была «самой выдающейся» [1] среди всех критических отзывов о романе «Накануне».

Воспоминания современников не могут, конечно, исчерпать всю полноту и сложность отношений Добролюбова с писателями его времени. Так, мы узнаем из записок Н. Д. Новицкого о посещениях критика Островским, о словах признательности, сказанных драматургом в адрес Добролюбова, но рассказ Новицкого так краток, что, очевидно, нуждается в дополнениях. Ведь уже современникам Добролюбова было ясно: «чем Белинский был для Гоголя, то Добролюбов для Островского» [2]. Поэт-петрашевец А. Н. Плещеев, касаясь роли Добролюбова в осмыслении русской критикой и читателями произведений Островского и Тургенева, писал в 1860 году: «...мы осмеливаемся считать г. — бова лучшим из современных наших критиков. Нам кажется, что нельзя глубже и вернее анализировать характеры в романе «Накануне» или комедиях Островского, как это сделал г. — бов» [3].

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. 14, с. 99, 304.

[2] Бибиков П. А. О литературной деятельности Н. А. Добролюбова, с. 48.

[3] Заметки кое о чем.— Московский вестник, 1860, № 42.

В воспоминаниях содержатся сведения о встречах Добролюбова с И. А. Гончаровым, Д. В. Григоровичем, А. Ф. Писемским, П. В. Анненковым и многими другими писателями, поэтами, критиками, бывавшими в редакции «Современника». Мемуаристами приводятся любопытные детали и наблюдения, но чтобы получить более полное представление о непростых, многоаспектных отношениях Добролюбова со многими из его выдающихся современников необходимы тщательные дополнительные разыскания, обращение к другим источникам: письмам той эпохи, статьям и т. д. Иногда же не было или почти не было личных контактов, но связи — и важные — имели место. Таков был, например, своеобразный «обмен» статьями между Достоевским и Добролюбовым: «Г-н —бов и вопрос об искусстве» — «Забитые люди». Похожий характер носили отношения с Герценом. Еще в Главном педагогическом институте были найдены у Добролюбова герценовские издания. Герцен принадлежал к людям, наиболее чтимым Добролюбовым. С юности интересовался Добролюбов сочинениями Герцена. Именно из воспоминаний современников узнаем мы, что Добролюбов был одним из корреспондентов «Колокола», из них же — о потрясении, испытанном критиком, когда он прочитал статью Герцена «Very dangerous!!!», направленную против Добролюбова, и о последующем выяснении позиций «Современника» и «Колокола» в споре. Однако сложность отношений Добролюбова и Герцена *только* по мемуарным свидетельствам, конечно, осмыслена быть не может.

Воспоминания современников — и это понятно — чрезвычайно глухо говорят о революционной деятельности Добролюбова, мемуаристы прибегают нередко к «эзопову языку», который, впрочем, всем тогда был понятен. И когда Некрасов подчеркивал, что Добролюбов «сознательно берег себя для дела», было ясно, что не просто «дело», но дело — революционное.

Не много знают мемуаристы и о пребывании Добролюбова в Италии в конце 1860-го — начале 1861 года, хотя имеются данные, что он интересовался итальянским освободительным движением.

Есть и еще сферы жизни Добролюбова, мало освещенные мемуаристами. Его критические статьи в «Современнике», пародии в «Искре» и «Свистке» — все это было на виду и доступно. Но дела личные — при замкнутости характера Добролюбова — оставались часто скрытыми даже от таких близких людей, каким был Чернышевский. Мы немного знаем о «жизни сердца» Добролюбова; счастливой во всяком случае она не была. Два-три женских имени. И всегда — разлука...

Добролюбов редко приоткрывал свой внутренний мир, редко

кого впускал в него. Добролюбов — критик, публицист, Добролюбов-учитель достаточно ярко вырисовывается из воспоминаний; хорошо можно представить себе и Добролюбова в повседневном общении: в редакции «Современника», с однокурсниками, с родными. Но что стояло за этим, какие чувства и настроения — о них можно отчасти судить по его стихотворениям, по письмам, по некоторым страницам статей, по немногим свидетельствам людей, подобно А. Я. Панаевой сумевшим ближе других подойти к Добролюбову, завоевать его доверие, услышать его признания. В воспоминаниях Панаевой мы видим Добролюбова, противостоящего окололитературным дрязгам, пренебрегающего своим бытом, заботливого брата, человека, который тянулся к сердечному теплу и очень мало получил его в своей короткой жизни.

Последние месяцы Добролюбова были трагичны. На страну надвигалась новая волна политической реакции, надежда на революцию, которой страстно ждал Добролюбов, рухнула. Цензура беспощадно уродовала статьи. «В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние,— вспоминал Антонович.— Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, обыски, аресты, ссылки и т. п.».

Начался первый при Александре II политический процесс. Его героем и жертвой оказался близкий Добролюбову поэт и критик М. Л. Михайлов. Литераторами было составлено письмо в защиту Михайлова на имя министра просвещения. Под письмом стояла 31 подпись, в том числе Добролюбова, Некрасова, Писемского. Письмо не было принято правительством во внимание: Михайлов был посажен в крепость, затем сослан на каторгу.

Угроза ареста висела и над самим Добролюбовым. «Литературный горизонт омрачался все более и более,— вспоминает мемуарист,— общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова».

Добролюбов угасал. По свидетельству его брата, «молча, никому не жалуясь, никого не тревожа, ничем не затрудняя, не ища ни у кого утешения, не обманывая себя».

Лишь об одном, вспоминает Панаева, жалел Добролюбов: «Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать... Ничего! Как зло надсмеялась надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное... Теперь ничего, ничего!»

Такова была самооценка человека, в действительности принадлежавшего к замечательнейшим представителям русской общественной мысли, одного из тех, о ком Ф. Энгельс писал: «Страна,

выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет...» [1] Добролюбов, подчеркивал Ленин, дорог «всей образованной и мыслящей России» как писатель, «страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания...» [2].

Соответствует ли то, что дает мемуарный материал, историческому значению Добролюбова? В какой мере сознавалось оно современниками его?

Обзор воспоминаний, думается, позволяет ответить утвердительно на первый вопрос; что же касается второго, то необходимо признать существенную разницу между провидческими словами Чернышевского о значимости деятельности Добролюбова и заметками В. И. Глориантова, например, или Д. В. Аверкиева, так и не сумевших понять смысл исканий своего великого современника.

Воспоминания, вошедшие в сборник, представляют собой разные жанры: эпистолярные (письма мемуаристов к Чернышевскому, А. Н. Пыпину); фрагменты, в которых речь идет о Добролюбове, из более обширных мемуарных повествований (М. А. Антоновича, А. Я. и И. И. Панаевых, А. Н. Пыпина, Н. Н. Златовратского, Н. В. Шелгунова, Н. Я. Николадзе, В. А. Обручева); дневниковые записи (А. В. Никитенко); заметки (П. И. Мельникова-Печерского, Д. В. Аверкиева), мемуарные очерки (М. Е. Лебедева, И. М. Сладкопевцева, М. И. Шемановского). Содержится мемуарный материал и в некрологах. Причем не только личное, но общее отношение передовой части русского общества отражено в них и в многочисленных стихотворениях, Добролюбову посвященных. Некоторые стихотворения были положены на музыку и пелись в кружках революционно настроенной молодежи через многие годы после смерти Добролюбова.

Написанные в разное время воспоминания — одни сразу после кончины Добролюбова, другие много времени спустя,— при некоторых существенных различиях, объединяет одно — признание духовной высоты его личности. Здесь мы не найдем исключений, оговорок. Все его произведения, вся его жизнь несут на себе ее печать. «...Лучший представитель сознания страны, честнейший защитник ее интересов, во все продолжение своей деятельности ни разу не свернувший с прямого, честного пути, ни разу не согласившийся ни на какую сделку в ущерб своему убеждению» [3],— писал автор одной из первых монографий о Добролюбове, его единомышленник П. А. Бибиков.

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 18, с. 522.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 370.
[3] Бибиков П. А. О литературной деятельности Н. А. Добролюбова, с. 5.

Воспоминания современников помогают нам представить себе те живые человеческие чувства, мысли, события, которые стояли за строками статей, созданных Добролюбовым, помогают понять, почему и через десятилетия после своей смерти он оставался — на разных этапах истории своей родины, для разных ее людей — «титаном» [1]. И остается им и сейчас уже не в памяти современников, в сознании потомков. Прав оказался Чернышевский, прав и тот полузабытый современник Добролюбова, который еще в 1862 году предсказал: «...материала, заготовленного Добролюбовым, станет на много лет, и не одно поколение признает его своим учителем и наставником» [2].

Сохранили свою точность литературно-критические оценки Добролюбова, данные им более ста лет назад произведениям многих авторов; оправдала себя и его вера в то, что он будет понят и оценен будущими поколениями.

Г. Елизаветина

---

[1] Гарин-Михайловский Н. Г. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1957, с. 485.

[2] Бибиков П. А. О литературной деятельности Н. А. Добролюбова, с. 108.

Н. А.
ДОБРОЛЮБОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

М. И. БЛАГООБРАЗОВ

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Отрывок

Нижний Новгород, 4 декабря 1861 г.

...Вы спрашивали о подробностях молодости Николая Александровича; но я передал лично[1] все, что знал. Теперь прибавлю одно обстоятельство, которое свидетельствует, что его ум замечен был даже детьми.

В одном со мною доме рос мой двоюродный же брат Володя, со мною одних лет. А Николай Александрович был нас моложе годами шестью. Впрочем, в игры наши мы его не только допускали, а он у нас был вроде прокурора или секретаря. Мы его постоянно заставляли проверять разные счеты. До того был у него мягок характер, что он никогда не выходил из повиновения.

Игры наши были преимущественно торговые. Мы набирали игрушки, назначали им цены миллионные, деньги были бумажные; на каждой бумажке была надпись, во сколько ходит известная монета: примерно тысячу рублей, сто тысяч или несколько миллионов. Все эти надписи возлагались на Николая Александровича, зная, что он добросовестно исполнит поручения. При сем прилагаю лист бумаги, где он своей рукой обозначал цену товару и подводил итоги. Например, *колокольня* назначена десять миллионов, а до́лжно было продать за семнадцать. Другая игра была солдатиками. До несколько тысяч было нарисовано картинок, они вырезывались, потом подклеивались деревяшки, чтобы они могли стоять на столе. Этот труд тоже нес Николай Александрович. Потому что я был распорядителем и работал мало, рав-

но и другой брат; и оба были чрезвычайно ленивы и непостоянны. А Николай Александрович все выдерживал.

Лет семи Николай Александрович уже очень хорошо и расчетливо играл и в вист и преферанс, так что допускался играть с большими гостями его родителя; и нередко обыгрывал своего отца в игру «свои козыри», в которую славился играть мой дядюшка Александр Иванович[2].

Итак, все, что я мог сказать Вам.

М. А. КОСТРОВ

ПИСЬМА К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Отрывки

I

⟨Нижний Новгород⟩ 19 декабря 1861 г.

...Домашнее обучение его начато было очень рано, а вместе с этим очень рано начала сказываться и его талантливая натура. Уже лет с трех со слов мамаши своей (это была умная и прекрасная женщина во всех отношениях, и недаром об ней и доселе не только покойный Николай Александрович, но и все родные и знакомые так много жалеют) он заучил несколько басен Крылова и прекрасно произносил их перед домашними и чужими; ибо покойный родитель его не скрывал своей радости и своих восторгов от своего даровитого Коки (он в добрый час передко называл его Кока), любил иногда похвастаться им и пред чужими, приходившими к нему в гости ли или по делу. Я сказал, что он заучивал эти басни со слов мамаши своей. Действительно, так как отец его, занятый то службою церковною, то училищною (он был несколько времени законоучителем в здешнем канцелярском училище), то уроками частными, а особенно стройкою своих домов, не мог большей частью даже и быть дома подолгу, а не то чтобы много заниматься с детьми, то вообще на первое развитие сына его, естественно и по необходимости, должна была иметь влияние мать. Мать же его выучила и читать, да, кажется, и писать азбуку. Когда ему стало восемь лет (с половиной, кажется), то приглашен был в учители для него кончивший курс семинарии Садовский, но этот последний занимался с ним не более двух меся-

цев, потому что поступил сам во священники. Тогда был приглашен к нему я[1]. Я был в это время переведен в философский класс и немного известен был родителям Николая Александровича потому, что квартировал у родственников их Благообразовых. Поступив к нему в учители, я старался, во-первых, заохотить его к учению, чтобы *учиться* обратилось для него в главную и насущную потребность, а во-вторых, доводить его до ясного, по возможности полного и отчетливого понятия о каждом предмете, не слишком заботясь о буквальном заучивании им уроков; конечно, при обучении латинскому и греческому языкам приходилось ограничиваться только, впрочем, совершенно достаточным знанием всяких правил грамматических и синтаксических. Покойная мать его не раз тут замечала, что из нашей классной комнаты только и слышно почти: почему, отчего, да как и т. д. Отец его, видя, что сын его при своей отличной восприимчивости, при усердии и любознательности оказывал отличные успехи и что вообще наше учение идет в порядке, не мешал нам и свободно предавался своим служебным и хозяйственным занятиям, только иногда наведывался об его успехах и давал ему те или другие вопросы по тому или другому предмету.

Таким образом наше учение продолжалось около трех лет, если из этой цифры не исключать месяцев пяти или шести его болезней или моих каникул. Тогда он, то есть по прошествии трех лет, был представлен в духовное училище, из которого через год и был переведен третьим учеником в семинарию[2]. В семинарии он учился пять лет и все шел первым. С словесности[3] же начал читать все, что только могло попадаться ему под руку; светские журналы он доставал или (иногда) у семинарских наставников, или (всего более) у квартировавших в его доме генерала Улыбышева и князя Трубецкого и у некоторых прихожан. Впрочем, об этом уже довольно и верно сказано в «Московских ведомостях» П. Ив. Мельниковым[4]. Семинарское образование не могло удовлетворить его, как он нередко говорил и мне об этом, не надеялся он удовлетвориться и в духовной академии, а непременно желал ехать в какой-нибудь университет. Отец его не прочь был и сам отпустить его туда, но затруднительное положение кошелька, ибо он был кругом в долгу по выстройке дома своего, а отчасти и опасения — как взглянет на это бывший тогда архиерей (это, впрочем, только между нами) — были причиной, что порешено было отправить его в С.-Петербург-

скую академию, по каковому поводу бывший тогда у нас преосвященный Иеремия дал ему даже рекомендательное письмо к ректору оной [5]. Что далее — то Вы сами знаете.

В «С.-Петербургских ведомостях» кто-то сказал, что покойный Николай Александрович был всегда слабого сложения [6]. Решительно сказать этого нельзя, хоть и точно он был золотушного сложения; золотуха обнаружилась у него и у маленького, и лечился он от нее и в бытность свою студентом Педагогического института. Конечно, усиленные занятия в семинарии, и отчасти в училище и при поступлении в институт, могли иметь не очень благоприятное влияние на его здоровье, но останься в живых его отец и мать — все обошлось бы для него недурно и он жив был бы и относительно здравствовал бы доселе. Решительное влияние на расстройство его здоровья произвела смерть его матери [7], а потом и отца, за которыми последовали как неизбежное следствие его еще более усиленные и непрерывные работы и во время институтской жизни и после, которые, при грустном вдобавок и апатичном настроении духа его, и доконали его. Смерть родителей и особенно, кажется, матери, на руках которой он рос до семнадцати лет неотлучно от нее, для которой и он был любимым сыном, и не только сыном, но и лучшим другом, потому что отец по службе своей чаще всего отсутствовал, и которую и сам он любил как другому не удастся так любить, была таким ударом для него, от которого он не опомнился до смерти своей. «На что мне и жизнь-то теперь (то есть без мамаши),— говорил он нам и при последнем нашем свидании,— разве только для братьев и сестер; ну для них-то я еще лет пять-шесть поживу». Эта смерть родителей имела влияние не только на физическое, но и на нравственное состояние его. Если он искренно писал некоторые стихотворения (которые и мне удалось видеть у него), например на всевышнего [8], если правду говорили и писали сюда и из Петербурга, что он мало верил или ничему не верил, то это следствие же всего того сильного и глубокого потрясения, которое произведено было на него неожиданною, вопреки всем его расчетам и задушевным планам смертию матери, обожаемой им матери. Он был сильно набожным человеком в Нижнем, считал за грех напиться чаю в праздничный день до обедни или не сходить за обедню, после исповеди до причастия даже воды не пил, усердно всегда молился и с великим

чувством. Но вот он, получив известие о болезни матери, с таким же чувством и так же горячо и усердно молился богу и об ее выздоровлении, и что же? — бог не внял его молитве; да этого мало, через пять месяцев умер и отец, оставив восемь человек детей мал мала меньше. Что это такое? — подумалось ему. И вот в припадках отчаяния и сильной тоски и горя он и порешился, должно быть, если же вовсе не верить ничему, то по крайней мере не хотеть знать ничего... Нечто подобное этому именно мне и передавал кто-то в то время.

II

⟨Нижний Новгород, 1862, февраль?⟩

...По смерти отца, кроме Николая Александровича, осталось еще семеро малолетних сирот — два брата и пять сестер, из коих старшей сестре было не более тринадцати лет. Можете представить себе, как бедственно вдруг и беспомощно стало положение всех этих сирот. Отца и матери не стало, старший брат, на которого можно было еще сколько-нибудь опереться, должен быть далеко (он был уже студентом Педагогического института в Петербурге) да наперед должен много еще и о себе-то позаботиться, чтобы сделаться и для них сколько-нибудь полезным; средств к содержанию и воспитанию нет пока никаких, потому что самый дом их еще в большом долгу! Можете представить себе также и то, что должен был передумать и перечувствовать при виде всего этого и покойный Николай Александрович! Нашлись, впрочем, люди, добрые люди, которые решились оказать помощь сиротам. Одну сестру взяла к себе родная тетка их, Ф. В. Благообразова, другую — другая тетка, теперь уже умершая, В. В. Колосовская, третью — квартировавшая в их доме кн. Трубецкая, четвертую и одного из братьев — также теперь уже умершая ген. А. М. Прутченко, которая сестру отправила в Симбирск, в тамошнее духовное училище, а брата — за неудобством держать при себе — передала одной из теток с обещанием платить за содержание его; пятую сестру взяла к себе еще за несколько месяцев до смерти отца одна помещица, теперь уже умершая, Е. П. Захарьева, а третьего брата взял к себе здешний купец и почетный гражданин В. К. Мичурин. С другой стороны, неко-

торые из одолжавших покойного отца их деньгами, по уважению к его памяти — ибо его все любили здесь, как одного из самых лучших священников,— а также и к положению сирот, отказались вовсе от долгов своих (одна особа пожертвовала при этом даже пятьсот рублей). Значит, часть горы спала с плеч. Но только часть: нужно было еще много позаботиться о том, чтобы сироты не были в тягость тем, которые их к себе взяли, а с другой, особенно об братьях надобно было позаботиться, чтобы они не были и не остались вовсе без воспитания; надобно было также подумать и об уплате остальных долгов. Обязанность позаботиться обо всем этом и принял на себя Николай Александрович и, надобно сказать, исполнил ее с редким самоотвержением и как нельзя лучше. Прежде всего он позаботился о зачислении отцовского места за одной из сестер своих, дабы чрез это как обеспечить и устроить судьбу последней, так вместе сколько-нибудь обеспечить и других сирот; но так как его желание, равно как и желание прихожан покойного отца его, достигнуть этого оказалось вначале безуспешным, то он, не жалея о том, что чрез это терял для себя самого все, решился было по прошествии двухгодичного курса своего в институте сам уволиться из заведения [1], дабы, выдержав экзамен на должность учителя гимназии, занять эту должность в здешней нижегородской гимназии и собрать потом вокруг себя всех братьев и сестер своих. В этих видах и этого содержания была представлена им и просьба своему начальству об увольнении его из института. Начальство, разумеется, постаралось удержать от этого такого талантливого и подававшего столько надежд в будущем воспитанника и помогло ему достигнуть его цели... Вместе с этим, чтобы установить или поддержать самые лучшие отношения к братьям и сестрам своим тех лиц, которые взяли их к себе, Николай Александрович вел постоянную переписку как с последними, так и первыми. Я не стану теперь говорить Вам о том, сколько в этих письмах его самой нежной, самой трогательной любви к братьям и сестрам, сколько он заботится о них, как всячески стараясь о том, чтобы жизнь их в чужом доме и месте ни для кого не была в тягость, равно как и не в тягость и не без пользы и для них самих. Все это Вы увидите и сами из тех писем. Что касается долгов дома, то самый важный из них был казенный, простиравшийся до двух тысяч рублей. О прощении этого долга Николай Александрович начал стараться вско-

ре после смерти отца. Но старание его увенчалось уже успехом не ранее как через два года; тогда и было прощено до полуторы тысячи рублей. Это, очевидно, было весьма важно для сирот. Остальные, мелочные долги легко и скоро могли быть уплаченными из доходов дома, а вместе с тем и содержание братьев и сестер его могло быть совершенно обеспеченным. Но этим не кончились попечения его о братьях и сестрах. В продолжение остальных двух годов институтской жизни сам, с немалым, очевидно, трудом, зарабатывая для себя самого, па свои собственные нужды деньги, он не жалел и, конечно, отказывая уже себе самому во всем лишнем, не жалел высылать и своим сестрам иногда по пяти, иногда по десяти, иногда по двадцати пяти, а иногда и по сто рублей. По окончании курса в институте он также не оставлял этого; потом скоро взял к себе одного из братьев и поместил его в гимназию, а чрез два года взял и третьего брата[2], который также учится теперь в одной из петербургских гимназий. Из сестер его две умерли, одной представлено отцовское место. Оставалось в прошлом году устроить остальных двух. Николай Александрович успел сделать и это. Прежде всего он выслал для них денег (пятьсот рублей), потом, в бытность свою в минувшем августе в Нижнем, отказался в пользу их и от своей части, принадлежащей ему в доме отца. С помощью всего этого и сестры также теперь устроены очень прилично и хорошо. Вот сколько доброго сделал для братьев и сестер своих покойный Николай Александрович! Много ли найдется других таких братьев, которые бы сделали или по крайней мере захотели бы сделать что-нибудь подобное для своих братьев и сестер? Я слишком, может быть, распространился о всем этом, но, право, стоит нашего внимания и это!

Сколько помню, в малых летах Николай Александрович всегда казался мальчиком скрытным, даже несколько застенчивым, но с умненькой и довольно серьезной физиономией. Когда бывал у меня или у родных и других знакомых своих, то не слишком много интересовался общим каким-нибудь и обыкновенным разговором, а всегда более посматривал — не лежит ли где-нибудь какая-нибудь книжка, и если находил, то и начинал тотчас же рассматривать или читать ее. Когда же я, по приезде опять в Нижний в 1852 году, застал его уже в последних классах семинарии, то он казался всегда как будто чем-то озабоченным, даже несколько недовольным. Видно, что в нем роились

уже и обдумывались немаловажные для него планы и вопросы... Немудрено, если в бытность свою в семинарии он вообще был не слишком общителен со своими товарищами. Вследствие особого развития, а также постоянного чтения в голове его всегда была какая-нибудь мысль или какой-нибудь вопрос серьезный. А могло это ладить с обыкновенным предметом всех разговоров, всех диспутов и обыкновенными уже развлечениями наших семинаристов? В бытность свою в семинарии он на некоторое время очень было пристрастился к естественной истории и собрал довольно порядочную коллекцию жуков, бабочек и других насекомых[3]. Некоторое время также занимался собиранием пословиц и поговорок русского народа;[4] это последнее ему пригодилось однажды в институте. Что касается до отношений к нему отца его, то покойный Александр Иванович очень любил его и даже гордился им. Если же он, и в самом деле, несколько раз обошелся с ним и не совсем деликатно, то это частию оттого, что он был в это время не в духе, как замечал это и сам Николай Александрович, а частию он хотел, кажется, несколько умерить в нем его самолюбие, которое начал замечать в нем, предохранить его от самомнения и т. д. По крайней мере он сам как-то намекал мне на это.

М. Е. ЛЕБЕДЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

Отрывки

...В 1846 году 12—15-летние ученики высшего отделения Нижегородского духовного уездного училища, только что перешедшие из низшего отделения и имея уже за плечами четыре года несладкой работы над горькими корнями учения, были несколько неприятно поражены, что к ним в сентябре месяце ректор училища привел десятилетнего мальчика Добролюбова учиться. «Прямо в четвертый класс!» — говорили ученики, удивлялись и завидовали. «Да что ему!» — объясняли наиболее практические и опытные с досадой.— У него отец-то — никольский священник, богатый; дом какой! Каменный. А наш Лебедьков[1] поросенка примет и сделает что угодно».—

«Семь копеек принял от матери Скородумова»,— поясняет другой с азартом. «Три горшка от моей тетки принял и к рождеству за неделю отпустил меня домой»,— ядовито откровенничает третий... У первых учеников шел другой толк. «Говорят, братцы, подготовлен хорошо. А латинский как знает! Книг много у отца... Он уж Карамзина прочитал». (Карамзина когда-то еще удастся им самим почитать, года через четыре: таков порядок был там в распределении книг для чтения.) «Вот будет качать!» И первые ученики заранее уже назначали, кого из них должен сшибить Добролюбов; о возрасте его судили весьма одобрительно. Начали присматриваться. Прежде всего оказалось, что мальчик очень нежной, барской наружности, с очень мягкими руками, увидали, что очень скромен и застенчив, как девочка, дичится всех, чуждается. В переменах классных и до прихода учителя ни с кем не якшит, а читает книжки, которые из дому носит. Книжки были все по предметам, проходимым в классе.

В этом классе уже начиналось изучение латинского синтаксиса; учитель, преподававший его весьма дельно, хотя и с мерами строгими до жестокости, задавал переводы с русского языка на латинский таким манером, что сам назначал только немногие латинские слова и фразы, наиболее трудные, а остальные приискивались самими учениками. Тогда-то Добролюбов поразил всех новостью: самостоятельно фразируя некоторые примеры, насколько знал латинский язык, он вставлял в данные сентенции совершенно новые и уместные мысли — так, что с первого же опыта получил отметку наставника: ter optime; следующие затем отметки были: eximie, egregie, ter eximie и ниже optime * никогда не спускались. Кроме того, наиболее замечательные из его упражнений учитель с искренним удовольствием читал и разбирал в классе при всех. Успех этот был поразителен: первые ученики бросились за ним в погоню; изучение латинского языка сделалось весьма интересным (конечно, только для меньшинства и для учителя). Пытались объяснить сначала успех Добролюбова посторонней помощью, но скоро разубедились. Когда учитель заставлял в классе учеников фразировать полатине русские предложения и рассказывать по-латине своими словами из Корнелия Непота и латинской хресто-

* Превосходно, отменно, отлично, весьма отменно, прекрасно (*лат.*).— *Ред.*

матии, то Добролюбов постоянно отличался при всех. Наконец и собственные опыты подражателей его уверили, что это довольно возможно и без посторонней помощи. С таким же успехом Добролюбов занимался священной историей, географией, арифметикой и другими науками [2], занял повсюду четвертый номер в списках и в 1848 году перешел во второе отделение словесности (низшее отделение семинарии, по множеству воспитанников делившееся на два параллельные отделения).

В семинарии, с течением времени, Добролюбов погружается в ученые занятия. От товарищей держится так же далеко, хотя принимает к себе всех, кому угодно его посетить. Но все свободное от посещений время занят книгами. Он читал русских авторов, ученые сочинения, журналы — и дома и в классе. В его упражнениях по классу реторики и пиитики постоянно было видно знакомство с лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на вид учителем словесности. В немногих упражнениях, какие были по истории всеобщей, была видна та же начитанность. Его возражения, например, по математике профессору-монаху, по истории против учебника Кайданова были выслушиваемы учениками с участием, которое возрастало, когда профессор не решал возражений, а заминал их своим авторитетом, невозможностью распространяться по причине недосуга и другими уловками.

В среднем отделении семинарии Добролюбов поражал громадными сочинениями по философским темам [3], особенно об учении отцов церкви, отчасти из русской церковной истории. Надо заметить, что способы писания задач в семинарии были истинно оригинальны. Задавалась, например, тема па какой-нибудь предмет; наибольшая часть тем давалась философского сорта, изредка исторического; в классе профессор говорил почти то же, что в сухих, коротких учебниках; предмет темы никогда обстоятельно не разъяснялся; источников почти никогда не указывали и совершенно никогда не давали в руки ученикам; между тем общественное мнение в семинарии, благодаря самостоятельной деятельности лучших учеников, было в пользу больших (и дельных, впрочем) сочинений; но требовало, чтобы сочинитель *сам* писал свои задачи, то есть сам, своей головой, доходил до решения заданных тем; а как скоро задача отличалась начитанностью, то же общественное мнение обвиняло автора в заимствованиях: дескать, он списал, сдул. Таким образом, ученик был поставлен

в необходимость или разбавлять реторической водицей и без того жидкие сведения учебника и летучие заметки профессора, или самостоятельно ломать голову над вещами, которых не знал, или же претерпевать укоризну от товарищей за сдувательство и уженье своих задач из книг. Добролюбов, еще до знакомства с такой странной теорией писания задач, постоянно сопровождал свое чтение выписками из книг, постоянно сверял с подлинниками те цитаты в разных сочинениях, которые прочитывал, так что значительную часть отысканных по смерти его записок составляют именно подобные выписки, веденные им с того времени,— или по рубрикам различных предметов, или по алфавиту, или по журналам, с указанием, где что напечатано.

Ясно, что задаваемые в семинарии темы большею частью встречали его уже совсем готового к ответу; поэтому упражнения его отличались обилием мыслей и знаний и множеством цитат: все это становило в тупик профессоров и семинаристов. Сначала, как водится, на него косились ученики и обвинили в сдувательстве. Но скоро заметили, что Добролюбов делает выписки, не стесняясь ни задаваемыми темами, ни даже проходимыми в семинарии науками. Это ошеломило их и в то же время убедило, что тут дело ведется никак не меньше, как на академию или на университет — словом, на ученость, потому что ни филология, например, ни литература, ни история, да и ничто другое в таких широких размерах не годится просто для семинарских классов, тем, списков и аттестатов. Так тем и покончили, занялись своими делами и результатов никаких. В свою очередь, косились и профессора. Нельзя, например, ученику обойтись без выговоров, и Добролюбову иные профессора делали замечания, потом и выговоры за то, что он не слушал их в классе, а читал принесенные с собою книги. Добролюбов почтительно представлял резон, что нечего слушать, когда спрашивают учеников одно и то же (система учения была зубрильная); иногда профессор успокоивался простым увещанием, что все же что-нибудь можно услышать новое и при спрашивании уроков; но были случаи, что Добролюбова ловили на классе какой-нибудь Кайдановой или Устряловой истории, греческом или латинском языках, за журналом, повестью, романом. Тогда с выговором бралась книга, клалась на стол, но не смела рваться и зажиливаться, как у многих

других, потому что никольский священник ведь тут налицо, в Нижнем...

В числе профессоров, претендовавших на внимание, был, например, профессор логики, «чистый разум» которого ученики, по отзыву своих предшественников и собственному опыту, характеризовали такими силлогизмами, подслушанными даже у самого профессора: «Когда дитя кричит, значит ему больно, потому что его бьют... Ах, нет, не так: когда дитя бьют, то ему больно, потому что оно кричит... Ах, нет: когда дитя бьют, то оно кричит, потому что ему больно... Ну, да там сами сделаете после...» Окончательный вывод об этом профессоре выражался силлогизмом: «В углу палка стоит, следовательно, на дворе дождик идет». Другой, профессор догматики, бывший профессор латинского языка и умевший сыпать кстати и некстати цитаты из латинских писателей, не мог освободиться от своей привычки и тогда, как читал (по учебнику) догматику, совершенно новый и незнакомый для него предмет. Этот профессор прибавлял новые выговоры за то, что язык в сочинениях Добролюбова слишком чист и напоминает журнальные обороты... Обыкновенно эти профессора в своих выговорах руководились вслух формальностью, голословным запрещением. Но втайне, вероятно, была причина проще— общая причина всех формальностей: что как-то неловко смотреть как ученик в ваших глазах и за вашими часами как раз узнает больше вас самих... По крайней мере, на это слегка намекнул один профессор за веселой компанией.

Впрочем, Добролюбов не был в семинарии феноменом, предметом молвы или гордости семинаристов. Феномен в семинарии составлял молодец, на возражения профессорам вскакивавший и дельно отвечавший при первом вопросе наставника: «Кто скажет?», прочитывавший Библию на еврейском языке, говоривший по-латине, и особенно тот, кто постоянно сидел за картами или кутил, и все-таки шел в первых. Добролюбов же только в первые года в семинарии дерзал на возражения, а потом благоразумно утих. А что касается до огромной его начитанности, это скромное препровождение времени за книгами, и особенно занятия литературой, всемирной историей и тому подобными *посторонними* предметами, не давало ему права быть феноменом; об нем *не кричали*, кроме тех случаев когда он представлял задачи в тридцать, сорок и сто листов. Но такая параллель с его молчаливым поведе-

нием в классе была скорее в ущерб той молве, какую порождала задача.

Со стороны товарищей возникали неудовольствия на Добролюбова по поводу требования от него книг для чтения; подобные требования не всегда и не для всех возможно было выполнить по их множеству, и не всегда безопасно для целости книг со стороны учеников, а еще более — их пестунов. Эти обстоятельства, вместе с постоянными занятиями Добролюбова, давали повод считать его как бы чуждым, как бы отдаляющимся от товарищей. Такому мнению помогала особенно природная и привитая дикость семинаристов, боявшихся ступить ногой к его отцу, городскому священнику, в дом.

Словом, семинария ни по личным, ни по классным отношениям не сходила с ума от Добролюбова, хотя *знали* и уважала его. Сам Добролюбов не водил большой компании с товарищами; когда приходили товарищи к нему в гости, он был одинаково любезен со всеми; но как и из этих смельчаков многие трусили посещать его в собственном его доме чаще разу в месяц, то оставалось не более троих, четверых постоянных его гостей, которые имели случай не только удостовериться, что Добролюбов не был букой, гордым или тому подобное, но и сами могли в его обществе и семействе стряхнуть с своих костей привитую семинарскую дикость.

Между профессорами он нашел одного или двоих, впрочем не из своего отделения, которые отчасти напоминали собою гоголевского Александра Петровича[4].

В 1853 году был вызов из богословского класса (высшее отделение семинарии) в С.-Петербургскую духовную академию. Отправили двоих, в том числе Добролюбова. Прибывши в Петербург, он разом держал два приемных экзамена: в Педагогическом институте и духовной академии. Как скоро ход дела показал, что его примут в институт, он прекратил сдачу экзамена в академии[5]. И только тогда семинария (ученики, собственно) огласилась именем Добролюбова. «В Педагогический принят!» — «Сам Ленц был доволен экзаменом!» — «Сам Лоренц похвалил!»— «Благодарность прислали за него!»,— говорили восторженные товарищи, протягивая семинарскую лямку в 1853—1854 году, которым оканчивался полный учебный курс, не конченный Добролюбовым. ⟨. . .⟩

В его первых письмах из Петербурга выражалось совершенное невнимание к красотам столицы, полное хлад-

нокровие к ним, которое он заметно старался передать и тем, кто требовал от него подробных описаний. А как у семинаристов водится описывать всякий город, куда метнет их судьба учиться, то молчание Добролюбова было очень неприятно для его товарищей. Нашлось довольно людей, которые, нисколько не сговариваясь между собой, прямо осудили его за то, что он корчит из себя уж очень умного человека, на которого будто не действует никакая внешность. Упреки в гордости, в невнимательности к товарищам и тому подобное посыпались отовсюду... Зато, без всякой просьбы с их стороны, Николай Александрович делился с знакомыми теми идеями, какие он встретил или развил в институте; он высылал целые тетрадки выписок, печатные листки, по почте или с верными людьми, к некоторым знакомым, к профессорам; он звал их на честную, благую деятельность, рисовал им идеалы обязанностей, преимущественно священнических; в приезды в Нижний он довершал такие сношения лично.

Но всегда его хлопоты оставались безуспешными. Правда, он трогал, шевелил сердце, видел, что убеждались его доводами; но большая часть возражала одним страхом и опасениями за его будущность, советовала бросить завиральные идеи; очень немногие, сознавая бессилие, горевали с ним гражданским горем, и никто не попробовал приложить разобранных с ним идей к делу... Были люди, которые после выражения сочувствия ему выражали более сочувствия питейному откупу... С появлением его в литературе развилась в семинарии преимущественно гордость, похвальбы им; были упреки в дерзости; задавались вопросом, чем-то он кончит,— более нечего.

⟨Ноябрь — декабрь 1861 г.⟩

И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

В 1851 году, по окончании курса в С.-Петербургской духовной академии, в конце октября вступил я в должность наставника Нижегородской семинарии. Не много послужил я для этой семинарии: голос родины (из Тамбова) вызвал меня для службы родной, Тамбовской се-

минарии. С ноября 1852 года и доселе я служу моей родной семинарии, тружусь, сколько во мне есть сил, для моих земляков-питомцев. Но все лучшие воспоминания в моей незавидной службе остались там, вне родины, далеко. Почти десять лет прошло, а Нижегородская семинария будит во мне самые приятные, самые задушевные воспоминания. Может быть, это оттого, что я тогда был молод, свеж, энергичен; может быть, та семинария, в которую я вступил из-за парты, как первая ступень к более свободной, самостоятельной деятельности в качестве наставника, после пятнадцатилетней закупоренной жизни воспитанника, после долгого-долгого сидения на ученической скамейке обдала тогда меня таким обаянием жизни, какое не забывается и доселе?.. Но я, как помню еще с ученической скамьи духовной акамедии, слишком безотрадно смотрел на предстоявшую каждому из нас карьеру наставника семинарии, а служа в Нижегородской семинарии, я часто хандрил, вздыхал о Петербурге... Что же делает для меня отрадными и доселе воспоминания о Нижегородской семинарии?

Нет сомнения, что прежде всего воспоминания молодости, той энергии и любви к делу, с какими я принялся тогда за священное дело воспитания моих юных собратий,— нет сомнения, что эти воспоминания прежде всего так заманчиво окрашивают мою кратковременную службу в Нижнем. Но в них не главная причина моего прошедшего, с такою радостию мною воспоминаемого. Главная, как мне кажется, заключена в представлении почти общей ко мне тогда симпатии, даже горячей, юношеской любви ко мне воспитанников Нижегородской семинарии. Я не знаю, почему-то я встречен был нижегородскими воспитанниками тогда с самым живым сочувствием ко мне. Впоследствии во многих оно возросло до энтузиазма, до влюбчивости, если можно так выразиться, в меня. Довольно было двух-трех, моих лекций, чтобы имя мое разнеслось по семинарии, двух-трех слов, сказанных мною вне класса тому или другому из моих воспитанников, чтобы между мною и ими установились дружеские отношения. И таких друзей было много тогда у меня, особенно из лучших по успехам питомцев: я принимал их в своей квартирке, зазывая большею частию не без труда к себе, и беседовал с ними самым родственным образом.

Покойный мой любимец, или, лучше обожатель (иного слова не подберу для выражения необычайной ко мне

любви его), Н. А. Добролюбов не принадлежал к числу моих непосредственных учеников, моих слушателей. Вследствие чего его дружба со мною, при его нерешительном характере и необычайной в то время застенчивости, установлялась медленно. В материалах для биографии Н. А. Добролюбова (январь 1862 г., «Современник») замечено уже, что, по множеству учеников в семинариях, один и тот же класс разделяют обыкновенно на два параллельных отделения. Те же предметы и большею частию по одной программе, хотя разными наставниками, читаются в обоих этих отделениях, причем, однако, вследствие отдельности помещений и разности наставников, оба параллельные отделения составляют как бы два отдельные класса учеников. Н. А. Добролюбов, в эпоху моей службы в Нижегородской семинарии, был учеником не в том отделении, в каком я был преподавателем, хотя предметы, им изучаемые и мною преподаваемые, были одни. От этого тем скорее я мог узнать и постараться приблизить к себе лучших учеников моего отделения, тем далее я не мог знать о закрытой для меня симпатии ко мне ученика другого класса. Нижегородский дневник покойного Н. А. раскрывает много непонятного для меня. В письме его ко мне, в котором совмещается и дневник его (напечатанном в № 1 «Современника» 1862 г.), ученик Добролюбов прежде всего привязывается как бы к самому имени моему, едва только услышал отзыв обо мне моих слушателей. Я долго не знал об этой, непонятной для меня, симпатии покойного. Заинтересованный собственно моими непосредственными учениками, мог ли я иметь и понятие о воспитаннике другого класса, так горячо, без всякой, повидимому, причины полюбившем меня? Прошло уже довольно времени, как я заметил моего тайного обожателя. Мне стали говорить об нем мои собственно ученики, рекомендуя его как первого по успехам ученика другого отделения и как желавшего со мною сблизиться. Я изъявил полную готовность на это сближение, и не знаю, сколько еще прошло времени как тетушка его Варвара Васильевна Колосовская (означенная в дневнике Н. А.) сделала решительный шаг к нашему сближению с Николаем Александрычем. «Племянник мой такой-то сильно желает с вами познакомиться,— говорит мне на одном вечере эта тетушка.— А как он вас любит, как уважает», и проч. и проч. Как ни немало слышал я незаслуженных мною комплиментов моей личности в тесном кружку моих знакомых,

но эта наивная лесть, высказанная притом торжественно, со всею витиеватостию тетушки, привела меня в краску. «Как, думал я, мог полюбить меня такой-то, не будучи моим слушателем и слова не слышав от меня? По молве? По рассказам товарищей? Но ужели такой умный молодой человек мог привязаться ко мне по одной молве, не проверив ее? Или он хочет только сделать эту проверку?» Я проговорил, однако, краснея от столь внезапного мне панегирика, что «я очень рад быть знакомым с вашим племянником, тем более что слышал об нем много лестного. Попросите его пожаловать ко мне»,— и только сказал я.

Другой случай, который самого меня побудил к скорейшему знакомству с учеником Добролюбовым, представился мне в случайно увиденном мною сочинении покойного. Бывши как-то в доме параллельного мне по классу и предмету наставника А. Е. [1], я, между прочими тетрадками и книжками на столе, заметил одну толстую тетрадь, примерно листов в двадцать. Заглавие этого сочинения гласило: «Свод учения мужей апостольских», или что-то подобное. На вопрос мой: что это за тетрадь,— сослуживец мой, непосредственный наставник Добролюбова, отвечал: «Это сочинение ученика Добролюбова». Ужели, спрашиваю я, столько он пишет на классическую тему и ужели вы даете такие темы ученикам? * «Нет,— отвечал мне флегматически мой сослуживец,— это он сам, произвольно, пишет и подает мне для прочтения». Пробежав несколько строк этой тетради, я заметил живой, зрелый, не ученический склад речи; и тут решил узнать поближе автора таких объемистых сочинений. Жалел только, что ученик Добролюбов не щадил себя, своего здоровья, как мне казалось, незавидного (я в то время уже знал его по поличью). Зачем он, подумал я, убивает свои молодые силы на такого рода компиляции?!

Но вот настало время нашего сближения с Н. А. Как сейчас помню, покойный в первый раз приходил ко мне за какою-то книгою. Едва переступив порог моей казенной квартиры, он останавливается в прихожей у самой

* Мне казалось невероятным, чтобы ученик так много писал на данную в классе наставником тему. В течение месяца обыкновенно ученик должен был написать на разные данные темы три или четыре сочинения. Можно ли же было поверить, чтобы эти сочинения-скороспелки так были объемисты, хотя бы у самого даровитого и прилежного ученика? Но оказалось, что ученик Добролюбов задавал сам себе работу помимо казенного занятия и выполнял ее с изумительным успехом.

двери и боязливо, трепетно, едва смотря на меня, спрашивает какую-то книгу из библиотеки. Сказав, что этой книги нет у меня, я сейчас вспомнил и желание тетушки моего посетителя и свое собственное намерение сблизиться с ним, и только что он хотел выйти от меня, как я беру его за руку и прошу посидеть у меня. Живо помню я первое впечатление на меня моего нового знакомца: так оно странно, поразительно было для меня. Знал я, что он сын губернского священника, что он самый лучший ученик из семидесяти учеников своего класса; но его необычайная робость, какая-то угрюмость, даже будто забитость прямо противоречили, на мой взгляд, тому и другому. «Это ли,— думал я,— сын городского священника? Несомненно также, что он считается отличным учеником; но отчего он так стеснен, так молчалив, даже будто неразвит?» Я принялся, однако, шевелить эту, как мне казалось, запуганную натуру; говорил что-то много и особенно старался говорить ласково, чтобы вызвать какое-либо объяснение почти безмолвного моего гостя. Но гость не поддавался. Между прочим, смотря на его худое довольно, будто страдальческое лицо, я советовал ему приберечь свои физические силы для занятия в высшем учебном заведении; упомянул ему о виденном мною его сочинении, похвалил его, как нельзя лучше, сказав в заключение, однако, чтобы он поберег свое здоровье... Но что я ни говорил, гость мой по-прежнему был безмолвен. Тем более я стал призадумываться над племянником Варвары Васильевны. До этого времени я уже приобрел сноровку беседовать с учениками семинарии, многих из них успевал расшевелить и заставить говорить со мною откровенно, развязно, даже интимно. Отчего же не поддается мне новый мой знакомец?

Закончу я — он и подавно молчит, опустив глаза; заговорю — он поднимет голову и слушает... «Диво,— подумал я,— надобно доискаться чего-либо в этом человеке». А чтобы он поскорее еще навестил меня, я прошу его оставить у меня номер «Современника», который он держал в руках. Я хотел этим обязать моего нового знакомца к скорейшему повторению его ко мне визита.

Не помню я месяца и числа первого посещения меня Н. А—м. В дневнике его замечено, что это посещение было за месяц до семинарских каникул (то есть 1852 г.), обыкновенно начинающихся с 15 июля. До 1 сентября этого года я уезжал в мою тамбовскую родину и не могу припомнить, сколь много раз бывал у меня мой любимец до

моего отъезда на каникулы. Зато по возвращении с родины в течение сентября, октября и начала ноября (в конце последнего месяца я окончательно переместился в Тамбов), можно сказать аккуратно через день, много через два, бывал у меня Н. А. и часто долго просиживал со мною. Обыкновенно так бывало. В четыре часа пополудни я выхожу из класса; выходит из своего и Н. А.; только войду я в мою одинокую квартиру, как вслед за мною едва заметно, осторожно, боязливо переваливается через порог моей каморы и мой любимец. Я всегда угадывал этот робкий шаг моего обожателя и тотчас же, стараясь как можно быть веселее (хотя порядочно утомлялся в классе), взывал: «Добро пожаловать, Н. А., садитесь, давайте пить чай». Затем «что нового?», спрашиваешь его, и начинается длинная-предлинная беседа! Нечего уже повторять, что бо́льшая доля этих длинных собеседований лежала на мне. Мой собеседник оставался до конца нашего личного знакомства верен себе: большею частию безмолвно слушал болтовню мою. Разве-разве когда поддержит разговор, сделает летучую заметку или предложит какой вопрос. Между тем, странное дело, я так привык к нему, что молчания его уже не считал странностию. Оно более не стесняло меня в моем неумолкаемом разговоре с молчаливым собеседником, тем более что собеседник мой, при всей молчаливости, так жадно всегда ловил мое слово и так симпатично улыбался на мои какие-нибудь смешные заметки или самодельные каламбуры.

Беседы эти, однако, как кажется, так мало имели содержания, что я, чрез десять лет так легко припоминая себе облик моего собеседника, всю внешнюю обстановку таких вечерних заседаний, не знаю, что сказать о содержании наших бесед. Дневник покойного Н. А. часто чересчур много придает моим беседам с ним, называя их умными и пр. Я не помню хорошо, о чем мы часто четыре и пять часов без умолку говорили, или, лучше: я говорил, а мой собеседник слушал. Сколько могу припомнить, однако, более общею темою наших разговоров были мы сами: я и он. Занятый большею частию неотрадными мыслями о моей неблестящей карьере учителя семинарии, а особенно представляя себе всю безвыходность начатой мною службы, я переносился в Петербург, — и тут являлись бесконечные рассказы о Петербурге. Надобно заметить: я тогда бредил оставленным мною Петербургом; тоска моя по столице (северной) равнялась тоске по

родине. Не знаю, что это была за тоска: но я, как говорится, спал и видел тогда возвратиться в Петербург — место моего последнего воспитания. Можно же после этого судить, сколько я ораторствовал пред Н. А. на задушевную мою тему о Петербурге... Затем разговор переходил на наше воспитание в духовных училищах, и незаметно от своей личности я переходил в разговоре на личность моего собеседника. Начинался ряд моих советов и благожеланий Н. А — чу. Я хорошо помню, что со всею сердечностию студента я советовал Н. А — чу скорее оставлять семинарию и непременно пробраться в университет. Мне неизвестно было семейное положение Н. А — ча: быв почти вовсе не знаком с его отцом, я за несомненное полагал, что как священник губернского города отец его легко может отправить сына в университет и содержать его там. Замечательно: мой неговорливый собеседник даже не объяснил мне внешнего (денежного) положения своего отца, когда он, по-видимому, так сочувствовал университету. При слове об университете проводилась нами параллель его с другими нашими высшими заведениями, причем я, помню, оканчивал речь советом поступить и в духовную академию, но не иную, как Петербургскую (если уже не удается университет). «Там, в Петербурге,— говорил я ему,— вы скорее найдете соответствующий себе род занятий; вас не стеснит духовная академия: выход из нее всегда будет вам легок».

Из дальних странствий по столицам и университетам речь наша часто возвращалась в свой тесный семинарский мир. Я старался направить моего молчаливого гостя хоть на знакомые ему лица и предметы, чтобы заставить его говорить...

И здесь-то хоть сколько-нибудь достигалась желанная цель, то есть несколько слов, часто с энергиею либо с горькою ирониею, вырывались из уст моего собеседника. Мне особенно памятен один случай внезапной говорливости моего любимца. Надобно заметить, что с 1 сентября 1852 года Н. А. перешел из параллельного ему класса (называемого *философским*) в класс, так называемый *богословский*[2]. Новые предметы занятия, единственно богословие, были часто темою наших разговоров; не без удовольствия, как можно было видеть, слушал Н. А. мои замечания на богословское воспитание, как оно должно идти у нас, и сам принимал участие в разговоре. Зато новые лица, преподаватели этих предметов, как видно, горечью

обдавали любознательного воспитанника. Вот этот случай, который я живо помню (о котором я намекнул выше). Заходит ко мне как-то среди дня Н. А., будучи *богословом*. «Ну что,— спрашиваю я,— как передают вам новые наставники новые для вас предметы, и особенно, как читает отец Паисий?»[3] Тогда мгновенно появилась какая-то горькая улыбка на лице Николая Александровича, и он громко, против всякого моего ожидания, говорит: «Что наши наставники-богословы? Представьте себе, И. М., наш всемудрый отец Паисий целый класс занимался ныне не богословием, а каким-то диким словопроизводством с латинского и греческого языка. Например, как вам кажется? Слово *жена* произошло, по его филологии, от латинского jungo, слово *дурак* — от латинского durus. Вот этим и занимался целый класс. Умора, да и только. Скучно слушать». Громким, каким-то запальчиво-едким смехом сопровождались эти слова Н. А.; но на последней фразе голос и смех его снова упали, и он по-прежнему скрылся в себя... Я, помню, не преминул разразиться при этом известии громким смехом, и, главное, не от этого дикого производства русских слов от латинских, о чем я уже не раз слышал от других учеников, товарищей Добролюбова, а я хотел этим веселым смехом поддержать говорливость моего любимца. «Вот,— думал я,— мой безмолвный гость начинает входить в интимность со мною». Но не тут-то было. Смех его оборвался — и он по-прежнему серьезен и сосредоточен. Теперь вполне и для меня разъясняется этот горький смех даровитого, быстро идущего вперед ученика над бездарным наставником. А тогда я не знал, чем объяснить эту вспышку, так притом быстро исчезавшую... Не буду скрывать: мне хотелось бы часто подзадорить моего молчаливого собеседника хоть этим комическим предметом, какова филология богослова-догматика, и я старался возбудить в нем таившуюся иронию. Но Н. А. большею частию, сказавши несколько слов, только улыбался на мои летучие замечания... и молчал. Я припоминаю при этом другого ученика, над каламбуром которого мы долго смеялись. Ученик этот, тоже *богослов* и очень даровитый, только чересчур неуклюжий (забыл его фамилию), пришел как-то ко мне в комнату, где был со мною другой наставник, вместе со мною учившийся в академии. Мы посадили за стол этого ученика, и мой однокашник вдруг спрашивает его: «Скажите, пожалуйста, кто у вас лучше читает: отец Паисий или отец N (послед-

ний означен тоже в дневнике Н. А.)?»[4] — «Да как вам, А. А., сказать,— с невозмутимою флегмою отвечает спрошенный,— это два гриба, только на разных ножках». Долго мы смеялись над этим каламбуром: он, конечно, отзывался бурсою, но тем не менее метко характеризовал тогдашних наставников и воспитателей Н. А — ча.

Вызывал я, как замечено выше, хоть на подобные разговоры моего любимца; но он и здесь не был размашист, как во всех беседах со мною. В душе его, как я и тогда замечал, таилась эта ирония, насмешка над горькою действительностию, но насмешка эта была глубоко закупорена в его сосредоточенной натуре, была слишком неразмашиста и холодно-скромна. Одним словом: личность моего обожателя и собеседника, несмотря на частые его посещения меня, осталась для меня тогда неразгаданною. Так глубоко закрыта была от меня его прекрасная, симпатическая душа. А между тем он именно никого не любил тогда так, как меня: это я не раз слышал от близких ему еще в Нижнем. Но особенно это раскрылось для меня с его письмом ко мне, когда я переехал в Тамбов.

Письмо это, в котором совмещается дневник Н. А — ча или воспоминания обо мне, я получил от него в Тамбове, спустя полгода по моем отъезде из Нижнего; писано в июле или августе 1853 года. Теперь этот дневник, в письме ко мне, отпечатан в № 1 «Современника», но я, к счастию, соблюл его доселе в рукописи самого автора и любуюсь теперь этим юношеским энтузиазмом, так ярко высказанным в письме. Я отвечал Н. А — чу на его длиннейшее письмо еще тогда же, в 1853 году; я писал ему в Нижний;[5] но получил ли он тогда мой ответ, не знаю. Зато его жгучее, чересчур любвеобильное ко мне послание уже решительно, как помню, затемнило предо мною человека, которого я так тщательно старался узнать. «Что ж такое,— думал я,— в сущности, мой любимец? Ужели в этом серьезном, по-видимому, холодном и не по летам сосредоточенном молодом человеке такая симпатичная, огненная душа?» Меж тем я не раз перечитывал его послание. Я видел, не скрою, юное увлечение мною автора письма, смотрел на горячие строки ко мне моего любимца как на юношеский энтузиазм или молодую фантазию стремившегося к авторству молодого человека. Но я не только не посмеялся никогда над этим увлечением, над этими мо-

лодыми * чувствами, а напротив, скорбел душою, что не сумел разгадать в свое время моего любимца. «Может быть,— думал я тогда,— я сумел бы сделать что-либо истинно полезное для моего друга, если бы успел разгадать его...» Но было поздно. Я удовольствовался моим к нему ответом, в котором не только выразил согласие, но и умолял его не забывать меня: писать, где бы он ни был. Думаю, что этот ответ мой не попал в руки Н. А — ча; кажется, он уже был в то время в Петербурге, а я писал в Нижний.

Как бы то ни было, однако, а с 1853 года я потерял из вида моего любимца и собеседника. Сослуживец и совоспитанник мой по академии однажды на мой вопрос о нем писал: «Твой любимец Добролюбов в Петербурге и поступил в Педагогический институт». Только и узнал я об нем. Затем извещали меня также о смерти его батюшки; я пожалел о моем осиротелом любимце — и только... Уже конец 1861 года указал мне моего друга — и где же? В могиле. В декабрьской книжке «Современника» этого года я встречаю некролог Н. А. Добролюбова[6]. Я не верил еще себе, доколе не пробежал всего некролога и не увидел звания и имени его отца и проч. Что со мною было тогда — я не знаю. Мне кажется, смерть самого близкого родного так больно не отзывалась в моей душе, как смерть моего юного любимца. И этот некогда робкий, застенчивый, как будто неразвитый мальчик уже несколько лет был даровитым писателем, человеком мысли, приобретшим себе громкое имя в литературе. Я ведь читал статьи *Бова* (в компании наставников семинарии мы уже несколько лет выписывали «Современник»), я любовался этим живым словом, этою зрелою и новою мыслию. Но мог ли вообразить я, что этот *Бов* — мой юный обожатель Добролюбов? Тотчас кинулся я в мой архив и, к утешению моему, нахожу объемистый пакет с письмом и дневником ко мне покойного, хранившийся с 1853 года. Первою мыслию моею было послать этот пакет в редакцию «Современника», но прочитав его, я слишком краснел от этих жгучих строк обо мне письма. А здесь разные житейские дела, более насущные требования день ото дня удерживали меня от исполнения моей мысли. Так и дождался я 1 № «Современника» настоящего года, где буквально, с не-

* Я всегда помнил слова его письма: «Умоляю Вас, верьте моей искренности и не смейтесь над моими чувствами». 10 июля 1853 года.

большими разве по местам вариантами, напечатаны письмо ко мне и дневник покойного Н. А—ча. Тогда я решил высказаться несколькими страничками в воспоминание о моем некогда любимце, приложив к ним нечто из дневника Н. А — ча, чего не нашел напечатанным. Я счастлив буду, если мои тусклые воспоминания о покойном хоть сколько-нибудь прибавят к данным для биографии незабвенного Н. А. Добролюбова.

3 апреля 1862 г.,
Тамбов

П. И. МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ

ЗАМЕТКА О ПОКОЙНОМ Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

(К издателю «Северной пчелы»)

В № 262-м «Северной пчелы» помещен краткий некролог недавно скончавшегося Н. А. Добролюбова. В этот некролог вкралась ошибка, которую считаю нелишним исправить. Там сказано, что Н. А. был сын *бедного сельского священника.* Это несправедливо: отец его был протоиерей Никольской верхнепосадской церкви в Нижнем Новегороде и член духовной консистории Александр Иванович Добролюбов, рукоположенный прямо к этой церкви и при другой ни в городе, ни в селе никогда не бывавший. Никольский приход — один из самых богатых в Нижнем, и отец Александр, умерший в 1855 году[1], был в нем более двадцати лет один, без другого священника, и еще в 1840 году построил большой трехэтажный дом с флигелями на Лыковой дамбе. Он был человек развитый, начитанный, образованный, любил светскую литературу и отличался высокой нравственностью, почему пользовался любовью и уважением не одних прихожан своих, но и всех вообще жителей Нижнего Новагорода. Честность, бескорыстие, доброта и редкое благодушие отличали этого достойного служителя алтаря. В приходе Александра Ивановича жила большая часть городского дворянства, и он, постоянно находясь в образованном кругу, бывая в домах своих прихожан не только с требами, но и как любимый гость, совершенно усвоил быт образованного класса людей. Он имел такое нравственное влияние на своих прихожан, что нередко бывал приглашаем ими на семейные советы, избираем в посредники при се-

мейных несогласиях и т. п. Он был прекрасным законоучителем, но в казенных заведениях, кажется, никогда не преподавал[2], а учил детей в домах образованного кружка городских жителей.

При такой обстановке родительского дома покойный Николай Александрович получил первоначальное образование. По обычаю и даже по необходимости отец отдал его в Нижегородскую семинарию. Учась в ней, он много читал, доставая книги сначала у известного знатока музыки, автора биографий Моцарта и Бетховена, покойного Улыбышева, а потом у кн. Трубецкого, живших на квартире в доме его отца и всегда радушно принимавших в своем кругу покойного Н. А., бывшего еще мальчиком. Влиянию такого общества покойный много обязан своим развитием. Вполне сознавая недостаточность семинарского воспитания и последовав советам своих близких знакомых, Александр Иванович взял сына из семинарии, отправил его в Петербург, где он и был принят на казенный счет в Педагогический институт. Отец не дожил до того времени, когда сын его достиг заслуженной известности; мать Николая Александровича умерла еще прежде, и вот осталась огромная семья, и все малолетние дети! Н. А. отказался в пользу сестер от части следовавшего ему наследства и много помогал братьям и сестрам до самой своей смерти. Все это мне известно потому, что я долго и близко был знаком с отцом Александром, моим духовником, и знал покойного Н. А. еще мальчиком.

‹Ноябрь 1861 г.›

В. И. ГЛОРИАНТОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ

По случаю предстоящего сорокалетия кончины Н. А. Добролюбова, уроженца Нижнего Новгорода и воспитывавшегося в здешней духовной семинарии, в настоящее время помещены в местных газетах сведения как об его пребывании в Нижегородской духовной семинарии, так и относительно дальнейшего его высшего образования. Но, однако же, надобно сказать, что сведения относительно этого предмета не совсем полны и даже некоторые обстоятельства вовсе не выяснены, как,

например: по какому случаю Н. А. по окончании семинарского курса не поступил в С.-Петербургскую духовную академию, когда он еще за год до окончания курса намеревался уже поступить в означенную академию, а потом и родитель его своим особым прошением просил преосвященного Иеремию благословить сына его на поступление в означенную академию [1]. А потому я, как товарищ Н. А. по духовной семинарии, и надобно сказать, что хотя мне и не удалось окончить полного курса, собственно по желанию родителя моего, прекратившего это учение для поступления на государственную службу, и таким образом мне не удалось видеть его жизни, до окончания им полного курса семинарии, но все-таки Н. А. до сих пор вполне сохранился в моей памяти со всеми обстоятельствами, не исключая даже и его домашней жизни и самой его физиономии, которая настолько усвоилась в моей памяти, что будь я художник-живописец, то с уверенностью могу сказать, изобразил бы его в настоящее время со всею точностью, и все, это было последствием того, что Н. А. из всех моих товарищей по семинарии был, можно сказать, единственной личностью, которая невольно должна была привлекать к себе внимание всех сотоварищей, именно прежде всего тем исключительным его наружным лоском, а потом теми обстоятельствами, которые нам были известны относительно его аристократического домашнего образования. Действительно, он вовсе не походил на нас, бурсаков, и по той причине, что ему не удалось испытать всех тех горестей жизни, которыми мы все с самого раннего детства до самых костей были пропитаны. Я скажу прежде то, что Н. А. явился в семинарию не из глуши сельской, как почти мы все — его товарищи, и не от бедных священноцерковнослужителей, а от городского благовоспитанного и образованного родителя, обладающего хорошими средствами и пользующегося хорошим общественным мнением, и у которого для воспитания своего сына всего было много: и учебных пособий и учебных руководителей, доставивших возможность сыну его поступить прямо в семинарию, не бывши предварительно в духовном уездном училище [2]. А знаете ли, что такое были в то время духовные уездные училища? Это такие были заведения, в которых педагогический деспотизм изобиловал в высшей степени, сопровождавшийся грубым обращением учителей и с сильным истязанием учеников, так что они нисколько не развивали способ-

ности учеников, а, можно сказать, даже заглушали их. Присоедините еще к этому бедность учеников и постоянную их нужду во всем, при житье в скученных и грязных квартирах, и притом в чисто крепостнической зависимости от своих хозяев, помыкавших ими и туда и сюда и заставлявших выполнять даже самые грязные работы, вознаграждая потом за это в праздничные дни или кусочком пирога, или же приварком мясных щей. Вот вам картина жизни в то время духовных воспитанников. Жизнь — горькая, безотрадная. И естественно, что при такой жизни и люди выращивались запуганными, робкими, застенчивыми и не способными находиться даже в порядочном обществе. А этих-то всех прелестей и не пришлось испытывать Николаю Александровичу. Правда, в семинарии в то время из некоторых наставников были субъекты довольно грубые и дерзкие; так, например, сказать ученику: «Ты осел, скотина, дурак» — считалось заурядным делом; но до Н. А. и такие фразы касаться не могли потому, что он в этом случае был гарантирован влиянием своего родителя, по милости которого, можно откровенно сказать, и в научных знаниях давалось ему преимущество против других, более его достойных учеников. Однако же к великому преимуществу Н. А. против всех остальных его товарищей по всей справедливости надобно отнести его блестящее светское образование, которое он приобрел благодаря тому случаю, что в доме отца его имел квартиру кн. Трубецкой, впоследствии председатель гражданской палаты, у которого были и гувернантки и гувернеры и в семействе которого как родной сын был и Н. А., где он получал изящные светские манеры и все возвышенные идеалы, оказавшие ему впоследствии при его литературной деятельности великую услугу, а также в совершенстве усвоил щеголеватый в то время французский язык [3], не аттестованный Н. А—чу семинарией в числе пройденных им наук, и этим самым обстоятельством объясняется то, что по какому случаю из числа необязательных для изучения в семинарии языков он предпочел французскому модному языку немецкий, в котором он семинарией и аттестован. Поэтому не удивительно, что Н. А., как с самого детства своего возлелеянный при во всем довольной и спокойной обстановке и кругом обставленный всеми удобствами, по окончании своего учебного образования вошел, можно сказать, еще в юношестве нестесненно и смело в среду благородных и образованных лиц и сделал-

ся, таким образом, исключительным и прославленным литератором. Да, это люди, родившиеся в сорочке, и есть баловни природы и, как вообще принято говорить, являющиеся на свет божий веками. Но, по моему мнению, такую рецензию давать людям можно с большой осмотрительностью и осторожностью, а главное, нужно принимать во внимание, собственно, то, что при каких именно житейских обстоятельствах известная личность находилась. Дайте те способы и удобства, какими пользовался Н. А., многим лицам, и тогда с уверенностью можно ожидать, что из десяти лиц один непременно сделается подобным Н. А. Ведь, по правде сказать, Н. А. нельзя сравнивать, например, с Ломоносовым, который из величайшей нужды и при величайших препятствиях получил высшее учебное образование и сделался полезнейшим членом общества, произведшим в то время менее фурора, чем Н. А. Образование Н. А., а особенно его домашнее аристократическое воспитание, как-то не вяжется с его странным предрассудком, которое он обнаружил по окончании семинарского курса и при его намерении поступить в С.-Петербургскую духовную академию, именно тем, что, прибывши в С.-Петербург и поселившись на квартире за Обводным каналом, в слободе Императорского стеклянного завода, как раз визави духовной академии, и когда ему как-то случайно пришлось обратить внимание на здание академии и пересчитать по фасаду его количество окон, которых оказалось счетом тринадцать, тогда он, явившись в академию к моему брату, Никандру Ивановичу Глориантову, как к своему нижегородскому земляку и профессору этой академии, объявил ему, что он уже не намерен держать в академию приемный экзамен, который он не надеется исправно сдать по случаю несчастного числа окон по фасаду академии... [4] А после этого намеревался было поступить в Медико-хирургическую академию [5], но и там какие-то причины воспрепятствовали ему в этом.

Из последующей жизни Н. А. мне известно только то, что когда он, будучи уже литератором, приезжал в Нижний и, гулявши по набережной вместе с учителем семинарии Леонидом Ивановичем Сахаровым, просил его сообщить ему все известные и особо выдающиеся по характеру своему административные распоряжения, так как он, Н. А., ведет переписку с Искандером (Герцен) [6].

Февраля 9 дня 1902 г.

В ПЕТЕРБУРГЕ. В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

М. И. ШЕМАНОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 1853—1857 ГОДОВ

Во второй половине августа 1853 года мы были приняты в число студентов Главного педагогического института. Большинство было из семинарий, которое поступило на филологический факультет, меньшинство из гимназий, которое, за небольшими исключениями, избрало математический факультет. Новобранцы представляли массу столь разнообразную во всех отношениях, что подобного разнообразия едва ли можно встретить теперь где-нибудь в учебном заведении: собранные из разных концов России, каждый носил свой особенный отпечаток местной жизни и местного воспитания, но, кроме этого, и степени умственного развития были различны. В этой массе были люди, сознававшие, зачем они явились сюда, чего они хотят, но были и дети, которых привлекли сюда Петербург, права института и прочие внешние приманки образования. Такой массе, разумеется, невозможно было скоро сплотиться в одно тело, и, сколько я помню, прошел целый год, прежде чем в ней завязалась своя жизнь.

Прежде всего образовалась партия гимназистов, но образовалась только вследствие враждебных отношений к семинаристам; тут не было кружка в хорошем значении этого слова, а была партия, осмеивавшая неуклюжесть, ненаходчивость и робость семинаристов. Нападения, заключавшиеся в насмешках, бывали часто дерзки, наглы, но отпора с противной стороны почти не было никакого. Вероятно, и покойный Н. А. не избег этих нападок злого остроумия, потешающегося над наруж-

ностью, но в этот год я едва помню его расхаживавшим с Щегловым, это было время их дружбы, время, о котором покойный говорил мне в 1859 году, что оно дало решительный толчок его умственной жизни. Личность Щеглова, далеко стоявшая выше нас по развитию, играла вначале главную роль в жизни нашего кружка, но впоследствии она оттолкнула многих из нас, по справедливому замечанию Н. А. (в его напечатанном дневнике) [1], тем, что все его действия вытекали из его личных отношений.

Впервые математики сошлись с семинаристами по поводу прошения, поданного студентами Давыдову на инспектора. Мы курили папиросы, выпуская дым в печную трубу; от этого труба была полна окурками. Начальство преследовало курение, потому что о нем в институтских правилах ничего не упоминалось. Однажды инспектор, зайдя в камеру, где жили семинаристы, и заглянув в трубу, нашел в ней множество окурков. Следствием такой находки было то, что инспектор наговорил много дерзких слов студентам. Гонор гимназистов задет был сильно, и они стали подбивать семинаристов подать жалобу Давыдову. Жалоба была написана Добролюбовым, принимавшим в этом деле не менее горячее участие, и подана им вместе с другим студентом (математиком) при полном собрании студентов младшего курса (тогда в институте было только два курса — старший и младший, каждый по два года). Давыдов принял жалобу, но повел дело своим обычным порядком: уверяя нас *письменно* в отеческой любви к нам, он требовал выдачи зачинщиков, грозя в противном случае исключить из института двоих, подававших прошение, то есть Добролюбова и Тарановского *. Дело продолжалось несколько дней; обещано было прощение и забвение, если сознаются, и кара — ссылка в уездные учителя,— в случае упорства. Все это пересыпалось уверениями в непреложной отеческой любви начальства к студентам. Держаться долго было нельзя — Добролюбов и Тарановский выдали себя зачинщиками. После этого произошло

* Вот текст прошения: «Инспектор института А. Тихомандритский, войдя в одну из камер, без всякой видимой и побудительной причины обозвал живущих в ней студентов самыми непристойными словами. Не привыкши под управлением Вашего превосходительства к подобному обращению, мы покорнейше просим обратить на это обстоятельство Ваше внимание».

небольшое объяснение всего курса с обиженным инспектором, пред которым должны были извиниться обидевшие его студенты,— и дело кончилось мирно, к вящему удовольствию отцов-наставников.

Давыдов был в то время для нас альфой и омегой. Участь каждого зависела вполне и исключительно от него. Профессора не вмешивались во внутреннюю жизнь института, конференция их утверждала всякое желание Давыдова: для него стоило захотеть — и каждый из нас мог очутиться уездным или приходским учителем где-нибудь в Якутской области. Были факты такого директорского всемогущества во времена прежних выпусков, рассказы о которых дошли и до нас. Впрочем, Давыдов не скрывал своего могущества и перед нами. Раз профессор французской словесности пожаловался директору на одного студента, не сделавшего перевода,— Давыдов, в присутствии профессора и всех студентов, раскричался на виновного и кончил:

«Если еще будет такая жалоба, я *тебя* пошлю туда, куда ворон костей не заносит!» Сказал — и вышел.

Факт подачи студентами жалобы важен в том отношении, что он сгладил сразу разницу между гимназистами и семинаристами. Вместе с тем он выдвинул вперед и Добролюбова, которого решимость принять на себя имя *зачинщика* пред страшным Давыдовым родила во всех к нему искреннее уважение. С тех пор слова прошения — «без всякой видимой и побудительной причины» — сделались поговоркою между студентами нашего курса, которая привязывалась к месту и не к месту. Жалоба была подана перед рождеством 1854 года. Положено было отпраздновать это событие кутежкой. Как было нам не радоваться ему, когда оно было первым заявлением нашего человеческого достоинства перед начальством, которое до этого как бы забывало, что мы, хоть и задавленные бедностью и полною беззащитностью, все-таки же *люди*, все-таки же *можем* оскорбляться бессмысленными упреками нашей бедностью, расточаемыми нам на каждом шагу. Нам постоянно говорили, что мы *ничто*, что правительство нас облагодетельствовало с ног до головы, приняв нас в институт, что мы обязаны вечной благодарностью за то, что пустили нас на паркетные полы, дали возможность слушать золотые речи всяких ученых — наших профессоров, что, конец концов, все эти благодеяния проистекли из необъяснимой

отеческой любви к нам нашего ближайшего начальства. В особенности же эти оскорбления сыпались на бедных семинаристов.

Кутнуть согласилось человек пятнадцать, да и то с условием строгой тайны. Нанята была уединенная комнатка в уединенном доме (где-то на Большом проспекте Васильевского острова), окруженном с трех сторон садом. Закуплено было вино, карты, двое малороссов обещались попотчевать нас варениками. Помню — беседа была самая оживленная, говорили преимущественно о начальстве и о профессорах: в первый раз речь наша шла безбоязненно быть услышанной начальством или кем-нибудь близким ему. Пели и песни. Один запел было известный русский гимн, но встретил общее неудовольствие. Когда же он, несмотря на то, продолжал петь, то Сидоров, считавшийся до того между нами ярым патриотом, пробавлявшимся на плохих патриотических стихотворениях по поводу Восточной войны, вдруг выдернул шпагу с угрозой заколоть певца и своим дребезжащим голосом стал импровизировать на тот же голос пародию. Это возбудило общий смех и рукоплескания — певцы умолкли. В этот вечер Z ⟨Щеглов⟩ объявил нам, что автор стихотворения «На юбилей Н. И. Гречу», ходившего в то время по Петербургу в многочисленных списках, был Добролюбов; что это стихотворение разослано было во все редакции и самому Гречу, который получил его, находясь уже за своим юбилярным обеденным столом, но что все это надо хранить в тайне, потому что автора разыскивают. Добролюбов, как мне известно, был очень недоволен этой нескромностью. Проведя ночь в тесной комнате, в которой даже не всем достало места для спанья, на другой день мы выпили снова по бокалу какого-то шипучего вина, обещаясь собираться почаще. Тот же Z прочел нам стихи Добролюбова по поводу этого вечера. Вот что можно припомнить из этого шуточного стихотворения:

Любовь и братство нас собрали,
Мы вечер дружно провели,
Свободу мы провозглашали
И пели тост крамбамбули.

Тут был степенный Черняковский
И Добролюбов, ваш поэт,
Женоподобный Шемановский,
Nommé Marie-Antoinette.

Буренин, Бордюгов был с нами,
Противник некоторых мер,
И ярый Сидоров с мечтами —
Наш Мирабо, наш Робеспьер.

Был Тарановский-возмутитель
И предприимчивый Щеглов,
Паржницкий — наш распорядитель,
С сердитым взглядом Л⟨?⟩ов [2].

. . . .

Еще был с нами Радонежский,
Но он был с нами — мы не с ним,
Буй-тур из пущи Беловежской —
Он чужд стремлениям людским.

Простим ему — ведь он художник:
Живет он сердцем, не умом,
На деле тоже он безбожник,
Хотя не признается в том.

. . . .

С этого вечера образовался из небольшого числа студентов нашего курса кружок, в котором читались и переписывались те сочинения, которые трудно было найти в нашей книжной торговле; [3] переводились также некоторые сочинения с иностранных языков на русский. Решено было вносить небольшую плату каждым из нас для приобретения редких книг (преимущественно Герцена), на выписку русских журналов и газет [4]. Всем этим главным образом руководил Добролюбов. Мы собирались иногда у наших бывших институтских товарищей, вышедших из института (Паржницкого и Сидорова) или у знакомых студентов Петербургского университета (Кельсиева и др.) и Медицинской академии. Вино и карты были совершенно изгнаны из этих собраний, время проходило в разговорах и спорах. В спорах Добролюбов отличался серьезностью и уважением к противнику. Как бы ни был упорен его противник, никогда он не позволял себе ни одной насмешки над ним, не преследовал его иронией, как это бывало с другими спорщиками, но брался за предмет спора с существенной, серьезной стороны и рядом силлогизмов заставлял противника соглашаться со своим взглядом. Люди диаметрально противоположных взглядов с Добролюбовым после спора с ним выносили искреннее к нему уважение, если даже они и не соглашались с ним, боясь его смелых выводов. Многие из студентов, которых он не любил, лю-

били и уважали его, и это чувство в них сохранилось и после выхода из института. Его чистая, возвышенная натура не могла дойти до неуважения к человеческой личности, как бы безотрадно ни было ее состояние: я могу привести примеры, где он трудился над такими субъектами, над которыми труд был почти напрасен. Всякий соприкасавшийся с ним чувствовал то освежающее действие, ту пробудившуюся любовь к честному и скромному труду, то довольство собой, которое заставляло смотреть на мир светлыми глазами, побуждало действовать, а не терять времени в напрасных сетованиях и бесполезном отчаяньи. Письма его производили то же действие. Таковы были его частные отношения к людям, по крайней мере к тем, которых я знаю.

Другим характером отличались его отношения к людям, имевшим то или другое общественное положение. Этот характер хорошо известен из его печатных статей, и в этом случае он не противоречил себе. Дело общее — выше всего. В этом случае он не щадил никого, не останавливался ни перед чем, что, по его мнению, могло препятствовать общественному развитию. «Надобно сбрасывать авторитеты, карать низость публично, иначе мы будем двигаться по-лягушачьи или, еще хуже,— стоять на одном месте, воображая, что идем вперед»,— говорил он мне три года тому назад. «Нужно наше общество будить, будить и будить — вот дело нашего поколения»,— продолжал он. «Нелепо объяснять мои нападки на авторитеты завистью или недоброжелательством. Сами по себе, за свои прежние заслуги, они стоят уважения, но если их притязания идут до того, что они хотят стоять впереди даже тогда, когда уже выжили из сил, и для этой самолюбивой личной цели стараются задержать общее движение, то как же не ругать и не бить их?» — отвечал он мне на мое замечание, что его нападки объясняют завистью и недоброжелательством. А за три месяца до своей смерти он с досадой говорил, что те из его статей читаются, где его подпись [5], а там, где нет ее,— часто даже и не прочитываются. Когда же я представил ему тот резон, что отчего же не пользоваться этим обстоятельством — своей авторитетностью, если она может привлечь большое число читателей, а следовательно, и большее число последователей его идей, то он отвечал: «Хороши последователи, для которых важно имя, а не самые идеи». В деле общем он

никогда не задумывался насчет выбора дороги, а шел прямо, открыто, честно. Выжидать удобной минуты, действовать медленно и осторожно не было в его характере. Мысль об опасностях, о возможности испортить свою карьеру не приходила, кажется, ему и в голову, когда он был еще студентом. Здесь он опасался больше, за других, чем за себя, и в этих опасениях было что-то дружеское, родственное, братское. «Я никогда себе не прощу, если ты попадешься»,— часто можно было слышать при замысле какой-нибудь выходки против институтского начальства, выходки, самой по себе пустой, но в глазах начальства имевшей вид демонстрации, посягания на его достоинство. Вот один из этих случаев.

Кормили в институте дурно; начальство объясняло нам (когда уже оно было в сильном разладе со студентами), что на содержание отпускается очень мало, и оно действительно хлопотало в то время о прибавке каких-то копеек на студенческий стол. Но студентам казалось, что и при этих средствах можно обойтись, например, без тухлой говядины, без затхлой крупы и проч., поэтому недовольство столом не уменьшалось, а увеличивалось. В 1856 или 1857 году, на четвертом уже курсе, по поводу одной выходки Давыдова, оскорбившей двух студентов, решено было для отмщения затеять решительную борьбу за стол. Добролюбов написал прошение [6], в котором от имени студентов целого курса объяснил весьма скромно причины дурного стола. Просилось: 1) дать полные права дежурному на кухне студенту браковать дурные <блюда> и принимать хорошие с личной ответственностью как перед начальством, так и перед своими товарищами; 2) для последней цели завести столовую книгу, в которой дежурный записывал бы, довольны или недовольны были студенты обедом. Прошение было написано и одобрено горячо почти всеми. Но кто подаст его? Тут пошли споры, упреки; говорили, например, что я *уже замечен несколько раз*, и проч. в этом роде. Добролюбов вызвался с самого начала споров, но студенты его отговорили, потому что для него это представляло действительную опасность после бывших перед этим стычек с Давыдовым.

В это время кто-то принес известие, что Давыдова нет в институте,— он куда-то уехал. Решили воспользоваться этим случаем и послали одного студента в институтское правление подать прошение советнику правле-

ния (прошение адресовано было на имя директора в правление института), с тем чтоб он пометил и передал директору по его приезде. Но маскировка подачи была дурно придумана: лицо, подававшее прошение, нисколько не избежало неприятных объяснений с Давыдовым, потому что студенты были известны в правлении. В то время как все с восторгом ухватились за эту мысль, Добролюбов по обыкновению молчал. Студент, возвратившись, объявил, что советник отказался пометить прошение. Вскоре приехал Давыдов и отправился прямо в правление; явился и посланный от советника, возвестивший, что теперь-де пожалуйте подать прошение. Произошло новое колебание. Добролюбов не вытерпел, взял прошение и подал. Долго мы ждали его возвращения. Наконец возвратился он бледный, с сжатыми губами, и через час отправился к Вяземскому, бывшему товарищу министра. Ему он подал прошение о выпуске его в младшие учителя гимназии. Вяземскому стоило больших трудов уговорить его; кажется, что он взял только тем, что отказался принять прошение *. И никогда ни одного упрека в трусости, в себялюбии не срывалось с его языка его товарищам, а ведь подобный упрек был бы так справедлив, так естествен! Напротив, в делах такого рода, если только они обеспечены общим желанием, в нем являлась решимость, стремительность действий, готовность идти вперед даже и тогда, когда толпа смешалась при виде предстоящей опасности и готова уже отступить назад. Так целен, так верен с самим собой был этот человек.

Сначала собрания чаще всего были у Сидорова, после перехода его из института в Петербургский университет. Фантазер от природы, он не обладал глубоким анализирующим умом и горячим сочувствующим сердцем. Он легко увлекался разными теориями общественного устройства, но увлекался пассивно, вполовину понимая их. При сильно развитой фантазии, он был при этом крайне самолюбив, воображая себя призванным совершить великий переворот или в жизни, или в науке. Он прямо говорил, что он *великий человек*, что он почувствовал свое призвание, бывши еще мальчиком, в Томске, что для совершения неизвестного еще ему подвига он пришел в Петербург чуть не пешком, бросив свою

* В бумагах Н. А—ча сохранилось это прошение [7].

семью и блестящую карьеру, которая там открывалась перед ним. Он был чуть ли не старше всех нас; по крайней мере при вступлении в институт его за лета отказались принять в студенты и он должен был просить о включении себя в студенты самого министра. Приучив себя к восторженному состоянию, он тяготился нормальным своим состоянием и искал малейших поводов восторгаться. До описанного мною вечера он еще не занимался социальными вопросами и пробавлялся на патриотических стихотворениях Восточной войны. Декламируя какое-нибудь глупое стихотворение, он наливался кровью, производил страшные, угрожающие жесты и разъяренно кидался на того, кто не в состоянии был удержаться от улыбки. Мы прозвали его *ярым*.

Переход от поклонения абсолютизму к крайнему социализму произошел в нем очень быстро, чуть ли не в самый тот вечер, когда он со шпагой в руке заставил молчать певца, певшего «Боже, царя храни». Такие резкие переходы в фантазерах, впрочем, очень естественны. Увлекаемые какой-нибудь новой для них идеей, они резко отступают от прежней своей проповеди, часто даже сами не замечая своего отступления; в их голове легко мирятся и самые резкие крайности. Выйдя из института, он вполне уже увлекся социальными идеями, писал планы, уставы обществ для того времени, когда род человеческий размножится до того, что земли окажется мало для пропитания населения земного шара, и ничего не делал ни в университете, ни для добывания себе средств к жизни. Конечно, он задолжал, и часть денег, собиравшихся на приобретение книг, пошла ему. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что эта мысль принадлежала Добролюбову. Денег вообще собиралось немного, и я наверное знаю, что излишек расхода покрывался им из своего кармана. Это вспоможение делалось не раз Сидорову и Паржницкому, когда последний был сослан фельдшером в военный госпиталь в Куопио (в Финляндию). Сидорову прекратилось оно по следующему обстоятельству.

В те дома, где он давал частные уроки, были вхожи некоторые из нас; в некоторые он даже был рекомендован Добролюбовым или другими. Не являясь по нескольким неделям на уроки, он возбудил неудовольствие в родителях, о чем последние и заявили рекомендовавшим его студентам. Но на все советы и уговоры не манкировать уроками он отвечал двумя-тремя восторжен-

ными фразами и продолжал манкировать. Кончилось тем, что ему отказали от уроков, и он остался без всяких средств. Тогда-то он написал длинное-предлинное послание к нам, требуя от нас определенного себе содержания, и отказывался при этом от всякой черной работы (так он называл частные уроки), как несогласной с его высшим назначением. Это письмо привело в негодование всех, потому что никто не отзывался с таким презрением о труде, как это высказано было в его послании. Ему решительно было отказано. Отказ писал Добролюбов. Сидоров, приписывая отказ ему одному или его влиянию, с тех пор отзывался о нем дурно, хватаясь за всякий несколько сомнительный его поступок, чтобы обвинять его в лицемерии и т. п. Эта дурная черта нашего Робеспьера осталась в нем до самой смерти Добролюбова. Он обвинял Добролюбова в служении видам правительства; впрочем, при почитателях Добролюбова он облегчал его вину тем, что он подчинился Чернышевскому и Некрасову и отказался ради этих богов от самого себя.

Я встречался с ним в Москве года через четыре после выхода моего из института. Эти четыре года для меня не прошли бесследно; тяжелые столкновения с жизнью взрастили меня, разъяснили и укрепили многое, что принималось на слово, входило в убеждение сердцем, не умом. Но он остался тем же юным мечтателем: та же восторженность при всяком удобном случае, та же способность наливаться кровью, та же уверенность в величии своего назначения. Социальные вопросы он уже бросил и если случалось говорить о них, то отзывался равнодушно. В это время он занимался математикой, говорил, что жизнь невозможна без высшей математики, что без нее нельзя быть ни умным администратором, ни глубоким философом, ни законодателем, короче — ничем. Он прочел множество математических сочинений и думал произвести переворот в этой науке, ругал беспощадно всех живших математиков и увлекался Вроньским. Он порывался составить математическое общество и издавать журнал, но ничего ему не удалось. Неудачи и бедность, в которой он проводил жизнь, не изменили его; только воображение рисовало ему, что он окружен тайными врагами, шпионами русского правительства, умеющего чутьем отыскивать гениальные натуры и задавляющего их лишением всяких средств существования. Его фантазия довела его до мистицизма, он

признавал бога, допускал демонические силы. На третий день после появления в газетах известия о смерти Добролюбова мы получили от него записку, в которой он предлагал отслужить панихиду об усопшем товарище, а на другой день после записки явился и сам с этим предложением. Тяжесть потери чувствовалась горькой болью в сердце. Все ⟨не⟩хорошие стремления сердца замолкли, образ покойного носился пред глазами. Казалось, что и сам умер или что черед и за тобой, а при виде Сидорова, предлагающего панихиду, не явилось даже и негодования!

Не знаю, доживет ли Сидоров до подвига, на который родила его судьба. Он действительно назначен совершить подвиг и, может быть, не один. Это человек, которого сила в минуте, в момент общей нерешимости. Битва идет, победа колеблется, перевес то на одной, то на другой стороне. Но вот смятение. Одна сторона начинает торжествовать, противная готова уже бросить оружие и бежать. Вдруг среди смятенной толпы является человек с всклокоченными волосами, с кровяными глазами, с кинжалом, которым он потрясает в воздухе. Презрительно окидывает он быстрым взглядом бегущих. «Трусы! — кричит он им.— Куда бежите, подлые? Назад! С нами бог, за нами правое дело! Умрем же или победим!» — и первый кидается на торжествующего врага и еще, пожалуй, с какой-нибудь песнью. Толпа за ним — и победа наша. Да, вот его настоящая арена подвигов, а не в жизни и в науке.

Чтоб кончить с этой личностью, я опишу один вечер, бывший у него. Собрались почти мы все. Кроме студентов нашего института, были еще двое Петербургского университета. Сидоров встречал каждого и таинственно пожимал руку. Наговорившись досыта на свободе, мы уже собирались расходиться, как хозяин попросил подождать несколько минут. Он вынул тетрадь, из которой прочел что-то такое, из которого можно было понять, что ему было какое-то откровение свыше. Затем он объявил, что нужно составить тайное общество, под именем литературного, чтоб скрыть настоящую его цель от правительства. Затем следовало чтение тайного устава общества. В этом уставе было много параграфов, но ни один из них не носил того опасного характера, которого страшится правительство: цель была благотворительность, только в обширном и гуманном значении этого слова.

Чтение кончилось, автор ждал ответа, но каждый почему-то удерживался сказать первым. Я, чтоб прервать молчание, сделал замечание, что действия, требуемые уставом, такого рода, что каждый из нас может совершенно свободно и явно производить их, что я не понимаю, какая цель давать этим действиям форму столь опасную, как тайное общество. «Цель,— закричал автор,— тебе нужна все *цель*, *meta* — а без цели ты и шагу не хочешь сделать? Так я тебе скажу, где цель: цель впереди. Пока мы еще не можем видеть ее ясно, а придет время — увидим». Произошел спор. Все находили, что бесполезно подвергать себя явной опасности из одного названия, и требовали от него цели. Автор в ответ говорил о своем призвании, о тайных голосах, слышимых им, и проч. и проч. Конечно, все это кончилось шутками и смехом, в котором автор, погорячившись вначале, и сам принял участие.

Еще раньше выхода Сидорова, вышел из института Паржницкий. Этот человек — один из замечательнейших нашего кружка, и о нем стоит сказать несколько теплых слов. Сын бедных униатских родителей, он еще в детстве, когда был гимназистом, испытал на себе насилие русского правительства в деле веры. Мальчиком он долго скрывал свою веру от гимназического начальства, выдавая себя за католика, но был выдан своим родным братом, который был далеко моложе его и предательство такое сделал, разумеется, по детской необдуманности. Я не знаю подробно этой истории, но насильственное обращение мальчика в православие сообщило его характеру особенный цвет. Он никогда не был вполне откровенен ни с кем из своих товарищей, отзывался о православии с едкими насмешками и ругал попов. Его оскорбленное в детстве человеческое достоинство родило в нем какое-то презрение к великорусскому племени, он искал польского общества, его симпатии были к Польше, отчасти к Малороссии и нисколько не к России; он себя считал поляком. По окончании гимназического курса он поступил в Одесский лицей, но чрез год перешел в Петербургский университет. Пробыв здесь года полтора, он, за неимением средств к жизни, стал хлопотать о приеме в институт. Отзывы петербургских профессоров о нем были очень рекомендательны, притом он говорил на четырех языках, а этого было достаточно для Давыдова, чтоб хлопотать о нем; он был принят, когда мы

были на втором курсе. Я помню его хорошо. Он сидел в камере рядом со мной, постоянно занимался математикой, писал по этому предмету сочинения и чувствовал непреодолимое отвращение к богословиям разного рода и поповским логикам и психологиям. На репетициях не раз мне случалось отвечать попу за него, так как поп не знал многих из нас в лицо. Он подсмеивался над моими усердными занятиями к поповским репетициям, звал меня за мою способность заучивать слово в слово безобразные поповские лекции — зубрилкой, попкой и др. милыми названиями. Сам же поповские лекции проводил или в занятиях дифференциальным и интегральным исчислением, или в сне, для чего как-то особенно ловко подстраивался под столом. В первое время своей институтской жизни он не сближался с студентами; его отношения в эти месяцы с Давыдовым были хороши, и можно было заметить, что он и сам старался поддержать эти отношения, несмотря на отвращение, какое он чувствовал к связанной жизни студентов. Я помню хорошо, что он восставал против подачи прошения на инспектора, называл Давыдова человеком умным, единственным во всем институте, что все остальные — дураки, шваль, дрянь, что сколько ни ломай себя, сколько ни прикидывайся, а придет минута, и человек вдруг, ни с того ни с сего, да и выскажется весь, каким он действительно есть. Так было с Паржницким. Вооружаясь против подачи прошения, он уже был на нашей стороне, когда прошение было подано, и был распорядителем пирушки, устроенной по этому поводу. После этого вечера у него начались столкновения с надзирателями, а потом и с Давыдовым. Поводы к столкновениям были самые ничтожные.

Чтоб дать понятие о них, я приведу один случай.

Паржницкий любил при перемене белья выпускать воротнички чистой рубашки сверх галстуха. Начальству это не нравилось, как не нравились расстегнутые сюртуки и прочие нарушения солдатской дисциплины, введенной во времена Николая во все гражданские учебные заведения. За ужином, когда за нашим столом велась громкая веселая беседа (что было также нарушением институтского правила, по которому студенты должны были за столом говорить только о предметах своих лекций со скромностью, отличающей благовоспитанных

людей), чахоточный немец-надзиратель Людвиг долго ходил около нашего стола в нерешимости выбрать средство остановить хохот и громкие крики разговаривающих. Мы заметили его нерешимость и продолжали раздражать его чахоточную натуру. Но немец скоро нашелся. Подойдя к Паржницкому, он молча указал ему на выпущенные воротнички и спросил: «Зачем это?» Паржницкий отвечал, смеясь: «Затем, зачем и у вас», и при этом указал немцу на его сильно накрахмаленные (воротнички). Немец страшно оскорбился таким дерзким ответом, нажаловался Давыдову. Этот потребовал для объяснения Паржницкого в конференцию пред портрет императора и призвал для пущей важности пришедших для лекции профессоров. Паржницкий объяснялся дерзко с Давыдовым. Остроградский, присутствовавший при этом объяснении, на лекции говорил нам: «Как же можно так говорить *директору!*» Оставаться в институте Паржницкому было нельзя: честолюбивый до мозга костей, Давыдов не мог оставить без наказания дерзкий ответ ему в конференции, в присутствии профессоров. Время, когда Давыдов имел полную возможность отмстить,— экзамены,— было на носу.

На экзаменах Давыдов был полновластным господином. Он ставил баллы по своему личному усмотрению, профессора, за исключением двух-трех, ему не противоречили. Случалось, что на экзаменах студент отвечал на попавшийся ему билет безукоризненно; профессор ставил ему в своем списке пять баллов, а студенту объявлялся в присутствии самого профессора балл далеко меньший. В 1854 году на экзамене из русской словесности из первого курса во второй товарищ наш Захаров, студент математического факультета, отвечал на свой билет и на многие вопросы сверх билета прекрасно. Давыдов, имевший причины быть им недовольным, хотел показать над ним свое всемогущество. Основываясь на том, что Захаров не ответил на один или два вопроса, предложенные им, он поставил ему единицу, а этот балл равнялся выходу в уездные учителя. Давыдов хотел показать только свою силу, так сказать пошутить, и назначил переэкзаменовку Захарову. Но Захаров, оскорбленный произволом, отказался от переэкзаменовки, несмотря на увещания инспектора и профессора словесности. Он был послан уездным учителем в Гдов, Петербургской губернии, и через год или два, кажется, спился и умер. А на

математическом факультете он был одним из лучших студентов.

Паржницкий хорошо понимал, что оставаться в институте ему опасно, чрез месяц или два он рисковал быть где-нибудь в Якутской области уездным или приходским учителем. Но как выйти из института? Была одна возможность — заплатить по сто пятьдесят рублей за каждый год институтской жизни, но и это соединялось с большими хлопотами и трудностями, а для него эта возможность была невозможною по причине его бедности. Он выбрал дорогу более короткую, хотя и очень опасную. В это время старый император умер, на престоле сидел новый. Каждый день приносил какой-нибудь рассказ, свидетельствовавший о человечности нового императора: положение Александра в императорстве было ново для него самого. Испытавши сам на себе грубые лапы самодурства в лице своего родителя, Александр не вдруг взошел в роль императора: рассказы, ходившие тогда о нем по Петербургу, свидетельствовали о том. Паржницкий решился обратиться к нему. Он подал ему прошение, в котором объяснял, что, не имея расположения быть учителем, он просит перевести его в студенты Медико-хирургической академии. Император принял прошение и говорил с Паржницким несколько минут, расспрашивая его об институте; прошение подано было на набережной, во время прогулки императора. Петербургская полиция, следящая за каждым шагом императора, немедленно донесла министру народного просвещения и Давыдову о том, что император разговаривал с студентом Педагогического института.

Давыдов всполошился, он боялся, чтоб Паржницкий что-нибудь не проболтал императору о нем и об институте; призывал по нескольку раз его к себе, заставляя его каждый раз рассказывать все, в подробности, о своей встрече с императором, о том, какой рукой император взял прошение, и проч. Но Паржницкий был осторожен: он всякий раз переиначивал свой рассказ, придумывал небывальщины и потом отказывался от них и этим держал Давыдова в состоянии беспокойства и нерешимости. Эта умная тактика с Давыдовым спасла Паржницкого. Через несколько дней, когда министр потребовал от Давыдова аттестации Паржницкого, он аттестовал его как первого студента по успехам и нравственности. Паржницкий по высочайшему повелению был переведен из

института в академию, *не в пример другим*. Тогда-то Паржницкий, скрывавший и от нас свое дело, рассказал нам все подробно, смеясь от души над Давыдовым, над его страхом, который помог ему оставить его в дураках. Это, вероятно, дошло до Давыдова, а может быть, он и сам собой догадался, что во все это время был в руках студента-мальчишки. Чтоб поправить дело, Давыдов послал секретное отношение к начальству Медицинской академии, в котором предостерегал его от Паржницкого, объясняя, что в институте Паржницкий отличался развращенною нравственностью и портил других студентов. Этот конфиденциальный донос Давыдова принес Паржницкому один из офицеров, служащих при академии, и дал ему прочесть.

Есть натуры, для которых введение социальных идей в жизнь составляет как бы цель их собственной жизни. В какое бы положение они ни были поставлены, как бы ни старались они себя уединить, отдернуть от этого стремления их природы какими-нибудь занятиями по части наук несоциальных, но природа берет свое: покрепятся, покрепятся, да и прорвутся, и прорвутся страшно, начисто. Куда бы судьба ни забросила их, везде они сумеют найти людей, пробудить в них эти идеи, сумеют составить, без всякого намерения с своей стороны, почти бессознательно, из них общество с определенным социальным взглядом. И где бы они ни появились, эти люди, окружающая их среда, как бы груба она ни была, сама собою начинает изменяться, очищаться. Это та едва заметная органическая клеточка дрожжей, которая может привести одним своим присутствием в брожение невообразимые массы хлебного затора и обратить его в спирт. Люди эти — предтечи будущего социального устройства, будущего, но недалекого, близкого. Старый, дряхлый организм общественного устройства сам родит их из себя, воспитывает в них свою смерть и свое возрождение в новом, обновленном виде. Такой органической клеточкой был Паржницкий. Он не занимался отвлеченными социальными вопросами, часто даже смеялся над занимающимися ими, но, если жизнь представляла ему практически решить вопрос, в своем решении, в своих действиях он высказывался социалистом. Это был человек практического дела, боец жизни, презиравший всякое бесплодное словопрение. Он был совершенною противоположностью с Сидоровым: ни капли восторженно-

сти, ни капли честолюбия. С этой стороны он схож был с Добролюбовым.

В Медицинской академии он не пробыл и года. Там началось брожение, и клеточкой был Паржницкий. Начальство академии страшно обкрадывало студентов, студенты кутили, бранили втихомолку начальство и ничего не делали. Паржницкий в несколько месяцев соединил, сплотил их, довел до той точки, за которой начинается дело. В несколько сходок студенты решились подать жалобу на свое начальство императору, и главным депутатом был выбран Паржницкий (всех же их было четверо: кроме Паржницкого, были Михайловский, Щеглов и Алексеев). Император принял жалобу, назначил своего флигель-адъютанта ‹Ф. Н. Сумарокова-› Эльстона следователем. Следователь, по русскому обычаю, начал следствие тем, что засадил депутатов в ордонансгауз. По следствию, произведенному в академии, оказалось действительное воровство, но вести дело честно — не в духе русского правительства. По его принципам подчиненный не должен жаловаться на начальство, каково бы оно ни было. Нужно было наказать студентов, но как, за что? При допросах, продолжавшихся более двух недель, заключенных депутатов старались всеми подлыми мерами сбить, спутать в показаниях, но, не успевши в этом, их обвинили, кажется, в том, что они, вопреки русским постановлениям, при подаче жалобы обошли несколько начальственных ступеней. Депутатов присудили сослать фельдшерами по разным госпиталям. Остальные студенты Медицинской академии ничего не могли сделать для спасения своих депутатов; им только было обещано лейб-медиком Енохиным напомнить императору во время коронации его о четырех фельдшерах-студентах. Это было в 1855 году, во время Восточной войны. На проводы сосланных явилось много студентов академии и некоторые института. Все были веселы, даже разжалованные нисколько не были опечалены. Они уже одеты были в новых своих костюмах — серых солдатских шинелях, и провожатый жандарм был тут же, в студенческой компании. Настал и час разлуки, и в этот час также не было ни слез, ни упреков судьбе или что-нибудь в этом роде, исключая, впрочем, одного студента, о чем свидетельствует приведенное ниже письмо,— обнимались, целовались, обещались не забывать друг друга и — только, как всегда бывает и в обыкновенной раз-

луке. Осужденные отправились; многие из студентов провожали их до самой заставы. Паржницкий назначен был в военный госпиталь сначала в Тавастгус, а потом переведен в Куопио, в Финляндии. В его письмах к Добролюбову высказывался все тот же социалист. Всего меньше писал он о своем бедственном положении и всего больше — о грубом обхождении русских офицеров с солдатами, о больнице, переполненной больными и ранеными солдатами, которых и обкрадывали и морили и для которых он как фельдшер ничего не мог сделать. О своих материальных нуждах он почти ничего не писал, и Добролюбов должен был узнавать об этом от его брата — студента Медицинской академии, с которым Паржницкий был более откровенен в этом отношении. Ему высылали небольшие суммы денег, но никогда не просил он от нас этой помощи. Даже в самые трудные минуты своего фельдшерства он не делал и намека о том, что нуждается в деньгах.

Во время коронования императора в 1856 году Енохин сдержал свое слово: фельдшера были прощены и назначены были студентами в Казанский и Харьковский университеты. Финляндские фельдшера перед отъездом в Казань воротились в Петербург — увидеться с товарищами. Я помню эту тесную комнатку на Выборгской стороне, куда мы стеклись, чтоб обнять своего товарища. Он был еще в солдатском костюме, с загорелым и несколько загрубелым лицом, но выражение его лица было полно жизни. Казалось, испытание сформировало его окончательно, поставило его на прямую дорогу. Я не желал бы, чтоб в этих словах было прочтено какое-нибудь сентиментальное, лживое чувство к товарищу, чувство, явившееся вследствие того, что между встречей и воспоминателем лежит несколько лет. Мы искренно радовались его возвращению и так же искренно, по-братски, обнимали и целовали его. Не знаю, сохранилось ли в нем это теплое чувство к прежним нашим отношениям, но мы часто вспоминали о нем. Обстоятельства жизни разрознили нас, разорвали эту товарищескую связь, поселили в Паржницком недоверие к нам, но, вспоминая его, ни во мне, ни в покойном Добролюбове никогда не являлось сомнение в его прямой и честной натуре.

Паржницкий уехал в Казань. Его первые письма оттуда были наполнены горькими сетованиями на казанских студентов. Это требует объяснения. Бывши в Ка-

занской гимназии гимназистом, я очень хорошо знал тогдашнее нравственное состояние студентов Казанского университета. Прокутить несколько дней и ночей сряду, наделать при этом скандалов, чтоб целый город говорил и ужасался, разнести, например, б....., выбить в каком-нибудь доме стекла — считалось особенным молодечеством. Герои прославлялись в студенческих песнях, и их подвиги сохранялись в преданиях для назидания будущих поколений студентов. Кто, например, из прежних студентов не помнит так называемой Варфоломеевской свадьбы? ⟨. . .⟩ [8]

Наука мало занимала казанских студентов, вопросы общественные — еще меньше. Я, разумеется, говорю о массе, о большинстве, которое дает характер целой корпорации. Я не знаю, нужно ли прибавлять, что в этой массе было всегда несколько личностей, считавших науку святою и посвящавших ей все свое время. Мое искреннее уважение навсегда останется к некоторым из вышедших в те времена из Казанского университета, но я узнал их далеко после, бывши учителем в Вятской гимназии. В этом состоянии казанских студентов, разумеется, виноваты профессора, державшиеся относительно их начальниками и третировавшие их, как мальчишек. Но чрез несколько месяцев Паржницкий писал о казанских студентах уже другое — он говорил, что и между ними есть люди, что и из казанских студентов можно кое-что сделать. Действительно, вскоре казанские студенты выгнали из университета ненавидимого ими инспектора Ланге, обругали Молоствова, попечителя, заставили утвердить инспектором выбранного ими адъюнкта Янишевского. События в Казанском университете следовали быстро друг за другом. Студенты потребовали от профессоров изложения науки в современном ее состоянии, повыгоняли старых лентяев и проч. И теперь еще идет эта борьба нового поколения со старым порядком.

Паржницкий во всех этих делах вел себя очень осторожно, но начальству нетрудно было пронюхать, откуда пошли все эти беспорядки. Не имея явных улик, Веселаго, бывший помощником попечителя Грубера, пользуясь одной статьей наших законов, исключил Паржницкого из университета без объяснения причины. Паржницкий приехал в Петербург, пытался было поступить в свою старую знакомую Медицинскую академию, но,

разумеется, его попытка была напрасна. Он остался решительно без всяких средств продолжать свое образование, а между тем желание было сильно. В 1859 году я был у него вместе с Добролюбовым. Это было то время, когда между им и партией добролюбовской пробежала черная кошка. Мы зашли к нему, чтоб почтить этим посещением наши прежние отношения; свидание было холодно, натянуто. Он занимался в то время усердно переводом фармакологии *. Мы расстались и с тех пор не виделись; ни Добролюбов, ни другие товарищи не знали, что с ним сделалось. Летом 1861 года, бывши в Оренбургской губернии, я встретил там уездного врача, бывшего студента Медицинской академии, поляка; он с год как кончил курс. Разговорившись о прошлом, мы дошли до Паржницкого, и я от него узнал, что Паржницкий продал свой перевод фармакологии одному из профессоров Медицинской академии и на вырученные деньги уехал за границу и поступил в Берлинский университет.

Как важен в деле нравственного пробуждения первый толчок, это видно на казанских студентах. Из нескольких слов, сказанных мною выше, читатель может составить себе тип казанского студента прежнего времени: это тип широкого русского разгула, беззаботного и не ставящего себе границ. Я имел случай познакомиться с духом нынешних казанских студентов. Те же юные силы видим в них, но направлены они уже в другую сторону. Устройство студенческой кассы для бедных студентов, общих библиотек, товарищеского суда и проч. указывает, что новая жизнь уже началась и принимает определенные формы. Сочувствие их к общественным интересам высказывается иногда и на деле. При первых известиях о жестокости гр. Апраксина с крепостными людьми в Бездне [10] трое студентов в тот же день тайком отправились на место побоища, чтоб собрать на месте верные сведения. Апраксин успел схватить их и выслать в Казань по этапу.

Оканчивая очерк личности Паржницкого, я позволю себе привести здесь копию с сохранившегося его письма к нам в то время, когда он ехал в Тавастгус. Из этого письма хорошо выглядывает его деятельная натура. Вот оно.

---

* Его перевод: «Целлюлярная патология» Фирхова, изд. Медицинским департаментом [9].

«Прощайте, любезные математика и филология! Может быть, долго не увидимся. Как досадно, что после бурного вечера * не удалось мне видеть вас, а поговорить нам нужно было много. Да и в какое время должны мы были расстаться — когда надежды мои и, разумеется, ваши почти исполнились! Я желал с вами добра и истины, и если мы не успели еще доселе ничего сделать, то все-таки вина не паша, а наши плохие обстоятельства, которыми владеть мы не привыкли, не умеем встать выше их,— самопожертвование приходит не вдруг в душу, и достигают до него только постепенно. Впрочем, *наше* впереди, лишь бы только не увлечься нам общею болезнью нашего века — стремлением к комфорту. Извините меня за этот намек, но *больной наш* ** служит нам уроком. Говоря о нашем последнем свидании, я не могу удержаться, не сказавши о разногласии с NN. Мне кажется, что его надо приписать горячности, и потому от души прощаю и мирюсь; желаю, чтоб и впредь подобного не было. Мы должны устранять, а не вызывать несогласия. Отнекиваться непониманием цели, о которой думать мог и должен был целый год,— значит признаться перед всеми или в неспособности понимать ее, или в привычке действовать по подражанию, как обезьяна в басне Крылова. Но ведь он не таков, он сделал это по горячности, а предполагать, будто он не знал цели, я считаю нелепым и глупым. Повторяю, что мирюсь с ним, и вас прошу забыть это и не допускать больше подобных сцен. Впрочем, моя просьба кажется лишняя: вы давно ему простили и, как я слышал, вините меня, чему я не верю, очень хорошо зная, что логика отца Солярского на ваш ум, как и на мой, не имела действия — куда как убедительна она!

Моя поездка в Гельсингфорс очень по душе мне: она согласна с моей страстью волочиться по белу свету. Жалею только, что не удалось стереть главу змия; дева Мария была счастливее меня, и отчего? Не понимаю. Разгадайте-ка вы эту тайну!

---

* Прощальный вечер.

** Студент Тарановский, вскоре умерший чахоткой. При последних часах жизни он два раза прогонял попа, желавшего его причастить. В третий раз, когда он от слабости не мог двигаться и говорить, попу удалось снять с него глухую исповедь и причастить. Слова Паржницкого о нем относятся к его страстишке франтить, на что он терял много времени.

Обратите внимание и постарайтесь сблизиться с Л. 2-го курса;[11] через вас я нарочно шлю к нему записку. Есть еще у меня личностей восемь на примете, да за тех примусь я по моем возвращении из Патмоса, где не был ни один из апостолов. Поцелуйте от меня Я. [12], я напишу ему с дороги. За неграмотность и нечеткость простите — и то тайком пишу. Прощайте и примите дружеское пожатие руки вашего Игнатия.

В моем заключении * встретил я целую стаю людей, иль, лучше сказать, *чинов*, различных совестей, но я не стану делить их на три лика, как отец Антоний делит ангелов, а на множество весьма грязных оттенков, о которых напишу, когда будет свободно. Сидоров, прощай и помирись с N; прощай же, сердитый друг и мой и человечества».

Упоминаемый в этом письме N есть Д. Щеглов. Человек этот по своей опытности в жизни, по большому развитию ума, по смелости взгляда мог бы встать во главе нашего небольшого кружка. Я уже сказал вскользь о влиянии его на развитие Добролюбова. Но его неспособность отделить *общее* дело от своей личности, неспособность поставить его выше своих личных интересов и его беспрестанные цинические выходки против лучших наших товарищей оттолкнули от него всех нас. На прощальном вечере он жаловался на бесцельность подачи жалобы императору, стоившую стольких жертв (в числе депутатов был и его брат), и позволил себе некоторых упрекнуть, что, разумеется, вызвало жаркие нападения на него. Об этой размолвке и упоминает Паржницкий в своем письме. Кажется, с этого вечера Добролюбов окончательно разошелся с Д. Щегловым.

Сделавши характеристики двух своих товарищей, я удерживаюсь от остальных. Их достаточно, чтоб понять, из каких элементов складывался наш кружок и что было мотивом его жизни. Перехожу теперь собственно к Добролюбову в институте; но, не бывши с ним в первые годы студенчества в столь близких отношениях, чтоб проследить его развитие, я, к сожалению, должен ограничиться одною фактическою стороною его жизни. Я должен воротиться назад.

Вскоре после вечеринки на Васильевском острову Давыдов сделал обыск Добролюбову и Щеглову. У Доб-

* Должно быть, в ордонансгаузе.

ролюбова были найдены несколько печатных и переписанных сочинений Герцена и черновая стихотворения на юбилей Гречу *. Последняя была с поправками и помарками, доказывавшими, что он был автором неожиданного поздравления Гречу. Давыдов объяснил Добролюбову, что он, как верный слуга государя и сын отечества, обязан донести о всем найденном III Отделению. Шутка была плоха. Николай еще был жив, и такое выражение верноподданничества Давыдова могло стоить жизни Добролюбову. Он упрашивал его не губить его, а вместе с ним и осиротевшую семью его, обещал не заниматься более опасными политическими делами. Но Давыдов был неумолим и стоял на своем. Наконец Добролюбов убедил его следующим силлогизмом: «Я погибший человек, сто́ящий за свое преступление лютой казни, но на моих руках семья; за что ж она будет гибнуть? За мое преступление по русским законам следует ссылка в Сибирь. Ваше превосходительство имеете возможность наказать меня ссылкой и в то же время не погубить моей семьи. Я подам прошение об определении меня в уездные учителя, и вы можете послать меня учителем в какой-нибудь далекий уездный город в Сибири, я буду наказан, но моя семья не будет лишена последнего куска хлеба». Давыдов убедился, и прошение было подано. Но Давыдов, заботившийся о прославлении падавшего института чрез его питомцев, не мог не ценить Добролюбова; он довольствовался тем, что, помучивши его несколько дней страхом и томлением за будущность своей семьи, принял прошение, но не пустил его в ход, надеясь им держать преступника постоянно в своих руках. Он ошибся. Впоследствии его угрозы, что он пустит прошение в ход, не имели никакой силы. Время прошло, а с ним и страх; да притом на престоле Николая уже не было.

18 февраля 1855 года — день, замечательный для России,— в этот день она освободилась от тяжелой руки деспота, давившего ее в продолжение тридцати лет. В этот год мы, студенты, уже получали и газеты и журналы. Два-три запоздавшие бюллетеня, извещавшие о болезни Николая, наполнили наши сердца нетерпеливым ожиданием. Мы переговаривались друг с другом, припоминали 14 декабря 1825 года и, разумеется, мечтали,

* У Щеглова, всегда осторожного, ничего не было найдено.

как дети. Впрочем, о смерти императора не было еще известно нам, а мы не могли выйти из института, чтоб узнать, не делается что-либо вне его стен. Вдруг один из студентов вбегает в камеру с криком: «Ванька плачет!» (Ванькой мы звали Давыдова.) Мы высыпали за двери нашей камеры, чтоб полюбоваться этим зрелищем: Давыдов ходил большими шагами в профессорской комнате, тихо разговаривая с инспектором, и утирал беспрестанно глаза платком. По временам он вскрикивал: «Бедное наше отечество!» Не знаю, были ли в этом случае слезы Давыдова искренни, но впоследствии мы убедились в его способности лить слезы, когда он считал это нужным. Например, говоря прощальную речь студентам на акте 1856 года, он, кончая ее словами Лермонтова: «И верится, и плачется, и так легко, легко!» — действительно зарыдал. Разумеется, в студентах этот плач пробудил отвращение, и мы с громкими смехами, несмотря на присутствующую публику, стали выбегать из актовой залы.

Но Ванька плачет, значит Николай умер! После институтского обеда я вышел на Дворцовую площадь. На ней в разных местах стояли до десятка групп очень хорошо одетых мужчин и франтих дам. Молчание царствовало на площади, только из одной группы по временам вырывался добродушный смех, я посмотрел на нее — там виднелись треугольные шляпы студентов. Я пошел дальше и с любопытством осматривал другие группы. Везде шел тихий разговор, но никакой печали, никаких слез не было заметно на лицах. К дворцу подъезжала карета за каретой. Я подошел к подъезду. В больших окнах Зимнего дворца виднелись дворцовые лакеи в красных ливреях; все они беспрестанно подносили белые платки к своим глазам. Я улыбнулся — мне вспомнился Давыдов. Удовлетворивши любопытство, с Дворцовой площади я отправился шляться по городу. Везде была та же кипучая жизнь, так же нагло посматривая, разъезжали на рысаках по Невскому камелии, та же суета, то же движение. Казалось, что никто и не знал о смерти Николая, а между тем предполагать это для Петербурга было бы странно. Не знаю, почему мне припомнились слова Карамзина, которыми он начинает описание состояния умов после смерти Ивана Грозного: «День смерти тирана есть великий праздник для народа»[13], и проч., хотя я не мог заметить никакого и праздничного

чувства на встречавшихся мне лицах. Такое равнодушие — ни печали, ни радости — мне стало противно, и я воротился в институт.

Вечером Добролюбов, встретившись со мной в рекреационной комнате, сказал: «Не хочешь ли прочесть стишки?» — «Твои?» — «Мои». Я взял и стал читать; это были стихи «18-е февраля». Начинались они:

По неизменному природному закону
События идут обычной чередой.
Один тиран исчез, другой надел корону,
И тяготеет вновь тиранство над страной.

И кончались:

И будет Русь страдать при сыне бестолковом,
Как тридцать лет страдала при отце.

«Ну что?» — спросил он, когда я кончил. «Ничего, хорошо. Только зачем ты предрекаешь страдания при сыне, да еще называешь его бестолковым? Ведь, по слухам, он хоть и пьяница, а с хорошим сердцем».— «Дело тут не в человеке, а в царе. Однако ж прощай!» Мы разошлись.

Это стихотворение ходило по Петербургу[14], как и многие другие, писанные Добролюбовым. Товарищи его делали списки и разносили по своим знакомым, и таким образом распространяли их по городу. В 1860 году, бывши в Вятке, мне попалась тетрадь запрещенных стихотворений одного семинариста тамошней семинарии. Перебирая, я встретил в ней два-три стихотворения, писанные Добролюбовым во время его студенчества. Так далеко расходятся эти стихотворения!

Слухи о либерализме нового императора подтверждались. Я не говорю об удалении Клейнмихелей, Бибиковых и проч. Эти удаления мало радовали, потому что они были делом его личных отношений, но такие дела, как уничтожение ограничения числа студентов в университетах, открытие медицинского факультета в Варшаве, известная речь его московскому дворянству и проч., предвещали новое время. Кто мог не поддаться в то время надеждам из нас, русских, когда поляки, имеющие больше причин ненавидеть, всякого русского императора, встречали восторженно Александра, задавали ему пиры, охоты, а он, упоенный этими радостными кликами надежд, делал публично обещания за обещаниями и тем еще больше

укреплял эти надежды? Теперь уж время увлечения прошло и для нас и для поляков, а я помню его приезд в литовские губернии, помню взволнованные речи, полные восторга лица поляков, и каких еще! Таких, которые ненавидели с русским правительством все русское, которые после присоединения литовских провинций к России не хотели служить, ушли в свои поместья или брали в аренду чужие и там, в глуши, гордо выносили тяжелую для них бездейственность...

Вот один из оставшихся в моей памяти случаев с одним из таких поляков. Он служил прежде, когда там действовал литовский статут, адвокатом. Ученик Мицкевича, гордый, но честный лях, он бросил свою профессию, как только было введено русское судопроизводство, взял в аренду какое-то имение и, окружившись семьей, доживал в деревне свои преклонные лета. Воротившись со встречи Александра, он с восторгом описывал каждую мелочь, повторял ломаным русским языком каждое слово императора, как бы стараясь проникнуть в их действительный смысл, и, успокоенный от всякого сомнения, он кончил по-польски: «Да, во всем, в каждом шаге, в каждом взгляде и в каждом слове видна царская кровь. Как орел, глядит он, и каждый звук его речи заставляет сердце биться радостью — он сделает, непременно сделает все». Я улыбнулся в ответ на это произведение разгоряченной фантазии польского демократа и заметил, что величественность посадки, уверенность и смелость речи и действий происходит не от качества крови, от привычки, приобретенной с детства, держать себя так, а не иначе, и проч. Но тогда за эту невольную заметку на меня поднялись все присутствовавшие поляки и польки, доказывая, что правители народа (разумеется, не все, как Николай) суть орудия божией воли, удовлетворенной страданиями порабощенного народа, что на таких орудиях отпечатывается дух божий, и проч. Я, разумеется, при таком их настроении не мог продолжать спора. Так сильно очарование надежд.

Вот в это-то время общих надежд, скоро последовавших за 18-м февраля, чрез несколько недель после описанной моей встречи с Добролюбовым, он где-то, поймавши меня, вынул из кармана почтовый листок бумаги и дал мне прочесть, сказавши — «Эти тебя удовлетворят!» Я прочел: в стихах от имени русского народа неизвестный автор обращался к Александру, указывая ему на нужды русского народа. Стихи были мягки, несколько восторжен-

ны и должны были понравиться и польстить императору. «Эти лучше,— хорошо бы было дать их самому Александру»,— сказал я смеясь. «Я их сейчас отсылаю по почте на имя Адлерберга-pére *. Он, конечно, подслужится ими Александру» [15]. Стихи были действительно посланы; не знаю, подслужился ли ими Адлерберг. Я, к сожалению, не помню из них ни одного стиха; осталось только общее приятное впечатление. Впоследствии же никогда не приходилось заводить о них речь.

После смерти князя Ширинского-Шихматова Норов в продолжение нескольких лет один управлял министерством народного просвещения; по званию министра он был и главным начальником Главного педагогического института. Отношения его к институту были вполне идиллическими. Он наезжал на институт в разное время, предваряя о своем приезде институтское начальство, восхищался студенческим обедом до того, что иногда просил позволения у студентов завезти институтский пирожок своей супруге, крикливо говорил студентам о любви и преданности престолу и отечеству, в своих речах беспрестанно сбивался, нес чепуху и оканчивал их всегда: «В эфтом я уверен». На экзаменах он приезжал на богословие и греческий язык; делал по первому возражения отвечающему, часто сам не понимал своего вопроса, еще чаще путался и в заключение обращался к попу: «Как это, батюшка? Аще... аще... аще?» — «„Аще взыду на небо", ваше высокопревосходительство»,— смиренным голосом отвечал поп, почтительно приподнимаясь с своего стула. «„Аще взыду на небо,— кричал между тем Норов,— ты тамо еси", но под конец текста опять сбивался, забывал и обращался за помощью к попу. В восторге от себя и от института уезжал от нас Норов; начальство, проводивши его, значительно улыбалось, а студенты громко хохотали и копировали хромого министра просвещения. Но вот новый император назначил князя Вяземского в товарищи Норову, а Норов передал ему свое главноначальствование Педагогическим институтом. О Вяземском мы знали, что он старый литератор, что прежде он был либералом и безбожником (его «Русский бог»), знали, что впоследствии Белинский отзывался о нем, что он — князь в обществе, холоп в литературе. Сочинений Вяземского мы не читали, исключая его последнего лакейского стихотворения

* Отца (*фр.*).— *Ред.*

«6-е декабря»; напечатано в «Петербургских ведомостях» за 1854 год, и то только потому, что на акте Академии наук приверженные престолу ученые сердца академиков заставили три раза прочитать это глупенькое стихотворение. Лакейское вдохновение князя Вяземского окончило это стихотворение следующими стихами:

Отстоит царя Россия,
Отстоит Россию царь!

И вот этому-то двустишию ученые люди придавали пророческое значение, приходили от него в экстаз, заставляли чтеца повторять его и вели себя решительно неприлично для своего ученого сана. Вяземский вскоре приехал в институт, разумеется отправившись сначала к Давыдову; походил потом в сопровождении Давыдова по институту, помычал (Вяземский редко говорил, он всегда *мычал*; он медленно и тихо выпускал слова сквозь зубы, но так, что понять его мычания трудно было и человеку, к которому он обращался), помычал, да и уехал. Он представлял некоторую противоположность с Норовым. Один говорил так, что кричал; другой едва слышно, да и то при достаточном напряжении уха. Но как бы то ни было, а Вяземский показался нам человеком далеко более положительным, чем юно-старый Норов; первое, да и последующие впечатления были в пользу его.

Тяготившись нравственным и материальным состоянием института, мы давно хотели прибегнуть к какой-нибудь решительной мере для улучшения своего положения. Бедное, полунищенское содержание, нравственный гнет Давыдова, чрезмерное наложение пассивной учебной работы, часто пустой и бесполезной, но поглощавшей все время от 6 часов утра и до 10 вечера,— все это было сверх человеческих сил. Некоторые из наших товарищей в продолжении еще первого года умирали чахоткой, другие выходили добровольно в уездные учителя. А по наружности это заведение считалось великолепным. И в самом деле, везде чистота, опрятность, везде паркетные полы, два швейцара на двух подъездах и шестьдесят простых служителей. Отчеты о состоянии института были наполнены восхвалениями необыкновенно прекрасному состоянию института; в одном из отчетов ученый секретарь увлекся даже до того, что выразил: «Институт при Ив. Ив. Давыдове достиг полного совершенства». И в самом деле, у нас были профессора-знаменитости, к

нам, поглядеть на нас, приезжали педагоги, иностранные послы, путешественники — чего же более? Решились действовать на Вяземского, как на человека нового, следовательно, не успевшего снюхаться с Давыдовым. Добролюбов составил описание Главного педагогического института [16] с закулисной его стороны; описание было составлено чрезвычайно умно и полно. Институт разбирался во всех его отношениях, и основанием разбора служили печатные отчеты институтского начальства; там же, где отчет не мог служить основанием, Вяземского приглашали убедиться своими глазами, и при этом требовалось только исполнение небольшого условия — приехать в такой-то час, не предваривши начальство о своем приезде. В заключение студенты обращались к Вяземскому начать дело ревизии тихо и тайно, не показывая официального вида, и, главное, не обращаться при начальстве к студентам, потому что такого студента начальство на другой же день могло заесть. Описание института было запечатано в пакет и отдано княжескому швейцару для передачи князю. Прошло месяца два-три, прежде чем Вяземский решился приехать. Неожиданный приезд его изумил Давыдова и все институтское начальство. Вяземский приехал незадолго до обеда и пробыл обед; к пробному обеденному столику он не подходил, но нерешительно бродил между студенческими столами, делал «стойки» над мисками супу, но попробовать супу не решился. На заискивающее ухаживание Давыдова он посматривал недоверчиво, отмычивался — и только. После его отъезда Давыдов, видимо, бесился — все начальство ходило с пасмурными лицами, а мы радовались и были довольны, что наконец-то Вяземский решился действовать. Он приезжал и после этого несколько раз, и так же неожиданно, но решиться попробовать обед, выразить Давыдову какое-нибудь неудовольствие — никак не мог. Давыдов ободрился: он уже понял Вяземского и обходился с ним полушутливо. Вяземский, уставший от таких трудов, а может быть, и обиженный шутливым обхождением с ним Давыдова, прекратил свои посещения.

Прошло еще несколько времени, и в институте стали носиться слухи об официальной ревизии; само начальство говорило о ней и тайно готовилось. Мы приуныли, потому что видели, что дело пошло по той дороге, где *все обстоит благополучно*. Действительно, вскоре явился чиновник министерства — Палаузов — и начал реви-

зию; видно было, что он сам тяготился делом, в котором беспрестанно приходилось сталкиваться с Давыдовым, и старался скорее его свернуть. Что он сделал — нам ничего не было известно, мы только узнали, что «Описание института» не было в его руках. Впрочем, что ж мог сделать незаметный чиновник министерства, когда товарищ министра затруднялся повести дело прямо и честно, когда он сам пред одним из моих товарищей, студентом А⟨лександровичем⟩ [17] признавался, что с Давыдовым ничего нельзя сделать. Студент А⟨лександрович⟩ хлопотал о переводе своем в Петербургский университет, был у Вяземского и нарочно завел речь о Давыдове. «Что я могу сделать с ним, когда он сильнее меня? — отвечал князь и посоветовал самим студентам вести это дело.— Пусть явится к Давыдову сегодня один студент и скажет ему, что нас обворовывают; завтра другой, послезавтра третий и т. д. Кончится тем, что Давыдов струсит и сделает по-вашему». Студент А⟨лександрович⟩ рассмеялся и отвечал: «Давыдов имеет возможность прекратить такие неприятные для себя явления студентов — он первого, а может быть, и больше одного, сошлет куда-нибудь приходским учителем, а министерство не откажет ему утвердить такую ссылку».— «Ну, этого я не знаю»,— промычал смущенный товарищ министра. Тем и кончилось это дело. Начальство торжествовало; Давыдов с особенным самодовольством посматривал на студентов. Есть причины думать, что он читал «Описание института»,— кто-нибудь из его министерских друзей доставил это описание ему.

Вскоре наступили экзамены. Это было в мае 1856 года. Выходил из института курс, который был перед нами. Студенты этого курса отличались вообще духом кротким. В отношении Давыдова они держали себя с достодолжным почтением; нашим маленьким демонстрациям против Давыдова не сочувствовали, а подчас даже явно выказывали себя против нас. Надежды на Давыдова у них были громадны... Но экзамены кончились, и Давыдов не оправдал надежд многих из кончивших курс. Тогда-то один из недовольных послал в министерство ругательное письмо на Давыдова и на институт; я не читал этого письма, но слышал, что оно полно было площадных ругательств, которые могли быть извиняемы только особенностью состояния писавшего. Но едва только разнеслась в институте молва, что в *министерстве получено какое-то описание Педагогического института*, как в городе заговорили,

что студенты Педагогического института высекли розгами своего директора. До настоящей минуты едва ли кто, даже из студентов Педагогического института, знал об авторе этого пасквиля на Давыдова. Я свято хранил тайну моего лучшего товарища, мучившегося этой клеветой, сделанной им вследствие минутного увлечения, под влиянием особенных обстоятельств. Смерть его пусть развяжет языки всем; пусть скажут про него все дурное, скрываемое боязнью повредить ему в жизни. Я твердо уверен, что один только упрек, именно тот, о котором я говорю, может еще быть ничтожным пятном на светлом воспоминании о нем, да и это пятно будет пятном только в глазах людей щепетильно честных, таких, которые не способны ни увлекаться, ни падать, ни вставать. Я смело объявляю о нем.

В последних числах июня 1856 года Добролюбов и я возвращались в институт от общего знакомого нашего Малоземова, разговаривая об институте и Давыдове.

«Я сделал подлость,— начал по какому-то поводу Добролюбов,— которой никогда не прощу себе. Видишь ли, когда разнеслись слухи, что в министерстве получено описание Педагогического института, мне почему-то показалось, что Вяземский официальным образом представил *наше* описание в министерство. Ты видел, как действовал в институте Вяземский; министерство стало бы действовать еще слабее. Мне пришла мысль — заставить их действовать решительно. Как только пришло это в голову, я написал несколько записок такого содержания:[18] «В ночь с 24-го на 25-е июня сего года студенты Главного педагогического института высекли розгами своего директора Ивана Давыдова за подлость, казнокрадство и другие наглые поступки», прибавив к этому еще незначащую фразу,— и разослал эти записки по редакциям».

«Что ж тут подлого? Ведь с Давыдовым никто ничего не может сделать,— Вяземский отказался, и, по моему мнению, в таких обстоятельствах иезуитское правило — цель оправдывает средства — вполне нравственно. Ведь для таких людей, как Давыдов, остаются только подлые средства».

Но Добролюбов не успокоился на этом. Он доказывал, что, как бы подл ни был человек, честному человеку все-таки не следует действовать подлыми средствами, что он, Добролюбов, поступил бы честно в отношении самого себя, если бы прямо, публично дал оплеуху Да-

выдову, что всегда помешает повести дело прямо и честно это подленькое чувство боязни за себя, за свою семью, что, наконец, мы, смеющиеся над пугливыми восклицаниями инспектора (инспектор имел привычку по всякому ничтожному поводу, например заставши студентов с папиросой, кричать: «Пощадите, господа, меня, ведь у меня жена, дети!» — и при этом уморительно разводил руками), нисколько не лучше его. Со всем этим, разумеется, нельзя было не согласиться, но я настаивал на том, что из-за такого дела, как побиение Давыдова, действительно, не стоит губить себя, что наша жизнь еще впереди, что (кто знает?), может быть, мы способны принести в жизни бо́льшую пользу, чем отколотить Давыдова. Он казался несколько успокоившимся, и мы расстались, дав обещание никому, даже из своих товарищей, не говорить об авторе пасквиля. Приведенный мною разговор я помню почти слово в слово и за истинность его могу вполне ручаться.

А в институте между тем происходили драматические сцены по поводу этого пасквиля. А. А. Краевский, получив записку о сечении Давыдова, немедленно отправился к Норову и отдал ее министру. Норов послал курьера к Давыдову с приглашением немедленно явиться. Неизвестно, какого рода разговор вел министр народного просвещения с Давыдовым, но Давыдов, воротившись в институт, собрал у себя на квартире окончивших курс (нас почему-то он не пригласил — потому ли, что его подозрения не падали на нас, или потому, что не надеялся найти в нас достаточного сочувствия к себе,— бог его ведает!), сказал им трогательную речь о том, как иногда на людей заслуженных, осыпанных царскими милостями, падает дерзкая клевета, потом вынул пасквиль, сам прочел его и залился слезами. Я уверен, что слезы Давыдова тут были искренни,— не могло быть сильнее удара для его честолюбия, как такого содержания пасквиль. С трудом удерживая катящиеся слезы, Давыдов просил студентов письменно опровергнуть эту клевету. Студенты удовлетворили его желание. С этим письменным актом Давыдов полетел к министру, который, вероятно, также удовольствовался таким официальным заявлением сочувствия студентов Давыдову. Впрочем, носились слухи, что Давыдов уверил Норова, что и все студенты пылают негодованием против дерзкого оскорбителя и что даже, в знак особенной привязанности их к нему, умоляли его, Давыдова, отлитографировать свой портрет. Так ли это было —

знает Норов, а я знаю только, что дней через пять-шесть действительно явились давыдовские портреты: их разносили по камерам надзиратели, делая тонкие намеки студентам поспешить приобресть их; студенты же находили, что портреты действительно схожи с оригиналом, но покупать не покупали. Так это дело и замолкло бы, но месяцев через пять-шесть всех в институте пробудило следующее объявление, напечатанное в прибавлении к «Московским ведомостям»:[19] «Московский 3-й гильдии купец Иван Давыдов-Сеченый сим объявляет, кому ведать надлежит, что он с большою выгодою принимает казенные подряды и поставки; жительство имеют в С.-Петербурге, на Васильевском острову, близ 1-го Кадетского корпуса, в доме Федора Ильина» (Федор Ильин был экономом в институте). Это объявление, напоминавшее шуточно о первом пасквиле, доставило много забавы не только студентам, но и профессорам.

В нумерах «Колокола» за 1858 год была напечатана статья «Партизан Иван Иванович Давыдов» с эпиграфом из Дениса Давыдова:

Шапка зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

Статья эта принадлежит Добролюбову. В ней описываются институтские подвиги Давыдова. Между прочим, там сказано, что Давыдов своими поступками довел студентов до пасквилей, и затем рассказывается об обоих пасквилях. Во многих местах тон статьи из насмешливого переходит в оправдательный: смеясь над Давыдовым, автор как бы оправдывает студентов, и эти оправдания делаются особенно слышными, когда он доходит до пасквилей. Читатель поймет, какое чувство побудило Добролюбова напечатать эту статью.

К 1856 году принадлежит Добролюбову одно юмористическое стихотворение «26-го августа», написанное им на иллюминацию, бывшую в этот день. Вот начало его:[20]

Царь Николай просил у бога
Суда на сына своего.
Распространялся очень много
О непокорности его
Отцовским мудрым повеленьям.

Я не буду выписывать всего стихотворения, оно слишком известно. К этим годам — с 1855—1857 года — должно отнести множество других его стихотворений, которые,

вероятно, еще долго не могут появиться в печати[21]. Из них я помню: «На перемену формы», «Газетная Россия», «К портрету Давыдова». С 1855 года Добролюбов стал издавать в институте газету «Слухи»; содержание ее было почти исключительно политическое. Ее вышло не более двадцати нумеров — почти все статьи в ней принадлежали Добролюбову, только две статьи — покойному Н. П. Турчанинову. Прекратилась она от недостатка деятельного сочувствия к ней.

Учебный 1856—1857 год был богат стычками студентов нашего курса с Давыдовым. Стычки эти были большею частью частными, но иногда велись от имени целого четвертого курса. Страх, внушаемый Давыдовым, рассеялся, как скоро авторитет его подорвался, а его авторитет действительно был подорван и в министерстве и в публике (рецензией на акт Главного педагогического института[22], помещенной в «Современнике» за 1856 год). Напрасно старался Давыдов удержать прежний институтский порядок угрозами — угрозы не помогали; он бросился на правила официального устава, которые он прежде считал за ничто и изменял по своему произволу, требуя от студентов точного, буквального выполнения их,— студенты молча выслушивали его длинные речи и тотчас же после речи официально требовали от него самого выполнения тех правил устава, которых выполнять он имел причины не желать; Давыдов стал *просить* студентов, предлагал сделки, но это возбуждало еще большее озлобление.

Припоминая это время, я удивляюсь, как Давыдов сумел уберечь себя от существенных личных оскорблений. Те личные оскорбления, которые считаются несущественными, выражались в каждой школьной выходке. Идет ли Давыдов своим тяжелым шагом по коридору, а сзади его раздается крик, копирующий его манеру говорить: «Э, наш отец-подлец идет!» — и Давыдов учащает свои шаги. Идет ли он ночью по спальням, с своим скрытным фонариком, в сопровождении эконома, старшего надзирателя и вахтера,— с постелей студенческих раздаются крики: «Караул, воры!» Нужно было видеть Давыдова в это время — он похудел, осунулся, потерял самоуверенную посадку, исчезла и его величественная походка. Он редко стал появляться в аудиториях и студенческих комнатах. Студенты жили почти свободно, даже и те из них, в которых прежнее воспи-

тание и гнет институтской жизни, казалось, задавили последнюю искру человеческой свободы, подняли голову, оживились. Стремления к научным интересам нисколько не ослабели от таких *беспорядков*, как выражалось институтское начальство; напротив, занятия студентов носили уже характер некоторой самостоятельности, о чем могут свидетельствовать и печатные отзывы профессоров о студенческих сочинениях за 1857 год (см. «Акт X выпуска студентов Главного педагогического института». СПб., 1857). Лекции профессоров, правда, уже потеряли для студентов то исключительное значение, которое они имели для них в прежние годы; некоторые профессора возбуждали не только насмешки, но даже и негодование. Добролюбов в это время носился с Гейне, которого он переводил на русский язык; многие из своих переводов он читал нам, приводя нас в искренний восторг. Каждый из нас уж смотрел на него как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советом по всякому делу — в то время все студенты действительно любили эту могучую и талантливую натуру, а наш кружок просто-напросто гордился им. Не раз ставили его в параллель профессорам, и это сопоставление наполняло гордостью наши молодые сердца. В это время начиналась уже его литературная известность — в «Современнике» были напечатаны его «Акт Главного педагогического института» и «Собеседник любителей российского слова», по которому завязалась небольшая полемика с Галаховым, составителем хрестоматии; он был вхож в литературный кружок Некрасова, Тургенева и Чернышевского *, а перед этим кружком мы благоговели. С жадным любопытством расспрашивали мы его об этих личностях, так занимавших нас и так возбуждавших к себе наши симпатии.

* Я боюсь, почтеннейший Николай Гаврилович, чтоб, увидавши свою фамилию, Вы не приняли помещение ее за нехорошее действие с моей стороны. Вас мы знали давно из восторженных рассказов о Вас Н. П. Турчанинова и из «Очерков гоголевского периода литературы». Эта заметка только для Вас, Николай Гаврилович; она сделана по поводу той части Вашего письма к Зарину («Современник», февраль 1862 г.) [23], где Вы не признаете за собой литературного влияния в эти годы. На Добролюбова, может быть, прямого влияния Вы не имели, да на него такого влияния едва ли кто производил; он развивался вполне самобытно, но косвенное влияние, так сказать, *пробуждающее*, имели многие, как Белинский, Герцен, Некрасов, Тургенев и Вы.

Прошлое время, а как хорошо оно было и как скоро прошло! Действительно, весь этот год, проведенный в институте, прошел незаметно; только близость мая, неожиданно подкатившегося, напомнила нам, что мы еще в институте и что экзамены, и экзамены страшные, на носу.

Экзамены были для нас страшны не потому, чтоб они сами по себе страшили нас, а потому, что исход их был в руках Давыдова, которого мы имели причины считать ожесточившимся против нас. Разъяренный Давыдов при полном преклонении пред ним большей части профессоров мог повредить нам сильно. Я уже сказал в начале своих воспоминаний, что почти все мы были без состояния, без связей и без протекции; к этому нужно еще прибавить, что на многих из нас покоились лучшие надежды близких нам, родных наших; это не были, конечно, надежды честолюбия, но от нас ожидали себе помощи семьи, из которых мы сами вышли, пользы, попросту сказать, денежной, вещественной. Отношения Добролюбова к семье отчасти уже известны; в подобных отношениях, хотя и менее тяжелых (исключая, впрочем, одного Турчанинова), было большинство из нас. Положение невеселое, но дорога была одна — это не уступать ни шагу. Мириться с Давыдовым было невозможно, да и одна мысль о примирении поднимала такое гадкое чувство, что тотчас же и замирала. Итак, мы решились, не щадя живота, работать, сколь сил хватит. И действительно, работали и день и ночь в продолжении двух-трех месяцев *. Мы должны были сдавать экзамены за все четыре года. Но вот и они настали — начальство разослало печатные приглашения любителям просвещения с расписанием экзаменов и фамилиями студентов. Шли экзамены вообще хорошо; случаев проваления было очень немного, каких-нибудь два-три. Давыдов вел себя на экзаменах как истинный джентльмен, то есть предоставлял аттестацию баллами экзаменатору и ассистенту, а сам на это время уходил в отдаленный угол (глядите-де, вот я и не суюсь!).

Экзамены кончились. Все мы ходили веселые, с радостными лицами — почти все по экзаменным баллам должны были выйти старшими учителями гимназии (это была высшая степень, с которою выпускались студенты института). Вот и последняя конференция профессоров

---

* Добролюбов, впрочем, мало заботился об экзаменах и попрежнему сидел за Гейне или за другой посторонней работой.

настала; конца ее мы ждали более с любопытством, чем с нетерпением,— решения ее, казалось нам, уже и без того известны. Она продолжалась очень долго, но когда кончилась, мы с изумлением узнали, что двенадцать человек выпущены младшими учителями, а из них десять по правилам институтского устава должны были быть старшими учителями. Дело открылось просто. Давыдов не мешал экзаменам: он дорожил ученой славой института, а потому уменьшать экзаменационные баллы не было в его интересе. Но оставить нас без отместки он также не хотел. Заготовив заранее баллы *поведения*, он настаивал на конференции, чтоб звание старшего учителя присваивалось тому из окончивших курс, кто, кроме удовлетворительных баллов из наук, имеет в поведении пять. Профессора большинством голосов понизили эту цифру до четырех, но и за этим пониженным баллом осталось еще десять человек — жертв давыдовской мести *.

Негодование было страшно, многие не помнили себя от досады и злобы на Давыдова. Планы менялись быстро — то хотели идти к Давыдову на квартиру целым курсом и бить его; то целым курсом жаловаться министру на несправедливость, то... но всего не перечтешь. Десять человек готовы были на всякую меру, но не все остальные; благоразумие уже руководило ими. Конечно, при тогдашнем образе мыслей нашего министерства попытка подачи жалобы всем курсом была опасна, тем более что она задела бы и всех наших профессоров как участников такой несправедливости, а гонор ученых, как известно, самый большой из всех гоноров; правда, что, допустивши явную несправедливость, они, вероятно, для опровержения ее решились бы смотреть сквозь пальцы на некоторые уловки Давыдова, но, из чести товарищеской, ради той дружбы, которая связывала нас, нам не должны бы приходить и в голову подобные благоразумные соображения. Боль-

* Замечу здесь о Добролюбове. Аттестован он в аттестате поведением *добропорядочным*, но выпущен *старшим учителем*. На конференции некоторые профессора требовали ему золотой медали, и требовали горячо (как, например, Срезневский)[24]. Давыдов, конечно, не мог и заикнуться, чтоб назначили Добролюбова младшим учителем; он отбивал только его от золотой медали и отбил с трудом, предложивши ему серебряную, на что и согласилось большинство профессоров. Но Срезневский сказал решительно — или золотую, или никакую, и настоял на своем. Добролюбову не дали никакой.

шинство решительно было против этого, а меньшинство хоть и соглашалось, но прямо говорило, что из этого ничего не выйдет, кроме обвинения в заговоре, в бунте. Нет, решительно всеми нами овладела практическая мудрость! Неприятное воспоминание и горькое, потому что такая практичность одних породила в других много гадких упреков, недоверия друг к другу, подозрительность и проч. И все это кончилось, как и следовало, полным разрывом.

В это-то время общей разладицы случайно в одной из комнат химической лаборатории сошлись мы трое — Добролюбов, Бордюгов и я. Я не помню хорошо, о чем шел разговор; помню только, что мы подсмеивались над озлоблением некоторых, не получивших, сверх чаяния, медалей, на которые они, как оказалось, сильно рассчитывали; из этих некоторых были и такие, которые выдавали себя прежде за людей свободно мыслящих. Потом разговор зашел об отношениях Давыдова к Добролюбову.

«А что,— сказал Добролюбов,— не сходить ли мне к Ваньке — поблагодарить его за расположение? Ведь это будет в последний раз, больше посмеяться в лицо над ним не удастся».

Мы подхватили и убедили его сходить. Чрез пять минут он воротился и рассказал всю эту натянуто-смешную сцену. Давыдов вышел, встал к окну вполуоборот к Добролюбову; Добролюбов был на другом конце залы. Выслушав, не поворачивая лица, слова Добролюбова: «Позвольте поблагодарить Ваше превосходительство за расположение, которым я пользовался от Вас во все четыре года, а в особенности в последний год и на последней конференции», Давыдов с минуту простоял молча, потом вдруг повернулся, раскланялся и вышел в дверь своего кабинета. Вот и все, что рассказал нам Добролюбов, а лгать не было в его натуре, да при этом не было и времени для сочинения. Мы посмеялись и скоро забыли об этой школьной шутке. Я с целью подробно описал эту невинную выходку против Давыдова, потому что она имела странные последствия.

Десять человек решились от себя подать министру жалобу на неправильность решения конференции; несколько проектов жалоб были составлены, но не было ни одного, который бы нравился всем: они исправляли, дополняли, сокращали, но все не клеилось. В эту минуту, когда они от внутреннего волнения не могли порядочно, в умеренном тоне, составить жалобы, вошел в их камеру

Добролюбов. Узнавши, в чем дело, он в две минуты составил проект жалобы, удовлетворявший желаниям всех. Жалоба была подана министру, кажется, в тот же день. Вскоре назначено было следствие, и следователем назначен вице-директор департамента Кисловский. Профессора были собираемы несколько раз, но рассуждения их хранились ими в строгой тайне от студентов.

Назначение следствия взбесило Давыдова, но его бешенство не имело границ, когда он узнал, что жалоба составлена была Добролюбовым. Ругая Добролюбова перед своими confidents *, называя его неблагодарным ** и всеми прозвищами, он кончил тем, что вот он каков: «В тот же день он валялся у меня в ногах, прося у меня прощения, а чрез час пишет на меня жалобу!» Мы видели, как Добролюбов валялся в ногах у Давыдова, да кто знал Добролюбова, знает, как возможно было для него валянье в ногах у кого бы то ни было.

Однако ж давыдовские confidents не усомнились и с разными ужимками передали эту фразу студентам. Для верных слуг Давыдова, не терпевших и боявшихся Добролюбова, эта фраза могла показаться правдивой, но что удивительно, так это, что часть студентов поверила ей. Ненормальное состояние духа, общее раздражение — единственно, что может служить объяснением такого грустного факта. В числе поверивших находились и эти десять человек. Раздраженные, они приступили с допросом к Добролюбову, с вопросами неделикатными, обидными своей подозрительностью. Добролюбов оскорбился и вместо прямого опровержения клеветы отвечал насмешками, что еще более их раздражило. Подозрения обратились в уверенность и произвели ожесточение,— ни я, ни Бордюгов, бывшие отчасти причиною невинной шутки, не могли убедить своих товарищей — нас не хотели слушать. Казалось, все чувство уважения, которое питалось к Добролюбову, вся товарищеская любовь, которую прежде каждый старался выказать к нему, все это обратилось в ненависть к нему. Шестеро студентов за несколько дней перед тем сняли фотографические портреты группою на память

---

* Наперсниками (*фр.*).— *Ред.*

** Начальство институтское, как говорил мне недавно Тихомандритский, хлопотало о снятии долгов с дома Добролюбовых в Нижнем, после смерти отца Добролюбова, но об этих хлопотах мне никогда не приходилось слышать от самого Добролюбова, хотя мы с ним не раз говорили о его семейных делах.

о себе; в числе снятых был и Добролюбов. Его портрет вырезывали из этой группы и рвали.

Между тем следствие продолжалось, и Давыдову приходилось плохо. Он вытащил свою скрытую артиллерию — кондуитные списки студентов. Об этих списках мы слыхали, что они существуют, но что в них записано, нам никогда об этом не говорили; ясно, что Давыдов мог во всякое время написать в них что ему угодно. Но в этот раз он не прибавил в них ничего — и без того они все были исписаны. Самое тяжкое обвинение, с которым выступил Давыдов против студентов, опираясь на свои кондуиты,— это карточная игра в те часы, когда шла обедня. О карточной игре я скажу несколько слов.

По уставу мы все должны были присутствовать за обедней и за всенощной. Эта обязанность казалась особенно тяжелою. Кроме других причин, она отрывала нас от занятий. Звонок, а потом шляющиеся надзиратели, гонявшие нас в церковь, заставляли скрываться в отдаленных уголках, куда начальническое око редко проникало. От скуки и от беспорядочного толкания из угла в угол явились карты. Понемногу мы втянулись в эту игру и впоследствии предавались ей с азартом, не скрывая от своего начальства. Как только утренний звонок в воскресенье раздавался, книги прятались, мы уходили в столовую, садились за карты. Очень часто случалось, что, начиная игру в девять часов утра, мы оканчивали ее в десять вечера, то есть тогда, когда звонок звал нас в спальни. Начальство сначала преследовало нас; потом делало легкие замечания и записывало в кондуиты, а мы слушали и смеялись, смеялись и играли. И вот карточная игра явилась обвинением против нас.

Следствие кончилось, но результата его мы не знали до самого акта. Только на акте узнали, что один из десяти получил старшего учителя и что несколько перемен сделано относительно раздачи медалей; остальное осталось по-прежнему. После чтения отчета Вяземский сказал нам речь такого содержания:

«Господа. Многие из вас в институте отличались беспокойным характером. В институте это терпелось, на это смотрели снисходительно. Теперь вы вступаете в жизнь, а в жизни это не терпится».

В одном углу раздалось: «Подлец!», в другом послышался нерешительный свист, но все замолкло в ту же минуту.

Только Давыдов подошел к Вяземскому и поклонился ему в пояс!

Чрез несколько дней мы разъехались по разным городам обширной Российской империи. Добролюбов назначен был в Тверь, но остался в Петербурге, приписавшись домашним учителем к князю Куракину.

‹Конец 1861 — начало 1862 г.›

Б. И. СЦИБОРСКИЙ

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

10 февраля 1862 г.

Глубокоуважаемый Николай Гаврилович!

Извините мне, что своею медленностью я заставил Вас писать ко мне. Мне хотелось собрать по возможности большее количество материалов, относящихся к дорогой для нас личности Николая Александровича; но моя неаккуратность в сбережении писем была причиною того, что по крайней мере из пятнадцати писем я мог отыскать два-три и несколько записочек, не заключающих в себе ничего особенного. Кроме того, в своих тетрадках институтских я нашел отрывок из его дневника, попавший туда, как припоминаю теперь, довольно случайно; именно: во время болезни Н. Ал. [1] (это относится к декабрю 1855 года), когда он находился в больнице, ключ от его ящика, а также и некоторые его бумаги находились у меня на сохранении. В часы, свободные от занятий, я навещал его, приносил ему нужное и брал от него бумаги, которых нельзя было держать в больнице. Во время посещений он передавал мне на сохранение и листки своего дневника, и в одно из таких посещений (вероятно, это было пред лекцией), получивши листки дневника, я вложил их в тетрадь, где они оставались нетронутыми до сих пор.

Отрывок, как сами видите, чрезвычайно характеристический [2]. Прочитавши его, я живо припомнил себе то время, когда вопросы о судьбе нашей родины поглощали все наши мысли и чувства, когда над нами еще не тяготело сознание своего бессилия в борьбе за честные убеждения, когда мы верили, что наше вступление на поприще

общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет все общество к пути разумному. Мы думали, что наскажем миру много-много новых истин, выработанных нами в тесном кружке институтском.

И нельзя сказать, чтобы мы не работали над этим. Правда, нас было немного — человек десять, преданных делу будущности, сознавших, что сухие лекции большей части наших почтенных профессоров и деспотические требования начальства в исполнении самых мелочных формальностей должны стать у нас далеко на втором плане и что нам нужен самостоятельный труд и прежде всего работа над самими собой — поверка прежних наших впечатлений. В числе наших товарищей, действовавших в таком духе, Н. Ал. был самым решительным, самым энергическим и чрезвычайно влиятельным деятелем. Вокруг него всегда, бывало, собирался кружок любивших и уважавших его товарищей; даже и враги его по убеждениям всегда относились к нему как к человеку, который гораздо выше их стоял по своим честным стремлениям и по уму. А врагов у него было немало, особенно в последнее время институтской жизни, когда направление его ясно обозначилось. В первое же время своего пребывания в институте Н. Ал. отличался необыкновенною уступчивостию и мягкостию в обращении со всеми, не обращая внимания на нравственные достоинства личности. Это, как он сам говорил, вытекало из его личного убеждения, что на всякого нужно прежде всего смотреть как на человека, а потом уже судить о степени его развития и о достоинстве его направления. Впоследствии он изменил это убеждение на том основании, что не всякое животное на двух ногах и с наружными чертами человека можно назвать человеком, если в нем замечается полнейшее отсутствие отличительных признаков человечности — сознания, разумности и честности. Впрочем, в характере его всегда оставалась мягкость и симпатичность. Его желание сближения со всяким многие вменяли ему даже в недостаток, приписывали индифферентизму в убеждениях; но как после оказалось — это делалось с целью пропаганды тех истин, которые уже уяснились в кружке, но против которых всегда было большинство. Такой же точно образ деятельности впоследствии принял и весь кружок, когда сознана была необходимость распространить что-нибудь, по мнению кружка, новое. Особенно когда являлись новички в наш институт, деятельность кружка принимала значительные

размеры: со всяким старались ознакомиться, выпытать, что это за человек, и при этом, обрисовавши обстановку институтской жизни с ее властями, сообщить, что и в тесных стенах института есть возможность добраться до истины — стоит только самостоятельно работать, не подчиняясь влиянию начальнических одуряющих партий. А партий в это время у нас таки довольно было: была партия директорская, отличавшаяся изящными манерами и крайнею пустотой; была партия инспекторская и смирновская[3] — богатые расчетами получить теплое местечко и какую-нибудь медаль при выпуске,— партия, изготовляющая все по заказу, но без толку, совершенно равнодушная ко всякому живому и честному делу; были люди, и не запятнавшие себя идолопоклонством, не принадлежащие ни к кому и ни к чему, но мирные труженики науки, строгие блюстители порядка, хотя и недовольные этим порядком, однако не заявлявшие вражды никому и ничему. Наконец, был кружок, ненавистный властям, клеймившим его головорезами, алчными крокодилами, либералами и другими позорными кличками. Это были отъявленные враги существовавших тогда порядков в институте, изо всех сил бившиеся из-за того, чтобы дать понять начальству всю нелепость их мелочных требований и преследований за отступление от правил институтских; развить в себе способность отзываться всей душой на всякое требование века, понимать современное движение мысли, осмыслить приобретаемые знания разумным пониманием отношений их к жизни — было главною задачею работ этого кружка. Разумеется, Н. Ал. был душою этого кружка. В большинстве случаев ему принадлежала инициатива в рассмотрении вопросов, которые действительно уясняли взгляд на вещи; большею частию он первый подавал голос для протеста против злоупотребления властей наших; он был одним из энергических деятелей в распространении разумных взглядов на жизнь и отношения нашего к окружавшим нас личностям. За то и доставалось ему от властей. Сколько неприятностей, сколько наглых выговоров и самого грубого обращения нужно было перенести, чтобы искупить самые благородные и честные поступки. Бывало, как только какая-нибудь власть заметит, что Н. Ал. или кто-нибудь другой из этого кружка разговаривает с новичком, то сейчас же со стороны власти следовало предостережение новичку, что с этими людьми опасно знаться, что их сле-

дует бегать, как чумы, если только он хочет быть на хорошем счету у начальства. Между тем замеченный в разговоре с новичком награждается косыми взглядами, отворачиванием и нелепейшим при первом самом ничтожнейшем случае выговором. «Вы Гоголя начитались, позволяете себе судить о начальстве и даже сплетничать про него,— во всем этом ваш Гоголь виноват»,— обыкновенно заключал один из начальников, прослывший знаменитым математиком[4].

Разумеется, подобные замечания могли возбуждать только смех; но, кроме их, приходилось выслушивать тысячи таких пошлых, грязных замечаний, пересыпанных площадной бранью, которые невольно приводили в негодование. Впрочем, и в подобных случаях легко было успокоиться составившимся между сочувствующими товарищами убеждением, что всякий выговор нашего начальства — это похвала; и тот, кто совершенно спокойно выслушивал его, без сомнения, в глазах друзей мог считаться порядочным человеком.

Все эти черты из жизни институтской сами по себе так ничтожны, что о них, пожалуй, и говорить не следовало бы, но в массе они производили такое впечатление, что до сих пор не изглаживаются из памяти. Бывает же в жизни такая обстановка, о которой и рассказать нечего по микроскопичности явлений, совершающихся в ней,— возьмешь один случай, другой — да и невольно приходишь к заключению, что все это такие пустяки, которые ни для кого никогда не могут иметь никакого значения; между тем эти-то пустяки в совокупности, беспрерывно повторяясь, производят такое одуряющее тяжелое впечатление, образуют такую удушливую атмосферу, что, освободившись от нее, сам удивляешься, как это можно было вынести в продолжение четырех лет всю тяжесть самых пошлейших стеснений, самых нелепых требований. Сколько, например, нужно было терпения, чтобы поставить себя в совершенно безразличные отношения к тем людям, к которым мы явились с желанием поучиться чему-нибудь и которых большинство действительно признавало людьми честными и даже очень-очень учеными. К сожалению, я не могу представить богатого запаса курьезных фактов с обозначением чисел, лиц действовавших и другими подробностями, которые ярко могли бы обрисовать ту обстановку, в борьбе с которой нужно было много энергии, чтобы почувствовать себя независимым хоть

внутренно, при страшнейших стеснениях и зависимости извне.

Благодаря искусству наших властей осматривать запертые ящики, в которых хранились всякого рода бумаги, между прочим и такие, которые хотя имели и прямое отношение к начальству, но тщательно скрывались от него из боязни преследований,— многие из нас должны были или держать свои бумаги вне института, в чужих руках, или сжечь их. В жертву пламени принес и я свой дневник, из которого теперь мог бы почерпнуть, факты с указанием места, времени и проч. для того, чтобы хоть сколько-нибудь характеризовать те обстоятельства, которые в продолжение четырех лет тяжким гнетом давили личность Н. Ал. Кстати, расскажу здесь, как он сам однажды горько пострадал за то, что плохо спрятал от начальнической заботливости свои бумаги. Было это во время лекции, когда все студенты находились в аудитории; наш «отец» (так называл себя наш начальник[5] в отношении к нам) отправился по ящикам обыскивать, нет ли там чего-нибудь противного ему. К полному своему удовольствию, он нашел в ящике Н. Ал. какое-то черновое письмо[6]. Этого *«отцу»* нашему достаточно было, чтобы изобразить собою грозного олимпийского бога и постращать смертного всевозможными карами небесными и земными. Но страшный гнев и угрозы без особенной причины сменились на отцовскую милость, о которой смертные обыкновенно не много хлопотали. Кончилось тем, что Н. Ал. засадили на несколько дней в больницу, куда обыкновенно отправлялись провинившиеся на том основании, что преступивший волю нашего благодетельного начальства не мог считаться человеком в нормальном состоянии — ему необходимо было исцеление. Лечение же там было по преимуществу духовное; сам наш отец-благодетель принимал на себя обязанности врача. Обыкновенно в двенадцать часов ночи отправлялся он туда, из предосторожности несчастного какого-нибудь случая в сопровождении одного из гувернеров, поднимал с постели преступника и обращался к нему с такой речью: «И вы преступили устав заведения (здесь поименовывался род преступления — курение, несвоевременное возвращение в институт и проч.); вы этим оказали неуважение к благодетельствующему вас начальству и уставу того заведения, которое, так сказать, дарует вам жизнь. Вам известно, что начальство и устав утвер-

ждены высочайшею волею, следовательно, вы преступник и против государя. Вы знаете также, что высочайшая особа избрана самим богом, следовательно, вы преступник и пред богом. Таким образом, вы виноваты пред заведением, пред начальством, пред государем, пред богом и, наконец, пред всем человечеством, которое признает неприкосновенность и святость всего того, против чего вы преступили. Теперь понимаете важность вашего преступления? Думали ли вы когда-нибудь о том, что вы сделали?..» и т. д.

Речь, начавшаяся цицероновским красноречием, в котором был так искусен оратор, обыкновенно переходит в красноречие квартальных; вежливое *вы* заменяется грубым *ты* с прибавлением эпитетов Сенной площади; потом опять речь принимает различные оттенки, смотря по впечатлению ее на преступника,— и обыкновенно заканчивается потоком площадной брани... Окончание обыкновенно тогда следует, когда оратор уже выбился из сил, признаком чего служит засыхающая пена у рта... Сидеть в больнице еще не большая беда: тоска одолевает — и только; но принимать духовное врачевание — это было такое жестокое наказание, хуже которого хитро что-нибудь придумать. Кажется, согласился бы на все — целое ведро касторки готов бы выпить, лишь бы избавиться от духовного врачевания отцовского. И безмолвное лицезрение отца-благодетеля не могло доставить большого наслаждения для любящих его детей, а тут присовокупите еще его красноречие медоточивых уст — можно себе представить, какая это была пытка. Такой-то пытке подвергался Н. Ал. в этот арест несколько дней сряду, после чего считался обновленным и спасенным, благодаря притом ходатайству г. Галахова, хорошего знакомого Н. А—ча. Я привел один из довольно обыкновенных примеров обращения начальника со студентами; между тем подобные истории повторялись-таки часто: случалось иногда, что в продолжение нескольких недель только и слышишь из уст начальнических, что слова духовного врачевания — невеселая жизнь, право... Разумеется, были люди, которые, кроме любезностей и похвал, ничего другого и не слышали от властей; но те отказались от всей личности: для них нужны были похвалы, которые давали возможность впоследствии воспользоваться хорошей рекомендацией — теплым местечком и тому подобными благами мира сего, а ведь они только того и доби-

вались, принося в жертву все, чем юность хороша,— все лучшие стремления, все надежды и желания быть в жизни хоть кому-нибудь в чем-либо полезными. Задача их была очень несложна: для решения ее можно было и ничего не делать, но необходимо было отказаться от многих благороднейших стремлений человеческих, а это, думаю, тоже чего-нибудь да стоит. Поэтому, как только нашлись такие личности, остальным, отказавшимся последовать их примеру, очевидно трудно было бороться с требованиями начальства. Между тем борьба была делом совершенно законным и неизбежным. Считаю лишним здесь разбирать все возмутительные мелочи, которые поневоле вызывали отвращение к институтским порядкам,— да притом о них частию сказал свое слово сам Н. Ал. в рецензии «Акта Главного педагогического института», помещенной в «Современнике»[7]. Тревожить воспоминаниями бывших начальников наших благодетелей я тоже не решусь по причинам, о которых легко догадаться, хотя не лишним было бы вспомнить кой о чем, чтобы объяснить, сколько приходилось вытерпеть Н. Ал. и каждому из нас, хоть бы для того, чтобы не запятнать себя идолопоклонством, которое так нравилось начальству нашему. Притом же, говоря о таком высоком предмете, как начальство, я должен был тут же говорить и о таких низких предметах, как пироги, сбитень, соус под червяками и т. п. (что довольно часто служило поводом столкновения и неприятностей с властями),— между тем как такое сопоставление высоких предметов с низкими я пока еще не допускаю, считая это унижением и неблагодарностью с моей стороны в отношении своих благодетелей... Я думаю, что в дневнике Н. Ал. найдется довольно фактов, которые дадут некоторое понятие о том, о чем я не решаюсь при настоящих обстоятельствах говорить. Вместо того я укажу, насколько в письмах это возможно, на главнейшие моменты переворотов в понятиях Н. Ал.

Прежде всего, как только начали сгруппировываться кружки между нашими товарищами (где говорится о товарищах, я разумею всегда собственно наш курс и некоторых из низших курсов; курсы высшие всегда держались от нас с подобающею важностью в стороне), кружок, к которому принадлежал Н. Ал., принялся за рассмотрение вопросов внутренней жизни — вопросов о наших верованиях и т. п. Оно и понятно: замкнутые в четырех стенах, незнакомые с общественною жизнью, которая

могла бы развлекать нас, давая нам, может быть, и очень пустой материал для толков, мы очень естественно обратились к поверке прежних впечатлений. Так как между нами встретились люди, останавливавшиеся уже на этих вопросах, и были такие, которые в простоте сердечной считали эти вопросы неприкосновенными, то, очевидно, споры и рассуждения на эту тему были неистощимы и даже иногда доходили до увлечения. Всякому тяжело было расставаться с многими, хотя и нелепыми верованиями, но дорогими по воспоминаниям: казалось, что человек сросся с ними, что они обратились в плоть и кровь и составляют что-то нераздельное с его существом; но между тем чувствовалось, что необходимо было подвергнуть всю эту дребедень критике строгого рассудка,— и как только начиналась эта работа, весь ребяческий бред оказывался несостоятельным и даже смешным. Переход от одного направления к другому совершался хотя с большими трудностями, но довольно быстро, при взаимном содействии симпатизирующих товарищей; от прежнего чада оставались в душе не очень глубокие следы, которые скоро и совсем сглаживались под наплывом впечатлений новых, свежих, разумных. Отрезвленные новым направлением, некоторые принялись за распространение разумных идей в массе. Сопротивление со стороны товарищей, как следовало ожидать, было сильное; большинство, даже не возражая на предложенные мысли, обыкновенно отвечало фразами, которыми всегда и везде отвечают, если дело касается вопросов, выходящих из рутинных понятий: «все это либеральничанье, обезьянничество; начитались различных книжонок и давай дичь молоть».

Да, легко было отделываться подобными фразами тем, которые не испытывали, каких усиленных трудов стоит человеку отрешиться от различных нелепостей, навязанных из детства, и заместить пустоту хоть чем-нибудь разумным. Но было трудно вступать в споры с подобными людьми, которые и не хотят спорить; на все разумные доводы они отвечают молчанием и стараются увернуться от соблазна сказать хоть одно слово. Нужно было действовать насмешкою. Н. Ал. был всегда мастер на это,— и часто обскурантам доставалось-таки от него: обыкновенно в серьезных вопросах он никого не щадил. Но и насмешка оказывалась недействительною. Дело доходило до того, что чуть не силою заставляли оспаривать различные нелепости. Наконец случилось, что

один из товарищей, на которого налегали таким образом, сказал священнику на исповеди, что его совращают с пути истины. Правда, из этого ничего не вышло особенно дурного ни для кого; но подобный факт ясно показал, что у некоторых бывают так крепко устроены лбы, что светлый луч разума никак не прошибет их. Это увлечение довольно скоро прошло, и впоследствии на эти вопросы всегда смотрели с полнейшею терпимостью и даже уважением.

Вопросы из мира верований сменились вопросами политическими... Здесь открылся новый богатый материал для прений. В этом случае требовался запас исторических фактов, которыми все были очень бедны: нужно было читать и читать. Но где было взять книг, пригодных для этого дела? Как все это недавно было — еще и шести лет не прошло,— а как переменились обстоятельства. Каких трудов, например, стоило достать хоть сколько-нибудь порядочную книжку. Теперь, может быть, каждый из нас имеет под руками то, что прежде доставалось с громадными трудностями, с страшным риском. И теперь мы не можем похвалиться свободою выбора книг,— но что прежде было, особенно в четырех стенах института,— это и представить себе трудно. Н. Ал., имевший в то время несколько порядочных знакомств, оказал нам в этом случае значительную услугу. Полученная книга с жадностию и с наперед заготовленным доверием к ней прочитывалась в кружке и была предметом очень серьезных толков, пока наконец факты, заимствованные из нее, не проходили чрез критику читателей. Если же эта книга была на одном из иностранных языков, то, смотря по достоинству ее, иногда общими силами переводилась буквально вся и после прочитывалась в кружке, иногда же читалась для всех, не владевших этими языками, вслух по-русски, а часто один кто-нибудь брался за прочтение всей и перевод замечательнейших мест и потом в кружке подробно излагал содержание ее и прочитывал переведенные отрывки... Н. Ал. в этом случае был одним из ревностнейших и трудолюбивейших деятелей. Я думаю, в его бумагах и теперь можно было бы найти следы этих трудов [8].

Нужно заметить, что в то время, когда с особенным старанием кружок уяснял себе взгляды политические, в обществе петербургском слышалось много разнообразных толков то про злоупотребления в Крыму, то про освобождение крестьян, то про другие, тогда же случившиеся

события; но все это носило на себе характер какой-то тайны, так что до истины трудно было добраться. Каждый день кто-нибудь, побывавши в городе, приносил в институт богатый запас новостей, сообщение которых возбуждало живой интерес в следивших за общественной жизнью. Чтобы из этого хаоса можно было вывести какое-нибудь общее заключение, решились вести еженедельный листок, в который вносились все события крупные и различные слухи, пропущенные по известным причинам нашими газетами. Редакцию и главное сотрудничество принял на себя Н. Ал. Название листка было «*Слухи*»[9] с эпиграфом: «Слухом земля полнится». Передавать содержание листка — нет возможности как потому, что я частию забыл, что внесено было туда, так и по свойству занесенных туда фактов. О направлении и цели «Слухов» я постараюсь в нескольких словах изложить мнение самого Н. Ал., высказанное им в первом номере листка. Я берусь почти буквально передать взгляд Н. Ал. на это дело и ручаюсь за верность передачи. Делаю это как потому, что не приходилось еще в письме этом поближе коснуться убеждений Н. Ал., так и потому, что из приведенного мною отрывка можно будет хоть сколько-нибудь судить о тогдашнем его направлении... Начинает он свою статейку тем, что нам необходимо изучение и понимание исторических фактов из жизни народа. Но, говорил он, известия этого рода все еще мертвы, неполны, некрепки. Наши познания в этом отношении все еще темны и сбивчивы. Это явление, очевидное для всякого и кажущееся несколько странным, объясняется, однако, очень просто. Наука в России имеет дело только с официальными фактами, только с тем, что записывается в акты, что определяется весом и мерою, годом и днем. Оттого-то она и знает только, что в таком-то часу, такого-то числа загорелся в таком-то квартале такой-то дом и сгорел. А кто там жил, что потерял от пожара, какое влияние имело это бедствие на судьбу несчастного, что он спас и что потерял и проч.— это вещь совершенно посторонняя для исторической полиции. Да и негде разыскать это; разве остановиться на улице и послушать, что толкуют в народе; но об этом никто и не думает. А между тем здесь-то и материал для истории. Так называемое общественное мнение не есть ли выражение духа, направления и понятий народных в ту или другую эпоху? А ведь оно не записывается, потому что стараются писать только вещи известных ин-

тересов. А кто же станет писать или даже читать то, что всякий знает и всякий сам высказывает? Оттого-то, если твердят нам, что Россия цветет, а Запад гниет, что в России покровительствуется просвещение, что мы все двигаемся вперед, что Ф. В. Булгарин — страж чистоты русского языка, то, наверное, можно сказать, что эти вещи весьма и весьма сомнительного свойства. Не пишет же ведь никто трактатов о том, что человек имеет на руках по пяти пальцев, что большая часть наших граждан проводит жизнь в воровстве, что К. мошенник, что в ..., начиная с N, почти все ослы и дураки и т. д., а не пишут оттого, что трудно найти человека, которому бы эти истины были новостью. Оттого-то и слухи так же быстро исчезают, как и появляются. Говорят о предмете до тех пор, пока полагают, что не все еще знают о нем; как скоро известие облетело всех — его тотчас оставляют и забывают. Таким образом, каждый день являются новые вести, сплетни, мнения, задачи, решения, вопросы, ответы — словом *слухи*, и каждый день они исчезают и заменяются другими, так что и записать их не успевают. А между тем сколько живых, резких характеристических черт в этих эфемерных явлениях и разговорах. Это не мертвые числа и буквы, не архивная справка, не надгробная надпись умершему — нет, это самая жизнь, с ее волнениями, страданиями, наслаждениями, разочарованиями, обманами, страстями,— во всей ее красоте и истине. Неделя этой жизни поучает нас более, нежели семь томов мертвой статистики. Десяток живых современных черт объясняют историку целый период гораздо лучше, нежели двадцатилетние изыскания в архивной пыли, где он найдет только блестящие реляции о темных делах — указы, которые никогда не исполнялись, да следствия, в которых невозможно отыскать причины. Человек — не машина для письма; жизнь его — не в канцелярских бумагах, на которые так сильно сбивается у нас история и литература. Конечно, из нашего народа не сформировался еще полный человеческий тип, но все-таки нельзя отвергнуть того, что он сформируется, хоть понемножку, хоть незаметно, а сформируется... и тем интереснее должно быть для нас следить за его начинающимся развитием, тем поучительнее *послушать*, как он рассуждает, как он понимает вещи не в учено-литературной канцелярии, где он переписывает чужую резолюцию, а в частной жизни — дома, в гостях, в театре, в церкви, на улице, на рынке — везде, где только может он вы-

разить свое личное настроение и понимание. Чем более подслушаем таких откровенных рассуждений, рассказов, отдельных мыслей и впечатлений, тем яснее нам будет истинный дух народа, тем понятнее будут его стремления, его чувства, тем полнее и осязательнее представится нам картина народной жизни. Что за беда, что все эти мысли будут нам известны и, следовательно, скучны каждая порознь; зато значительное их собрание может впоследствии повести нас к соображениям, которые без того не пришли бы в голову, может обратить наш взгляд на такую точку, которой бы мы и не приметили. Не всемирно-историческое значение имеет то обстоятельство, что один человек умер в судорогах, другой — тоже, третий — тоже и т. д., а собрали сотни и тысячи подобных фактов и увидели, что это — cholera morbus *. Может быть, и собранные нами слухи приведут умного человека к открытию какой-нибудь хронической болезни в нашем народе; может быть, позднейшие врачи заглянут в наш ensemble ** слухов, в которых должна открыться современная нам жизнь с внутренней ее стороны. Не будем же слишком эгоистичны, не станем отвергать слухов только потому, что они известны. Поделимся с другими своим знанием, сохраним для потомства наши мысли,— пусть оно увидит, что мы жили или по крайней мере хотели жить. Может быть, в записки свои мы внесем ложные слухи; может быть, займемся ничтожным и опустим важное; но и в этом отразится жизнь. Только машина может работать с неизменною, размеренною правильностию и верностию. На ее стороне преимущества скорости, ровности, верности и проч. Но где замешается дело мысли, там живой человек всегда гораздо лучше,— за доказательствами нам далеко ходить нечего: наши товарищи в этом отношении представляют поучительный пример. Но дело, за которое мы боремся, легкое само по себе, становится трудным и даже опасным по своим последствиям. Нужно быть беспристрастным — записывать все, что только слышишь,— а ведь мало ли что говорят? Заочно и про наших знаменитостей и вообще всякую знать говорят не совсем приличные вещи, а писать про это еще почти никто не писал безнаказанно, кроме автоматов. Притом народ ведь все с самолюбием у нас в России: всё хотят сами делать, а другим не позволяют.

* Холера (*лат.*).— *Ред.*
** Собрание (*фр.*)— *Ред.*

Сделает человек глупость — и ничего; а только другой начнет говорить о ней — беда! — как смел!!! Уж и этой-то чести не хотят уступить другому! «Это — дескать — *моя* глупость, *я* ее сделал и никому не позволю повторять». Попадись наш листок в такие руки — запретят, пожалуй, и писать нам. Это еще, впрочем, беда не так велика, «*слухи*» разойдутся в тысяче экземпляров, как все запрещенное: но вот беда, если запрут куда-нибудь,— тогда уж совсем плохое дело — материалов не будет, а из ничего не будет ничего. Выдумывать же слухов невозможно, потому что это противоречит цели листка. Но и здесь есть утешение: будем припоминать, что давно слышали; короче сказать — при нашей твердой решимости нас ничто не может остановить, пока живы будем, пока в нас не пропала жажда деятельности, пока не убиты в нас благороднейшие стремления сделать что-нибудь для блага человечества,— а энергии и неугомонной пытливости, кажется, нам не занимать стать. Мы чувствуем, что теперь начинается замечательнейший период в истории России,— материалов много. Вопрос о крестьянском праве много занимает умы, и разговор о нем сделался до того общим, как прежде разговор о Севастополе, так что почти вытеснил пресловутый разговор о погоде и здоровье. Это ничего — пусть говорят,— договорятся до чего-нибудь. Если мы убеждены, что основание нашей гражданской жизни составляет низший класс народа, то нужно действовать на него, но не поджигательными средствами, не на страсти его, а на его сознание,— это хотя и длинный путь, но зато верный и благотворный по своим результатам; нужно раскрыть ему глаза на настоящее положение дел, пробудить в нем спящие силы души, внушить ему понятия о достоинстве человека, об истине и добре, об естественных правах и обязанностях — словом, просветить его,— и лишь проснется да повернется русский человек — стремглав полетят враги его, усевшиеся на нем...

Останавливаюсь на этом как потому, что последующие предположения еще не современны и могут показаться мечтою, так и потому, что дальнейшая характеристика взглядов тогдашних Н. Ал. может быть не так буквально передана мною; все, что я говорил за Н. Ал., взято мною из нескольких лоскутков моего дневника, уцелевших случайно между бумагами. Как припоминаю, страницы эти были писаны мною по прочтении первого номера «*Слухов*», так что здесь могут встретиться даже

подлинные выражения Н. Ал.[10] Мне кажется, что даже из этого коротенького отрывка, какой могут поместить тесные страницы письма, не трудно составить себе некоторое понятие о тогдашнем направлении Н. Ал.

Приведенные мною строки о наших «Слухах» пробудили во мне тысячу воспоминаний о том времени, когда мы все были гораздо лучше, нежели теперь, когда у нас было столько надежд и добрых стремлений,— и, может быть, один Н. Ал. больше всех нас приблизился к тем целям, к которым все мы так нетерпеливо стремились. Но судьба неумолимая, как будто в насмешку над нами, прекратила и его деятельность, как бы желая доказать нам, что благородные стремления и энергия не в состоянии устоять против нелепостей жизни. Здесь сам не знаешь, кого винить в этой борьбе; но мне кажется, что у нас все-таки сбереглось еще достаточно силы на всякое благородное дело и что если бы.... Но я увлекся посторонним предметом; между тем нужно кончить о «*Слухах*». Независящие от редакции обстоятельства похоронили «листок», кажется, на двенадцатом нумере[11]. Эти нумера Н. Ал. подарил на память одному из наших товарищей — Львову.

К литературным произведениям институтским Н. Ал. относится еще значительное количество стихотворений, написанных преимущественно на разные случаи. Многие из них приняты были с восторгом институтскою публикою, списывались и в рукописях распространялись между студентами. Редкие догадывались, что они принадлежали Н. Ал., который скрывался тогда под псевдонимом Будилова. Интерес этих стихотворений заключался, впрочем, не в том только, что они относились к известному событию или личности, но преимущественно в меткой характеристике предмета и оригинальности мыслей. У меня было списано более десятка его стихотворений; но благодаря некоторым обстоятельствам в настоящее время едва ли сыщется два-три, да и то не из лучших. Я не сумел сберечь даже того стихотворения, которое Н. Ал. подарил мне на память, и теперь помню только первый куплет его,— кажется, он так начинался:

Зачем вы связали мне руки? [12]
Зачем спеленали меня?
Зачем на житейские муки
Меня обрекаете с первого дня?..

* * *

Впрочем, если бы и была возможность собрать все его стихотворения, то при напечатании их встретилось бы много препятствий; большую часть их, а именно самую лучшую, положительно нет никакой возможности издать по *несовременности* их содержания; даже самое невинное стихотворение из этого отдела на юбилей Н. И. Греча, я думаю, не позволят напечатать. Из небольшого числа тех, которые можно издать без затруднений, есть несколько очень замечательных как по содержанию, так и по выполнению.

К числу институтских же литературных произведений Н. Ал. нужно отнести также различные проекты, очерки институтской жизни и т. п.; несмотря на свой большею частию, так сказать, местный интерес, они отличались строгим анализом явлений этой жизни, богатством фактов и верною характеристикою личностей. Жаль, что из произведений этого рода ничего не сохранилось; между тем они очень пригодились бы для полного объяснения обстоятельств, сопровождавших пребывание Н. Ал. в институте. У меня, впрочем, между бумагами отыскался небольшой отрывок одного довольно подробного описания экономического быта нашего заведения. Посылаю Вам этот отрывок:[13] может быть, Вам пригодятся некоторые данные для объяснения материального быта нашего; жаль, что сохранилась такая незначительная часть,— целое содержало в себе очень подробный отчет о наших экономических средствах.

Припоминая дорогую личность Н. Ал., я не могу в коротких словах всецело воссоздать характер ее как потому, что личность его так чрезвычайно многосторонняя, что трудно сразу обнять все разнообразие ее особенностей, так и потому, что, обращая внимание на одну какую-нибудь сторону ее, невольно увлекаешься полнотою ее развития,— кажется, что вот здесь весь полный отдельный человек — как мы привыкли его видеть, и забываешь, что есть такие богатые натуры, которые совмещают в одной себе столько редких особенностей, так высоко развитых, что если бы каждую из этих особенностей порознь приписать отдельным личностям, то мы могли б получить много прекрасных, высоких личностей, которых назвали бы благороднейшими, умнейшими, честнейшими и другими лучшими качествами природы человеческой.

О степени образования и умственного развития Н. Ал. я, разумеется, не стану говорить, потому что для объяснения с этих сторон личности его недостаточно сказать несколько слов: для этого необходим обширный и добросовестный труд, соответствующий обширности предмета. Да притом, можно ли об этом много распространяться, когда всему читающему люду известно богатство образования и талант Н. Ал. Я попробую указать на менее известные стороны характера Н. Ал., хоть, например, на его гуманные чувства, на его теплоту душевную. Указывая на широкое развитие этого чувства в личности Н. Ал., я не впаду при этом в лирический восторг; сам он делал услуги молчаливо, без восторга, но с задушевным участием, как исполнял свой долг, который налагала на него сила убеждений и доброта сердца; в его натуре даже не было возможности отказать комунибудь в чем-либо, если представлялся самый ничтожный случай для того, чтобы подать руку помощи...

Но чтобы лучше объяснить, до какой степени развито было в нем сочувствие к ближнему, я укажу на факты. Правда, припоминая время институтской жизни, я не найду там громких подвигов геройского самоотвержения,— они там и невозможны были по мелочности обстановки этой жизни,— но и в таких будничных, темных явлениях иногда высказывается человек многостроннее и полнее, чем на обширном поприще общественной деятельности. Сделаю наперед оговорку, что большинство наших товарищей был народ беднейший в отношении материальных средств; некоторые в продолжение всей институтской жизни не получали ниоткуда ни гроша, между тем всякий человек имеет вопиющие нужды, которые требуют неизбежного удовлетворения, которых, впрочем, не имело в виду и само начальство и для которых недостаточен был казенный вес и мера. Возьмем хоть то, по-видимому, ничтожное обстоятельство, что содержание у нас было до крайности неудовлетворительное во всех отношениях,— например, в отношении к пище: тот, кто не имел своих денег, чтобы запастись съестными припасами, хоть булкой,— тот принужден был терпеть страшнейшие мучения голода. Но положим, что эта потребность не заслуживает того, чтобы много хлопотать об удовлетворении ее,— согласимся даже, что начальство было право, придерживаясь древнего изречения, что satur venter non

studet libenter * — и даже оказало нам пользу, отказывая нам в необходимом удовлетворении первой потребности жизни. Но ведь было множество и других потребностей, отказать которым значило отказать себе в возможности следить за образованием, за ходом литературы и т. п. Так, например, выписка журналов, газет, книжек, которых нельзя было найти в библиотеке и проч. (журналы из нашей библиотеки можно было получать только за старые годы; новые читались исключительно начальством, которое могло бы, кажется, на свои деньги выписать все это, а собственность казенную следовало бы по всем соображениям предоставить в пользу студентов, лишенных средств для приобретения таких дорогих предметов),— разве подобный расход ничего не значит не только для людей, лишенных всех средств, но и даже для тех, которые стеснены в средствах? Для других пять-шесть рублей — ничтожная сумма; но для того, кто не имел ни копейки и даже не мог иметь,— это богатство Креза,— где взять эти пять-шесть рублей? Являлась, например, необходимость вне института без стеснений потолковать об интересовавших нас предметах, на свободе почитать книжку, которой в институте нельзя было читать беспрепятственно; для удовлетворения этой потребности нужно было, хоть под предлогом празднования чьих-нибудь выдуманных именин, нанять на несколько часов квартиру, а для этого также нужны были деньги,— а где их было взять неимущему? Подвергались, например, знакомые нам студенты ссылке в отдаленные места [14] при чрезвычайно трудных условиях, лишенные даже того, что мы имели, как не выразить сочувствия к благородным людям хоть чем-нибудь? Как не помочь гонимым за правду? А где взять средств для помощи?.. Пишет, например, товарищ из Казани, что там чуть не умирает с голода шестидесятилетний старик, пробывший двадцать пять лет в каторге и теперь, получивши амнистию, возвращающийся на родину в далекие западные губернии, где, впрочем, нет у него ни родных, ни крова; да притом и сам он, изнуренный тяжкими работами каторги, едва-едва двигается, будучи не в состоянии заработать себе кусок хлеба или просить милостыни у каждого встречного,— как тут не поделиться с таким олицетворенным страданием, с такою бедностию, которой могут вполне сочувствовать только знакомые с гнетом

* Сытое брюхо к учению глухо (*лат.*).— *Ред.*

се? Как не отозваться на голос мученика, так жестоко страдавшего, может быть, за чужие грехи? Но где взять средство помочь погибающему?

Я мог бы представить множество подобных примеров, где юное горячее сердце не могло отказать себе в деятельности, в сочувствии к братьям; но обстоятельства, лишившие средств к осуществлению благородных стремлений, давили еще более сознанием бессилия порывов быть полезными кому-нибудь. Во всех этих случаях дружеская помощь Н. Ал. была неоцененна для нас. Он среди нас был вроде банкира, хотя сам имел самые ограниченные средства. Но ему все-таки хоть что-нибудь присылали из дому, да притом уроки давали ему маленькие средства. Поэтому, как только являлся какой-нибудь случай, где требовалась материальная помощь, все неимущие обращались к нему, после чего он сам делался таким же неимущим. Не было случая, чтобы он когда-нибудь отказал в чем-либо товарищу, хотя были случаи, что ему отказывали те, которые имели в запасе деньги. Обыкновенно, когда являлся вопрос о выписке журналов, посылке кому-нибудь денег и т. п., Н. Ал. большею частию сам брался за это дело, посылал свои деньги, а если у него не хватало, то занимал для других, а потом общий итог разделялся между участвовавшими, которые обещались уплатить ему долги, когда будут у них лишние деньги, хотя бы это могло случиться и чрез двадцать лет. Между нашими товарищами, кажется, не было таких из порядочных людей, которые не состояли бы должниками Н. Ал., хотя известно было, что он сам был в долгах для того, чтобы выручить своих товарищей. Я не стану говорить здесь о той помощи, которую оказывал он товарищам по выходе из института. Вы, думаю, сами знаете, какое живое участие он принимал в судьбе Н. П. Турчанинова и других. И я ему обязан услугою, которую буду помнить долго-долго. Когда в один из приездов моих в Петербург (это было в декабре 1859 года) я объявил Н. Ал., что я намерен жениться, то он, принимая живейшее дружеское участие в моей судьбе, по обыкновению начал подробнейше расспрашивать о моих обстоятельствах с желанием хоть чем-нибудь служить мне: он, кажется, готов был сердиться, если бы не было случая подать руку помощи человеку, любившему его. Мои материальные средства, как и всегда, были не в блестящем положении; но я никак не решался опять брать деньги

у Николая Александровича, зная, что у него на руках братья и многочисленная семья; однако я должен был сказать ему правду на его расспросы. Этого достаточно было для того, чтобы он сейчас же вынул из стола последние *сто* рублей и дал их мне с условием возвратить тогда, когда у меня они будут лишние. К несчастию, этого не случилось до сих пор.

При свиданиях моих по возвращении его из-за границы я однажды ему напомнил, что теперь его финансовые обстоятельства, наверное, очень расстроились по случаю поездки, а потому я пришлю ему хоть часть долга,— тем более что это для меня было бы не обременительным уплачивать долг по частям. Но лишь он выслушал несколько моих слов, как сейчас же просто оскорбился, что я ему об этом напоминаю, и начал упрашивать меня соблюдать условия, которые сделаны были при получении денег. Условия с моей стороны еще не выполнены до сих пор...

Я думаю, что сообщаемые мною факты многие назовут мелочами, пустяками. Да, все эти мелочи в глазах людей, незнакомых с нуждами жизни, могут казаться такими пустяками, которые ничего не могут объяснить; но нужно прожить эту жизнь, чтобы понять значение этих мелочей, чтобы убедиться, что человек,разделяющий последнее с своими товарищами для удовлетворения их насущных потребностей,— этот человек проникнут сочувствием к ближнему; его гуманные теории не пассивны, не мертвы, а одушевлены живою любовью к братьям даже в таких мелочах жизни, как удовлетворение голодного желудка. Мы маленькие люди, незнакомые с высокими потребностями комфорта, судьба из детства обрекла нас на тяжелый подвиг жизни, не давши нам даже средств для приобретения права на труд полезный. Мы должны были сами путем тяжелых лишений и испытаний, путем постоянной борьбы с препятствиями прежде всего завоевать себе право на труд, получивши образование. А чего стоило образование при наших условиях — это может понять только тот, кто прошел этот путь без всяких посторонних поддержек, не имея ничего ни дарового, ни наследственного, кроме рук и головы на плечах. Но чтобы мои слова не счел кто-нибудь фразами, я приведу здесь цифры, которые могут подтвердить сказанное мною. Наш курс средним числом состоял из сорока человек,— и вот такое непро-

должительное время уже двенадцатый товарищ наш — Н. Ал.— в могиле! И всех их сгубила в самом цветущем возрасте жизни одна болезнь — болезнь тяжелого труда — чахотка. Я думаю, что такая цифра смертности едва ли бывает так велика в роковое время губительной войны. А сколько, вероятно, теперь таких, которые, дорогою ценою купивши право учителя, хотя еще и не покончили с жизнью, но, вышедши из заведения обессиленными физически, теперь в лучшем возрасте жизни страдают неизлечимыми болезнями и несут тяжелые учительские обязанности ради насущного куска хлеба. Между тем в нашем обществе еще и теперь часто слышатся голоса даже людей образованных, что у нас дорого платят за обучение тем, которые таким трудным путем завоевали себе право на это! Но пусть себе толкуют это положение так, как кому понравится: наверное, найдется много таких, которые признают его нормальным; указывая на него, я не имел в виду даже касаться этого вопроса, а сказал только несколько слов по поводу объяснения тех обстоятельств, при которых получил образование Н. Ал. и большинство наших товарищей. Может быть, и простыми указаниями можно навести на некоторые соображения тех, которые вовсе не знакомы с трудною жизнию. Правда, сытому трудненько понять голодного. Мне приходилось слышать самые курьезные замечания на мой рассказ о прошлой жизни нашей в институте; один господин пренаивно заметил мне: «Да охота была оставаться в этой яме, я лучше прожил бы в своей деревне, нежели решился бы выслушивать нелепости различных господ». Другой замечал мне: «Мне встречались, например, господа, которые находили нашу жизнь в институте очень хорошею»; «Это наивно,— говорил мне один господин,— куда ни шло — может быть, и хорошо делали, что вас там стесняли,— а вот я, так, поверите ли, не мог даже абонироваться в оперу, когда был студентом. Даже должен был отказывать себе в посещении собраний и балов!!!» И действительно, для многих составляет большое лишение то, о чем мы большею частию и не мечтали,— как же понять то, о чем и представления не имеешь! И точно, посещение театров для многих из нас могло быть только неосуществимою мечтою. Нам и даровое посещение Публичной библиотеки дорого обходилось: бывало, после обеда, от четырех до девяти часов посидишь в библиотеке и, придя домой, доволен остаешься, если не заме-

тили, что возвратился позже установленного времени, а особенно, если добрый товарищ не забыл тебя за ужином и захватил на твою долю хоть ломоть черного хлеба, иначе придется испытывать страшные мучения голода, потому что казенный вес и мера хотя и рассчитывали на всех, однако лишали порции опоздавших в пользу *эконома*. И это не один день голода, а целые месяцы: чем усерднее посещали библиотеку, тем тяжелее обходились эти посещения,— особенно трое из нас часто испытывали невзгоды в этом отношении — Н. Ал., Н. П. Турчанинов и я. Нечего говорить о том, как жутко приходилось нам в трескучие петербургские морозы в холодной казенной шинельке без подкладки, представляющей хламиду древних греков, путешествовать с Васильевского острова в Публичную библиотеку и обратно.

Но я увлекся рассказом подробностей, которые могут быть и неинтересны; меня часто упрекали за увлечения в подобных рассказах о Н. Ал.: «Охота ему была таскаться в библиотку,— разве у него книг мало было? Да прочитал ли он все их?» Меня и теперь могли бы упрекнуть подобные люди. Но я уверен, что Вы придадите значение и этим подробностям.

Однако пора мне кончить: письмо мое вышло гораздо обширнее по объему, нежели я предполагал.

Время нашего выпуска сопровождалось очень печальными обстоятельствами.— я не буду рассказывать подробностей этой истории, проводившей нас из института в жизнь действительную. Главное здесь то, что начальство, признав себя решителем нашей судьбы, распоряжалось по своему произволу. Явилась оппозиция со стороны студентов, но осталась безуспешною. Самолюбие и чувство самосохранения, до того времени молчавшие, так сильно были раздражены, что трудно было разобрать отношения даже между людьми, которые прежде того связаны были общими стремлениями: одни требовали от других самопожертвования в пользу честного, благородного дела — защиты обиженных,— между тем другие видели в этом деле только интересы частные и не хотели рисковать еще раз собою, потому что были убеждены, что риск, не принося никакой существенной пользы тем, которые его требовали, принесет только вред рискующим. Явились какие-то враждебные отношения: одни молчали, другие подозревали в подлости, в низости... В это время я разошелся с Н. Ал.,— это же сделали и другие товарищи.

Не буду рассказывать причины нашей размолвки, и не потому, чтобы она могла оскорбить память Н. Ал., а потому, что во время примирения с ним мы дали друг другу честное слово никогда в жизни не вспоминать об этой истории. У меня нашлось две записочки [15], относящиеся к этому времени: одна по поводу Бруно Бауэра, принадлежавшего Вам, а другая по случаю приезда благороднейшего товарища нашего Игн. Паржницкого, который принял участие в нашем примирении. После страшной злобы, которою я был вооружен против Н. Ал., доходившей до того, что я разорвал портрет, на котором сняты были шесть нас близких товарищей, а между ними и Н. Ал.,— я помирился с ним очень просто, как с человеком, который действительно доказал, что желает добра всякому честному человеку, забывая оскорбления, с убеждением, что они были увлечением, которое могло быть оправдано обстоятельствами. После этой размолвки [16] я не переставал питать к нему глубоких чувств уважения и любви, как к человеку, который не только более всех нас, товарищей его, служил правде и добру, жертвуя часто многим, но, может быть, более всех, действовавших с ним на одном поприще. По выезде моем из Петербурга мы довольно часто переписывались с ним; к сожалению, я мог найти между своими бумагами пока только одно письмо [17], писанное вскоре по моем выезде.

Признаться, я думал отвечать Вам не письмом, а целою запискою, в которой надеялся характеризовать личность Н. Ал., как я его понимал. Но как я ни уважал и любил его, как он мне дорог ни был, однако при теперешних обстоятельствах я не решаюсь приняться за это дело и откладываю до другого времени, а теперь пока только в письме предлагаю Вам некоторые факты, которые предоставляю полному Вашему усмотрению. Если я сумел навести Вас хоть на какое-нибудь соображение и Вы не даром убьете дорогое для Вас время на прочтение моего письма, то значит — я достиг своей цели. Вы близки были с Н. Ал., Вы знаете эту симпатическую натуру — эту честную, благородную личность,— Вы, значит, поймете, какое удовольствие доставило мне хоть коротенькое воспоминание о нем.

С глубочайшим уважением
и полнейшею преданностию
остаюсь Вашим покорнейшим слугою
Борис Сциборский.

Хотя мне тяжело быть так неаккуратным должником у покойного дорогого мне Н. Ал., однако я в настоящее время не могу выплатить долга. Поэтому покорнейше прошу Вас подождать к лету,— тогда, ручаюсь, честным словом, уплачу все сполна. Я хотел писать об этом Василию Ивановичу[18], но не знаю его адреса. Покорнейше прошу Вас, свидетельствуйте от меня почтение ему, сообщите также о моем долге.

А. А. РАДОНЕЖСКИЙ

⟨ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ⟩

В августе 1853 года за Обводным каналом в Петербурге, против здания духовной академии, в бедном трехоконном домике служителя Александро-Невской лавры встретил я в первый раз Николая Александровича на его квартире, как теперь помню, с историею Смарагдова в руках. Как он, так и я и много других семинаристов только что приехали в Петербург с целью поступить в духовную академию...

В то время, о котором я говорю, в квартире Добролюбова было человек пять таких кандидатов на академиков... Семинаристы во всей неприкосновенности... в столице... пред решительными днями вступительных экзаменов, имевших решить наше: «быть или не быть» — поддержать или уронить перед академическим трибуналом честь своих семинарий, в лице нашем пославших, каждая из своего рассадника, по одному лучшему экземпляру из своих развитых растений, на окончательную пробу,— все мы, еще незнакомые между собою, собранные воедино волею начальства, робко выражали друг другу свои надежды и опасения, говорили о том, когда какой экзамен, по какому предмету, строг ли тот или другой экзаменатор, и в то же время каждый из нас читал пытливым глазом на лицах товарищей-соперников степень ума, развития, подготовленности, жадно вслушиваясь в каждое слово другого... Что до меня, я с первого взгляда на свежее, молодое (Добролюбову в то время было семнадцать лет), слегка румяное лицо Николая Александровича, на очки, придававшие его умной,

строгой физиономии какую-то оригинальную смелость, отличил его от прочих... Особенно мне бросились в глаза очки на носу у семинариста, по моему тогдашнему убеждению так дерзко нарушавшие законы скромной семинарской, а тем более академической моды,— законы, по духу которых ношение очков, пальто, сюртуков и панталонов, сшитых не по казенной мерке семинарской, означало либерализм, заподозривало в тенденциях светских *, далеко не согласных с идеалом истинного воспитанника семинарии и тем более воспитанника, избранного быть впоследствии, по выходе из академии, наставником духовного юношества...

Впечатление на первый раз Добролюбов произвел на меня *особенное*, нежели все другие, виденные также в первый раз, будущие мои товарищи. «Какая умненькая физиономия!.. Недаром очки носит (не знаю, почему *очки это* доказывали)... еще такой молоденький... Ужели и *он* в академию?..» — размышлял я. И мне тотчас же захотелось познакомиться с очками...

— Вы из какой семинарии?

— Из Нижегородской...

— Ваша фамилия — позвольте?

— Добролюбов.

— Надеюсь, также в академию? — пытал я.

— Да...— отвечал мне как-то неохотно Добролюбов. Потом он повернулся к окну, взглянул за канал, на фасад академического здания, как раз против окон его квартиры.— Смотрите,— прибавил он, обращаясь ко мне с мало скрытою иронией и указывая глазами на академию,— в академии — *тринадцать окон*[1], это что-то плохой знак... Я едва ли буду держать экзамен там... Боюсь...

И действительно, Добролюбов экзамена в академии не держал. Он мог это сделать, потому что приехал на свой счет и потому жил на своей квартире. Я и многие другие, присланные на казенный счет и потому жившие уже в академии, должны были сдавать страшные экзамены... В то время, когда мы держали экзамены, в академии пронесся слух, что нижегородский студент (претенденты на академиков звались уже тогда студентами) держит отлично экзамен в Педагогическом институте.

---

* Эти *наружные* тенденции были причиною непоступления многих в число академических студентов в наше время.

Через несколько времени и сам Добролюбов зашел в академию к нам, уже испытавшим неудобства затворнической жизни (прежде чем мы получили права ее адептов), и объявил, что он удачно кончил свои экзамены в институте... Я вместе с другими, не обольщенными прелестями предстоявшей нам жизни и карьеры, помню, от души позавидовал счастью Добролюбова.

Наконец и наши экзамены в академии кончились. Перекликаны были имена *избранных*, потом имена *только* званых. В числе, кажется, пятнадцати имен последних я скоро услышал и свое...

Тогда же четверо из нас «попяченных назад академиков», как тогда мы себя и нас называли другие, отправились на квартиру к Добролюбову...

— И прекрасно, господа,— поступайте в институт,— утешал нас Добролюбов.— И там не сладко, но по крайней мере не будем сидеть за тринадцатью окнами...

В тот же день мы, оскорбленные и униженные, поехали искать счастья в институт...

Нас там, сравнительно с строгим академическим приемом, очень вежливо и ласково встретил бывший тогда инспектор института А. Н. Тихомандритский, поговорил с каждым из нас, дал нам необходимые инструкции, как приступить к *новому*, еще более решительному экзамену... На другой день мы экзаменовались в институте, а через несколько времени нам было объявлено, что мы приняты — мы спасены.

Горькие, отчаянные чувства убитости, унижения, испытанные многими очень незаслуженно от своей alma mater * — академии духовной, в нас быстро исчезли перед восторгом от сознания восстановленного самолюбия судом *светским* — судом людей, которые в глазах наших стояли много выше по своему образованию наших прежних экзаменаторов. О радость! Мы — студенты института, мы, отверженные, неизвестно за что, нашей матерью! **

Правда, много горя мы испытали и в институте; но что это горе в сравнении с тем, что нас ожидало, если бы мы вернулись опять в семинарию?!

Вскоре по приеме в институт студентов, вновь принятых, разместили по камерам. Нас, «попяченных ака-

---

* Почтенной матери (*лат.*).— *Ред.*

** В академии баллов, полученных нами на приемном экзамене не читали, и нам доселе неизвестно, *почему* так решили нашу судьбу.

демиков», как тогда нас называли другие студенты, записавшихся на один филологический факультет, поместили всех в одну камеру, где, к великому моему удовольствию, я прочел в списке студентов этой камеры, повешенном на стене, и имя Н. Добролюбова, подчеркнутое рукою директора. А против фамилии Добролюбова написано «старший» — тою же рукою. Старшим Добролюбова у нас сделали потому, что он отлично держал экзамен по всем предметам, исключая математики, и физики, и французского языка[2]. С французским языком Добролюбов уже познакомился в институте на втором году совершенно основательно по роману «Mystères de Paris»[3]. Целых два месяца, не выпуская из рук, носился он с «Парижскими тайнами» и наконец-таки одолел многотомный роман.

С первого дня нашей институтской жизни и до последнего я в камере сидел рядом за одним столом с Николаем Александрычем. Мне было интересно следить за ходом занятий его, скоро приобревшего над своими товарищами большое влияние... Скоро все товарищи Добролюбова убедились в его превосходстве над собою. Как у словесников, у нас часто заходили споры о литературе. В этих спорах скоро Добролюбов показал и свою начитанность, какую было трудно представить в семинаристе, и силу горячего убеждения, и недоверчивость к словам с кафедры... Все это дало нам возможность заметить в Добролюбове раннюю самостоятельность. Помню, все мы как-то неохотно приступали к славянской филологии... Добролюбов с первой же лекции И. И. Срезневского полюбил и предмет и профессора. Профессор впоследствии сам горячо полюбил своего слушателя и, не в пример прочим, иногда звал его на лекции по имени и отчеству.

Добролюбов владел особенным искусством на лету схватывать мысль профессора и записывал так, что записки его по всем предметам[4], в продолжение всего курса, служили источником, откуда каждый студент, обязанный поочередно составлять лекции профессору, брал все необходимое. Через год Добролюбов дошел до такого уменья записывать профессорские лекции, что, не опуская в них ничего существенно важного, успевал еще пародировать иную лекцию. Эти пародии иногда со смехом читались в аудиториях и дортуарах...

Если не все любили Добролюбова, не все соглашались

с ним, то положительно говорю — все его уважали. Смело можно сказать: все мы, его товарищи, обязаны многим и многим Николаю Александрычу как студенту, откликавшемуся на все, за всем современным следившему. Бо́льшая часть из нас у него искали разъяснения на многие вопросы, с которыми не могли сами совладеть. Много было резкого в его приговорах; но эти убеждения *его* были *свои*,— этот пыл, эта искренняя откровенность были всегдашнею неизменною принадлежностью благородной натуры незабвенного Добролюбова, горячо оскорблявшегося всем, что, по его убеждению, не было добро и правда...

Как-то вечером, часов в десять после ужина, сидели мы в своей камере за столом: Добролюбов, я и еще три студента. Добролюбов читал что-то[5], сдвинувши на лоб очки. Является от знакомых один студент, некто N, считавший себя аристократом между нами, голышами, как помещик... N стал рассказывать одному студенту новость: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян (это было в начале 1857 года). Передавая этот слух, N выразил оттенок неудовольствия как помещик... Добролюбов, не переставая читать, доселе довольно покойно слушал рассказ N. Но когда N сказал, что подобная реформа еще не довольно современна для России и что интерес его личный, интерес помещичий, через это пострадает,— Добролюбов побледнел, вскочил с своего места и неистовым голосом, какого я никогда не слыхал от него, умевшего владеть собою, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!..» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю...[6]

Добролюбов, при отличных способностях, владел каким-то особенным тактом в занятиях. Довольствуясь записыванием лекций в аудитории, он никогда не терял времени на «черную» работу, то есть на переписку, на составление лекций, на репетиции, как бо́льшая часть студентов. Он читал, читал всегда и везде, по временам внося содержание прочитанного (хотя он и без того хорошо помнил) в имевшуюся у него толстую в алфавитном порядке писателей библиографическую тетрадь. В столе у него было столько разного рода заметок, редких рукописей, тетрадей, корректур, держа которые в первое время он зарабатывал себе копейку,— в шкапе столько книг, что и ящик в столе и полки в шкапе ломи-

лись... Но что бы Добролюбов ни делал, каким бы серьезным и срочным трудом ни занимался, всегда он с удовольствием оставлял занятие для живого разговора, откровенной беседы, которые при его участии, начинаясь литературою или профессорскими лекциями, всегда сводились на вопросы житейские... Он еще и тогда относился к этим последним слишком строго для семнадцатилетнего юноши... Направление таланта Добролюбова, впоследствии так ярко обнаруженное им в напечатанных статьях, прорывалось еще очень рано.

Если не ошибаюсь, в феврале 1855 года я отправился в лазарет. В лазарете я нашел Добролюбова здоровым. Он по вечерам там что-то писал и записывался иногда далеко за полночь. Я полюбопытствовал спросить: «Что ты пишешь, Николай?..»

— А вот слушай.— И он мне прочел отрывок из предполагаемого романа. Отрывок этот составлял первые главы. В них, помню, дело шло о *воспитании* двух мальчиков. Один из них был аристократенок — маменькин сынок, другой — приемыш, соединенный брат, служивший компаньоном барчонку... Мне особенно памятны те страницы, где автор говорил о деспотических отношениях первого к последнему, и сцена, где мальчик приемыш-сирота однажды отдал встреченной им на улице девушке-нищей, босой, с окровавленными ногами, свои сапоги, за что барыня-мать больно высекла своего приемного сына... Я долго слушал этот рассказ, полный горячего сочувствия к сироте и читанный Добролюбовым с большим одушевлением... На глазах у меня навернулись слезы... Потом эти мальчики были отданы в одно заведение, вместе учились, кончили курс удачно. Барчонок жил и учился с протекцией... Сирота — сам собою, без помощи, всегда в борьбе с нуждою и людьми, под влиянием чего характер последнего выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтение, помню, кончено было (тут же был и конец рукописи будущего большого романа) на том месте, когда эти два героя начинают служебную карьеру, как и следовало ожидать, различными путями. Маменькин сынок поступает под крыло какого-то директора департамента, а сирота сам где-то находит для себя место... Заглавия этого романа мне тогда Добролюбов не сказал, вероятно и сам еще не знал, как его назвать; но заметил мне, что пишется легко, что вовсе не такой труд, как он прежде думал,

писать повести... Кажется, этой повести или романа покойный Добролюбов так и не кончил.

Когда Добролюбов кончил чтение, я спросил «Ужели ты, Николай, способен писать романы? Я считал тебя более серьезным...»

— Недаром у меня ничего и не выходит. «Воображения» у меня вовсе нет. Я, замечаешь, резонерствую, а это скверно... Впрочем, покажу Чернышевскому [7], что он скажет,— отвечал мне Добролюбов.

На той же неделе он отправился, кажется, с неоконченною повестью к Чернышевскому. После того он мне передал результат литературного консилиума: «Чернышевский мне положительно сказал, чтобы я не совался в беллетристику, что я пишу не повесть, а *критику* на сцены, мною *придуманные...*» Эти слова буквально подлинные Добролюбова.

Сейчас приведенный факт очень важен в жизни Добролюбова как решительный толчок, давший литературному призванию его окончательное направление критическое...

Первые два года пребывания в институте у Добролюбова были отравлены двойным ужасным горем. Из частой переписки его в то время с родными, и особенно с матерью, видно было, что он питал к ней нежнейшую привязанность. Родители, в свою очередь, до страсти любили своего первого сына и баловали его, как ребенка. Часто, бывало, Добролюбов получал с почты присылаемые из дому, из Нижнего Новгорода, конфеты от матери, которыми он после ужина угощал своих товарищей. Однажды вечером Добролюбов получает от отца письмо за черною печатью, извещавшее о смерти любимой им матери, которая скончалась от родов. Это ужасное известие так сильно подействовало на Добролюбова, что все товарищи приняли участие в его горе, и, кажется, этот удар много имел влияния на самые заветные убеждения дорогого нашего товарища...

— За что так строга судьба? — сказал мне он однажды, перечитывая печальное письмо.— Матушка моя была так религиозна... так набожна... и так необходима малолетней семье нашей... Зачем было отнимать ее у нас?.. Поневоле задумаешься...

Не успела еще зажить, да едва ли и зажила когда эта рана в сердце Добролюбова, как новая, не менее глубокая, нанесена была судьбою его любящему сердцу.

В 1854 году, в июне месяце, после экзаменов, мы втроем отправились на каникулы по железной дороге, *«вместе с волами»*, как выразился Добролюбов,— то есть на тяжелом поезде [8], до Твери. В Твери мы сели на пароход, с тем чтобы отправиться по Волге: я — в Ярославль, еще товарищ — в Кострому, а Добролюбов — в Нижний. Всю дорогу наш Николай Александрович был как-то особенно печален. К тому же он поместился на палубе, и его буквально испекло жарким июньским солнцем. На пароходе с нами ехали два болгарских монаха; он с ними всю дорогу проговорил о болгарском языке, о жизни болгар... Оттого ли, что у Добролюбова не было денег, или он не хотел их тратить, или ему наскучила дорога, или не был хорошо здоров, или его томило недоброе предчувствие — не знаю; но он всю дорогу грустил, ничего почти не ел и не пил в продолжение двух суток... Последствия оправдали его чуткую грусть; дома на этих каникулах посетило его семью новое горе.

В конце августа, на обратном пути из дома в Петербург, я встретил Добролюбова на железной дороге, уже ехавшего на этот раз с каким-то барином-земляком во втором классе.

— Что нового у вас, Николай, в Нижнем?

— Отец умер,— отвечал он.

В холодном тоне ответа, сказанного Добролюбовым с язвительною улыбкою, мне послышалось проклятие, посланное судьбе... Да, он смеялся, сообщая мне эту грустную новость, но так смеялся, что меня покоробило.

Эти грустные семейные обстоятельства, быстро следовавшие одно за другим, имели сильное влияние на Николая Александровича. С этой минуты его душа навсегда простилась с мечтами... и жизнь, жизнь со всею ее реальностию стала предметом его изучения.

Я, помню, восхищался при покойном только что тогда напечатанным в «Современнике» «Пахарем» Григоровича [9]. Добролюбов с жаром принялся доказывать всю несостоятельность повести, с особенным напором указывая на идеализацию, с которою автор описал последние минуты умирающего пахаря...

Я любил стишки, иногда напевал романсы... Однажды, в минуту певучего настроения, я запел, в присутствии Добролюбова, какой-то романс...

«Радонежский! Перестанешь ли ты сердечные романсы распевать? Ужели ты не имеешь в запасе для пения чего-нибудь получше? На вот, пой...— И Добролюбов сунул мне стихотворения Некрасова.— Оставь, пожалуйста, любовь и цветы, пой «жизнь» — или плачь: это одно и то же,— ну, свисти»!.. Песня, иногда петая мною: «Не слышно шуму городского», особенно правилась Добролюбову, и он, вообще не любивший пения, очень часто просил меня ее петь и всегда слушал ее с особенным вниманием.

Покойный Николай Александрович не любил мишуры нигде и ни в чем, не любил рисоваться и всегда ратовал против нарядного чересчур мундира, особенно ловкого поклона, заискивающего разговора, подобострастного отношения к кому бы то ни было... На танцклассе, куда он являлся в четыре года, может быть, пять раз, смешил танцмейстера своею неловкостию и мудростей кадриля французского не постиг...

Во время коронации студентам института были присланы две ложи даровые в Александринском театре. Бросили жребий, кому из студентов ехать. Добролюбову и мне достались также места. Давали «Парашу Сибирячку»[10] и еще что-то. В одной из них играл покойный Максимов. Во время действия за некоторые монологи вызывали Максимова после того, как он кончал свое явление. Максимов имел привычку выходить раскланиваться и, разумеется, своим выходом нарушал художественную иллюзию... В то время, когда все хлопали являвшемуся на вызов Максимову, хотя по ходу действия явление его не следовало,— Добролюбов вставал с своего места и, высунувшись из ложи, кричал громко: «Невежа, лакей!» — шикал и свистал. (То же было с Добролюбовым, когда Максимов в другой раз при нем играл Чацкого.)[11] И всегда потом, если заходила речь об Александринском театре, он ругал Максимова...

Добролюбов не скрывал никогда и ни к кому своей антипатии. В выражениях о нелюбимом лице, и всегда нелюбимом за что-нибудь особенно, по его убеждению, дурное, он не стеснялся ничем. Там, где дело шло о правде, об интересах студентов, он первый брал на себя ответственность протеста, рискуя потерять многое для себя...

При выпуске Добролюбов не получил золотой медали...[12]

Зато иная медаль, с изображением покойного нашего общего друга, осталась вычеканенною в сердце каждого товарища его... Не знаю, что жизнь сделала с Добролюбовым после, вне института... Но студенческое имя Николая Добролюбова для его товарищей, так его любивших, и прежде было и долго будет самым светлым, задушевным, одобряющим путеводным голосом... Немалую долю в вынесенных из студенческой жизни добрых началах товарищи Николая Александровича заняли из его прекрасной, даровитой, любимой нами всеми до страсти благородной души. Не берусь решить, что потеряла литература в *—бове*, но мы, товарищи по институту, с Николаем Александровичем Добролюбовым потеряли много смелых надежд, много светлых упований, потеряли красу и честь нашего молодого студенческого кружка, гордость и утешение нашего курса.

А. П. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

I

⟨ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⟩

— Ты к нам в академию? — спрашивали меня товарищи ⟨по⟩ Медицинской академии.
— Нет, в институт.
— Помилуй, туда в прошлый раз с перекрестков ловили! Как не стыдно?

(1853 г., август)

Однако я поступил в институт, и, кроме меня, много других, и многим другим было еще отказано. Такому наплыву молодых людей в институт способствовали совершенно не зависящие от него обстоятельства, именно: учреждение штатов в университетах и академии, вследствие чего многие из господ, не поступивших ни в университет, ни в академию тоже по не зависящим от них обстоятельствам, шли в институт. Институтское начальство могло сделать выбор между желающими поступить, и, к несчастью для него, оно выбрало и таких людей,

которые положили конец безобразному владычеству его. В числе поступивших был и Добролюбов. Признаюсь, для нас, не знакомых с миром духовной академии, личность Добролюбова сначала была совершенно неизвестная, как и все другие, а впоследствии несколько загадочная. Случайно он поместился в так называемую Синевскую камеру[1], которая вся состояла исключительно из воспитанников семинарий.

Чувствуя себя совершенно в своей сфере, они перенесли с собой бурсацкую жизнь и в институтскую жизнь. Постоянно слышались голоса дискутирующих господ, и яснее всех голос Синева с провинциальным акцентом. О чем они там рассуждали, бог знает, вероятно, впрочем, о вздоре, ибо лучшие из них, каковы Добролюбов и Конопасевич, не принимали в этих разговорах никакого участия.

Помню, они рассуждали о заслугах Лоренца. Они очень хвалили его, хоть он читал и по-немецки и никто из них не записывал его лекций, и очень жалели, что правительство не знает о его заслугах и не жалует его генералом. В самом деле, они очень жалели, что он не действительный статский советник.

«Вот люди,— говорил мне по этому поводу Добролюбов,— как дико смотрят на предмет. Допустим, что он заслуживает уважения за свою деятельность, но неужели для профессора уважение должно выражаться в чинах и орденах?»

Вместе со страстью к диспутам товарищи по камере Добролюбова внесли в институтскую жизнь поклонение авторитетам. Одни нашли своих богов в тамошних профессорах, другие принесли свои пенаты из своих домов. «Черт ли здесь за профессора,— говорил костромич.— То ли дело у нас был Агафоныч. Бывало, начинает объяснять, например, о следствии грехопадения прародителей, и вдруг делает обращение к природе: «Смотрите, какой вихрь» и т. д. Прелесть!» — «Ну ж, нашел прелесть! Степан Сидорович,— говорит смолянич ⟨?⟩,— хоть и не красноречиво, но сообщает много дельного».— «Поди ты с Степаном Сидоровичем,— говорит москвич,— то ли дело Шевырев». Что за понятия у этих господ. Уж вспоминали бы действительно о ком-нибудь хорошем и хвалили бы действительно хорошее, а то толкуют тут о Шевыреве да выставляют еще на вид семинарии».

Впрочем, все эти замечания Добролюбов высказывал не в спорах, а при встрече со мной. К спорам он был равнодушен. По крайней мере я всегда видел ⟨его⟩ на краю стола, с очками большею частию на лбу, с одной рукой около груди, а другой — переворачивающей Вергилия [2]. Может быть, в своей камере он и был известен, по крайней мере наша камера совершенно равнодушно относилась к нему, как к лицу еще не знакомому. Вначале он не выдавался почти ничем среди однокурсников, и его мало замечали ⟨?⟩, но вскоре прекрасно составленные им лекции по русской словесности обратили на него внимание начальства, а вслед за ним и тех, которые дорожили мнением начальства. С ним стали знакомиться и из нашей камеры, составленной лишь из гимназистов, не совсем дружелюбно смотревшей ⟨?⟩ на соседнюю камеру. Прежде всего стали фамильярны с ним те господа, которые нуждались в посторонней помощи при составлении лекций. Одинокие беседы с Вергилием стали уже теперь прерываться докучливыми просьбами товарищей о помощи, которую, впрочем, он оказывал без всякого неудовольствия. Обыкновенно он давал свою тетрадку. Взявший тетрадь переписывал себе. Добролюбов восполнял пробелы своей тетради и поправлял слог переписавшего. Лекция, во всяком случае, была уже составлена со смыслом, а если составитель мало-мальски владел пером,— при помощи этой тетради Добролюбова составлялись лекции всегда очень хорошие.

Окончательно популярностью в институте стал пользоваться Добролюбов после сочинения о Вергилии подлинном ⟨?⟩ или ⟨нрзб.⟩. Сочинение, как отличное, передано было Ваньке [3], бывшему профессору элоквенции, автору четырех частей чтений словесности, председательствующему в 2-м отделении Академии наук. ⟨Ванька⟩ пользовался всяким удобным случаем, чтобы произнести речь, в которой бы можно было похвалить и себя. По поводу сочинения Добролюбова он распространился длинной речью, расхвалил его, сказал, что он давал его читать П. Ал. Плетневу, который тоже в восторге от него, что оно, наконец, будет напечатано в «Известиях» [4]. Сочинения, кажется, он возвратил и в «Известиях» не напечатал. Но он об этом, конечно, не думал. Ему нужно было показать сочинение академикам, что, дескать, вот какие сочинения *у меня* в институте пи-

шут, и объявить о том же во всеуслышание перед всеми студентами. Цель достигнута, чего же больше?

Такое внимание начальства не изменило, впрочем, поведения Добролюбова в его отношениях к товарищам. Товарищи за ним ухаживали, но он не играл между ними роли покровителя и, как говорили, не драл носа. Он как будто нарочно стал вести ⟨себя⟩ даже «неприлично» для ученого человека. Стал похаживать к нам в камеру, садился с кем-нибудь в уголок, безопасный от взоров начальства, и начинал убивать время в игре ⟨?⟩ в табельку. Что касается до меня, то я никак не могу объяснить такого поведения Добролюбова. Спустя год у нас в институте в высшей степени развилась карточная игра, бывало чуть ли весь институт занят этим — одни играют, другие созерцают игру. Добролюбов *никогда*, сколько мне помнится, не садился играть, имел терпение заниматься чем-нибудь, несмотря на то, что недавно пообедал и в камерах все шумят за картами.

Не знаю, зависело ли это от сочинения ⟨?⟩ или было следствием развивающейся в молодом юноше потребности знать, но только вслед за сочинением он начал делать возражения профессорам. Это было очень любопытно и чрезвычайно комично. Сколько мне помнится, случай этот рассказан им профессору риторики Архангельскому [5]. Ему вздумалось узнать мнение профессора о Гоголе. Профессор отвечает вопросом — кончил ли Гоголь «Мертвые души»? Добролюбов уклоняется от ответа на этот вопрос и снова предлагает ему прежний вопрос. Профессор тоже не отвечает и предлагает свой вопрос. Наконец Добролюбов сказал, что нет. «Ну, что же вы и спрашиваете меня о «Мертвых душах», когда сочинение не кончено». После этого он еще раз решил спросить другого профессора о Гоголе. Профессор этот был удивительный краснобай, целый год он говорил без устали, некогда было даже репетиции сделать, а все сказанное Добролюбов записал на трех четвертках. На лекции по педагогике [6] он, как говорят, ни к селу ни к городу начал говорить о Гоголе, о Вильмене, который будто бы во французской академии говорил речь о нем, называл его великим. Добролюбов поинтересовался узнать подробнее отзыв Вильмена и спросил об этом профессора. Тот покраснел, однако «нашелся»: «Вильмен называет Гоголя Гомером, так и говорит: „Он Гомер“». И в самом деле, начинает даже декламировать

профессор, не Гомер ли он? Какие у него гомерические выражения! Известно, что Гомер отличается пластичностью выражений. Посмотрите на Гоголя, припомните сцену свидания Чичикова с Плюшкиным, начинается бесконечной длины ⟨нрзб.⟩ рассказ свидания и объяснение слова: *на деревянном лице.* «Не правда ли, как это хорошо!» — «Ну, разумеется, хорошо». Признаюсь, такие ответы могли отбить всякую любознательность в молодом человеке, и у нас после того никто не возражал. Вместо этого Добролюбов [удачно пародировал их, пародии подслушивались и нередко во время приготовления к репетициям].

Случалось, что пародию он записывал на лекции, и эта пародия гуляла по институту. Впрочем, записанных на лекции пародий у него было немного, и если были, то по преимуществу по педагогике. К несчастью, все тетради по педагогике он уничтожил, а они могли бы служить богатым материалом для определения юмористического направления в Добролюбове, которое впоследствии обнаружилось в нем как редакторе «Свистка».

В первые месяцы своей жизни в институте Добролюбов жил совершенно особняком; он ни с кем особенно ⟨не⟩ был дружен, несмотря на то, что многие, как я уже говорил, ухаживали за ним и кличкой-полуименем «Николка», «черт» указывали на свои, по-видимому, слишком ⟨?⟩ близкие отношения. Я уже имел случай говорить, что занимало его товарищей по камере. Другие товарищи по факультету, за очень немногими исключениями, были ничуть не лучше. Несколько человек было из петербургских гимназий и между ними из пансиона 3-й гимназии. Мальчики, по-видимому, чистенькие, но, в самом деле, грязные школьники. У всех у них была развита удивительная страсть к циническим рассказам и анекдотам. И в то время, когда в соседней камере рассуждали, положим, о заслугах профессоров, в нашей камере шли рассуждения о публичных женщинах, о школьных ⟨?⟩ проделках на Невском проспекте, в «Пассаже». К этому милому обществу приставали многие семинаристы, и я ничего не могу найти безнравственнее этих бесед. На нашем факультете были двое немцев — совершенно не знавших слов, неупотребительных в печати. Бывало, большое наслаждение доставляло читать и объяснять им такую мудрость. «Васька, Васька»,— в наивном восторге кричали некоторые своему отсутство-

вавшему товарищу, когда кому-нибудь из них удавалось разъяснить какую-нибудь скандальную картину и возбудить в непонимающих немцах животную сторону. Я говорю здесь о молодых людях, которых голоса были слышны в институте, которые собирались для дружеских бесед. Но были люди одинокие — бобыли, не имевшие никакой возможности пристать ни к тому, ⟨ни⟩ к другому кружку.

Многие из этих господ живы, и только некоторые из них померли. С ужасом, может быть, прочтут они свой портрет, нарисованный мрачно. Может быть, осердятся на меня, назовут неблагодарным и неблагородным. Может быть, некоторые люди, и почтенные и умные, обвинят меня в низкой передаче закулисной истории Педагогического института. Как ни коротка моя самостоятельная жизнь, но я уже привык к подобным обвинениям. Они меня нисколько не тревожат. «Я удивляюсь,— говорил как-то Н. А. по поводу институтских сплетен об авторе статьи о Главном педагогическом институте,— узкости господ, которые ставят свою личность в зависимость от места, где они учатся или служат». Слова эти для меня очень памятны, и я до сих пор держусь правила не скрашивать дурного вследствие одной только близости его к моей личности.

Разъединенность студентов, какое-то бестолковое препровождение времени, мелочность интересов его истинно ⟨?⟩ печальна. К счастью для студентов, между ними попал человек энергический и с замечательно энциклопедическим образованием. Я говорю о Щеглове. Он сын священника, воспитывался в семинарии, откуда был выгнан, как сам он выражался, поступил в Новгород-Северскую гимназию, где кончил курс *с отличием.* Не удивительно, что в нем развилась непримиримая ненависть к семинарской закваске, и он относился ко всему этому чрезвычайно резко. Семинаристы возненавидели Щеглова, гимназисты сгруппировались около него, как около человека, способного ⟨нрзб.⟩. Но они очень ошиблись, его оппозиция против семинаристов основывалась не на том, что он гимназист, а те семинаристы, а имела серьезные основания. Я уже положительно охарактеризовал семинаристов в институте. К этому прибавлять нечего, разве то, что они все были ⟨нрзб.⟩ *православны.* «Ах, если бы удалось мне поцеловать ручку Николая Павловича, я бы, кажется, заплакал»,— говорил один господ-

дин во всеуслышание всех. Не знаю, имел ли Щеглов в виду определенную цель — реформировать студентов или без всякой определенной цели сделался реформатором.

Чувствуя, что он вовсе не авторитет для семинаристов, что они упорнее еще держатся старых понятий, потому что их проводит Щеглов, Щеглов старается сблизиться с семинарскими авторитетами и чрез них уже пропагандировать новые идеи между семинаристами. Сначала он встретился с Ароматовым — авторитетом. Он был человек думавший и начитанный по предметам семинарского курса. Щеглов сначала было сошелся с ним. Но они друг друга не поняли. Вследствие чего они разошлись, я не знаю; знаю только, что на науку и самые занятия они смотрели различно,— один, например, вовсе не видел нужды ставить науку в соотношение с жизнью, другой иначе и не мог смотреть на науку. Они разошлись, и, вследствие особенностей натуры, Щеглов начал ругать Ароматова дураком; тот только указывал на поступок Щеглова по отношению к нему и этим несравненно больше выигрывал в глазах своих товарищей, чем Щеглов. Неудачное сближение с одним авторитетом не остановило Щеглова, он обратился к Добролюбову, сошелся с ним и *казался* * самым близким другом его до самого окончания курса. Это замечательная пора жизни Николая Александровича. Это начало перемены в нем, перемены, во всяком случае, к лучшему. Интересно было бы узнать подробности сближения Добролюбова с Щегловым от самого Щеглова. Я же расскажу факты в таком виде, в каком они казались мне. В первую пору они, можно сказать, были неразлучны, даже в спальне они поставили кровати рядом, вопреки институтскому порядку. Люди порядочно ⟨?⟩ покачивали головами, видя такую их дружбу.

Все очень хорошо видели перемену в Добролюбове по сближении с Щегловым, и многие жалели, что Добролюбов вошел в дружбу с таким мерзким человеком, как Щеглов. Добролюбов в это время серьезно занялся французским языком, и вместо Вергилия у него являются в руках сочинения Руссо, Прудона, появляется белая книга, в которую он вписывает в алфавитном

---

* Я говорю — казался, потому что Щеглов сам отрицает эту близость.

порядке имена писателей с перечнем статей, которые он читал, и с указанием, где они напечатаны; свободное от занятий время [он не проводит в картежной игре, как было прежде]; он все менее и менее имеет свободного времени и посвящает его на разговоры по преимуществу с Щегловым, все чаще и чаще начинает отлучаться в Публичную библиотеку. В это время он сделался общительным со своими товарищами; он дружит с поляками, которые, впрочем, не очень-то дружелюбно приняли его. В это время, не знаю от кого-то ⟨?⟩, он стал носить в институт «Отечественные записки» и «Современник» времен Белинского. Потом он носил от Крашенинникова[7] в зеленом переплете. Я брал у него эти книги, толковал с ним по поводу статей Белинского, и это послужило началом нашего сближения с ним. Помню, бывало, придет к нам в камеру с книгой Белинского, читает, я тоже читаю, потом поднимает очки и отпускает такую фразу: «Ведь все это было читано и прочитано прежде, но теперь все читаю как будто новое». Время это было — 1854—1855 годы, которые и теперь называют великими годами нашего учения.

Мы поступили ⟨в институт⟩ в самом начале разгоревшейся тогда войны и, конечно, совершенно чужды интересов политических. У нас было больше патриотов, чем людей, мало-мальски знающих что-нибудь о других европейских государствах, и о начинавшей разыгрываться драме мы большей частью судили по слухам. Щеглов *первый* подал мысль выписывать по подписке газеты[8] — «С.-Петербургские ведомости». Не могу не вспомнить довольно комической сцены, которая произошла между студентами по поводу толков, на чье имя подписать. Было какое-то общее опасение принять подписку на свое имя, и чуть было не решились за известную плату подговорить швейцара выписывать газеты на свое имя, и все-таки кончили тем, что дали денег швейцару для того, чтобы он ловчее передавал нам газеты. Увы, на чтение газет мы смотрели как на контрабанду. Вслед за газетами в институте начали появляться памфлеты — «Юрьев день», «К дворянству», «Емелька Пугачев», ненапечатанное стихотворение «Русский царь»[9], сочинения Герцена. Все это читалось ⟨?⟩ студентами с увлечением, переписывалось. Добролюбов ко всему этому относился с видимым равнодушием. Все это он читал, как давно ему известное, и, тогда как другие переписы-

вали все это, он пускался в рассуждения о *глупости* переписывать: «Я прочел, мысль мой ум схватил, зачем же я буду хлопотать о сохранении формы», или же убеждал, что все эти памфлеты вовсе не Герцена. Теперь достоверно известно, что «Юрьев день», «К русскому войску в Польше» не Герцена[10], но тогда едва ли было известно это Добролюбову. Вероятно, он наравне с другими ошибался в авторе этих памфлетов и лгал против себя с какой-нибудь особенной целью. По крайней мере в жизни Добролюбова я помню два случая его намеренной лжи. Раз кто-то принес «Шарманку» Некрасова[11]. Не может быть, чтобы Добролюбов этого не знал. Тогда уже он был знаком с Некрасовым. Он с упорством доказывал, что «Шарманка» не Некрасова, и очень досадовал, что такую *глупость* приписывают ему. Он при мне серьезно разбирал нелогичность этой пьесы. Другой раз это было о статье об акте Педагогического института[12].

Мне кажется, что Добролюбов, сам будучи авторитетом для многих господ, своим равнодушием к статьям, пользовавшимся всеобщим увлечением, хотел заставить увлекавшихся юношей принимать статьи и восхищаться ими не потому, что они запрещены, не потому, что их писал знаменитый эмигрант наш Герцен или поэт Некрасов, а потому, что они действительно по своему содержанию заслуживают этого. По крайней мере он очень не любил за либеральничанье одного из студентов — Колоколова, который благоговел перед ним, каждое слово его считал святым и очень нередко подкуривал ему. «Для меня нет ничего отвратительнее тех господ, которые высказывают такой или другой образ мыслей не по убеждению, а по стечению обстоятельств. Ведь вот тоже либеральничает, ругает Ваньку, Андрюшку[13], а в то же время расшаркивается с ними именно так, как им всего более нравится». Может быть, среди увлекающихся людей он именно видел людей, увлекающихся общим мнением и своим резонерством ⟨?⟩, хотел заставить обратить внимание на содержание. Впрочем, «Забытую деревню» Некрасова он сам принес от какого ⟨?⟩-то цензора и не скрывал имени автора. О «Забытой деревне» впоследствии он рассказывал довольно курьезный случай по поводу запрещений. Сообщивший Добролюбову «Забытую деревню» цензор донес за нее на Некрасова III Отделению. «Ведь вот из-за Владимира четвертой степени хлопотал, да не дали мошеннику».

Вскоре после сближения с Щегловым у Добролюбова умерли сначала мать, потом отец. Дневник, напечатанный в «Современнике», очень ясно представляет влияние этого обстоятельства на перемену религиозных убеждений Добролюбова. «Вот он, твой-то бог,— сказал он Радонежскому в первую встречу с ним после смерти отца,— верь в него». «Знаешь что,— сказал он мне,— мне предстоит удовольствие быть священником».— «Как так? — спросил я с наивностью и еще более наивно заметил: — Да теперь уж нельзя, ты уволен из духовного звания».— «Нет, это ничего, а *другое*». Домашние обстоятельства, должно быть, очень занимали его, и в своих размышлениях он доходил до странного мистицизма. «Есть поверье,— говорил он,— что если снимешь с себя портрет, то скоро умрешь. Посмотри какое совпадение: мы с отцом отправились снимать портреты, он был здоров, и чрез несколько дней (я забыл время, а он мне говорил) отец мой помер». Это он говорил в то время, когда весь Петербург имел, может быть, по нескольку фотографических портретов, тем не менее был еще жив. Таинственное, мистическое настроение было у него не обыкновенно и может быть объяснено горем ⟨?⟩ и безвыходным положением, в котором он тогда находился. Но уже вскоре, гораздо чаще и резче, начинает он открывать неправославные убеждения, к большому горю лиц, искренно привязанных к нему и убежденных, что единственное утешение в таком положении человек может получить в религии.

Один из православных подходил к Добролюбову с такими же утешениями, и он разразился смехом, к немалому удивлению Радонежского. От безбожия Добролюбова Радонежский отхаркивался, плевался, а это еще более подстрекало Добролюбова подтрунивать над убеждениями Радонежского. Споры эти впоследствии получили определенное значение — Радонежский думал обратить Добролюбова на путь истины, Добролюбов, с своей стороны,— Радонежского. Все это происходило громко ⟨?⟩ и кончилось ничем. Радонежский остался каким был прежде и до сих пор не понимает насмешек Добролюбова. К ним иногда подходили другие, то тот, то другой, и, не желая ⟨?⟩ подпасть под сарказм Добролюбова, приставали к стороне Добролюбова. Так образовался около него кружок людей, которые после получили название добролюбовской партии. Очень много из этих

людей, в душе сочувствующих совершенно противному, были и такие люди, которые еще не определили своих сочувствий. Все они благоговели пред Добролюбовым, он служил для них высшим авторитетом, хоть и старались скрыть свои лакейские отношения к нему фамильярным обращением с ним: «Николка», «черт» и т. п. Настоящую цену многих из них он уже понял по выходе из института и только немногих — в самом институте. Тем не менее среди этих людей созрела мысль о коренной реформе института и о плохом современном его состоянии. Руководимые Добролюбовым, который, впрочем, был посредником и разъяснителем идей Щеглова, они анализировали до малейших подробностей недостатки института и, не женируясь *, говорили об этом гласно. Добролюбова и Щеглова начальство сочло самыми злонамеренными и вооружилось против них всею силою своей власти. Смешно и грустно становится припоминать эту борьбу, борьбу всесильного деспота, старающегося в своих преследованиях быть законным.

Помню, все мы сидели, кажется, на лекции по педагогике или по догматическому богословию, куда собирались все факультеты.

Вдруг замечаем мимику нашего Никитича; [14] выходит Добролюбов, возвращается бледный, что-то шепчет вокруг себя товарищам, по аудитории раздается шепот. По выходе узнаем, что у Добролюбова и Щеглова в ящиках был обыск, но что нашли — оставалось пока неизвестным, так как Добролюбова посадили под строжайший арест [15], а Никитич с Андрюшкой об этом деле говорили своим протеже с мимикой, которую всяк мог понимать как ему было угодно. В институте все знали, что у Добролюбова всегда были запрещенные сочинения, предполагали, что Ванька открыл их, и с ужасом ждали конца развязки. Как ни строг был арест, но деньги успели взять свое. Добролюбов подкупил солдата отнести записочку к Н. П. Турчанинову (кажется), в которой была вложена записка для пересылки по городской почте записки Галахову, брату обер-полицмейстера. Об этом если и знали, то очень немногие. Вдруг вечером не в обыкновенное время раздаются мычание и шаги Ваньки, он отправляется по институту с каким-то господином в больницу. Снова ожидание и шепотливые толки. На

* Стесняясь (от *фр.* gêner). — *Ред.*

другой день освобождают Добролюбова. Узнаем, был обыск, но ничего не нашли, исключая какой-то невинной книги (забыл), взятой у Галахова, и невинного запрещенного стихотворения, принадлежащего одному из товарищей. Как бы то ни было, но нашествие Ваньки было д⟨овольно?⟩ странно, по всему видно было, что он шел наверняка. Он был уверен, что откроет много, что послужит предлогом к удалению Добролюбова из института. Надо видеть, с какой тщательностью они всё пересматривали, развертывали каждую бумажку, каждую четвертинку, не спрятана ли там какая-нибудь запрещенная мысль. А ведь вчера только ⟨Добролюбов⟩ отправил из института очень много таких вещей. Очевидно, об этом было донесено Ваньке, и вот причина. Мнение о доносе было общераспространенное, и доносчиком Добролюбов считал *Зыкова.* Все этому поверили и под первым впечатлением стали придумывать ему наказание и выбрали такое, которое было для него не тяжелым. Решили с ним не говорить, но не говорили только те, которые были близки к Добролюбову и которых было очень немного, так что Зыков и не замечал их презрительного молчания. Вскоре и эти господа нарушили молчание.

«Как же ты благополучно отделался от ареста?» — «Да так, случай»,— и он рассказал историю письма к Галахову. Ванька и тут не обошелся без фразы. «С чего вы взяли,— сказал он Галахову,— что я его пошлю в приходские учителя. С таким вредным направлением (я не могу в этом случае подделаться под тон Ваньки) я не могу его послать в учителя, да и с чего вы взяли, будто наша обязанность состоит в том, чтобы выгонять нехороших. Напротив, исправлять нехороших и тогда уже выпускать их из института».

После этого Добролюбов сделался сосредоточенным и редко выходил из этого положения до самого окончания курса, прекратилась его пропаганда с гомерическим смехом; с своими близкими они наняли квартиру и туда собирались для различных толков. Я не участвовал в этих собраниях и имею очень отрывочные сведения. Знаю только, что общество, собиравшееся там из таких богатых людей, как в то время Добролюбов, делало складчину, и посылали деньги несчастным студентам Медико-хирургической академии, сосланным в фельдшеры за донесение о беспорядках по академии не по начальству.

Раз как-то я подхожу к Добролюбову. Он сидит с академическими второго отделения «Известиями». «Смотри»,— говорит, указывая на первую страницу. Я читаю труды академиков — имена, членов-корреспондентов — имена, посторонних ученых — имена, и в том числе Н. А. Добролюбова. Он, по обыкновению, расхохотался и указал на составленное им к «Известиям» оглавление, доставившее ему от редактора академических известий название «ученого». Алфавитные указатели были первые его печатные труды. Надобно было видеть всю кропотливую добросовестность в составлении указателя. «Охота тебе возиться с такой дрянью».— «Экой, братец, ты. Я за это получил тридцать рублей»[16].

Каким образом отдал он в печать статью о «Собеседнике любителей российского слова» — я не знаю. Вероятно, в этом случае он руководствовался тоже денежными расчетами. Кажется, ни от кого не встретила сочувствия эта статья, и сам он, кажется, очень мало сочувствовал этой статье[17]. В «Свистке» он сам пародировал деятельность Лайбова, очевидно имея в виду статью о «Собеседнике...» «Если что и есть интересного,— говорил я,— так это три первые страницы, а дальше, право, нет терпенья читать». Он ничего не возражал, а потом как-то сказал мне: «Ты ничего не находишь, а вот, например, Тургенев нашел и изъявил желание со мной познакомиться»[18]. Жаль, я мало знал историю Екатерины, а там только говорили намеками. В литературном мире «Собеседник» вызвал на борьбу Галахова. Галахов разразился большой статьей против Добролюбова, стараясь разбить его в пух и прах. Добролюбов написал ему юмористический ответ. «Видишь, какой чести я удостоился за „Собеседник“»,— говорил он мне по поводу статьи Галахова. Точно так же за эту статью честили его и другие ученые. «Обо мне говорят в ученом обществе, говорят, что я мальчишка, ничего не понимаю, не понимаю пользы библиографии»; чуть ли это не было говорено у Щербатова, о чем сообщает Панаев, только в совершенно противоположном смысле[19]. Весь этот шум в журналах и ученых собраниях вышел по недоразумению. Галахов, бичуя Добролюбова, вовсе не подозревал, что он делает, и, как сам признавался, он никогда бы не поднял такого шума, если бы не думал, что статья написана Стоюниным.

«Вообрази,— шутливо говорил Добролюбов, передавая дошедшие до него вести,— все это делалось по поводу *имени*, а не по поводу *статьи*, и если б Галахов знал настоящее имя автора, то и не написал бы!!» С этого времени мысль о литературной деятельности, должно быть, начинает занимать его. Подписка начинает расширяться в институте. Кроме газет «С.-Петербургских ведомостей», «St.-Peterburger Zeitung», которым ⟨нрзб.⟩ Щеглов, под влиянием Добролюбова стали выписывать журналы: «Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки». По малочисленности партии Добролюбова подписка шла по три рубля с человека. Значит, участвовавших было всего пятнадцать человек. Добролюбов еще не пускался в журналистику, но видно было его искреннее желание. Статья Боткина о Фете тотчас же пробуждает в нем желание обличить ее в неосновательности, и он пишет антикритику; также он написал критику на статью о пословицах Буслаева[20], напечатанную в «Архиве...» Калачева[21]. Я не помню хорошенько их содержания, помню только, что обе статьи проникнуты были саркастической насмешкой и здравым взглядом и пониманием предмета. К несчастью, я не имею под руками ни одной из этих статей, а то они, может быть, напомнили бы содержание статьи Добролюбова. Статья Боткина в высшей степени туманная, отличающаяся стереотипными фразами, вроде того — как это хорошо! Только поэт может так написать, и только человек с эстетическим вкусом может чувствовать, как это хорошо! Такие фразы служили материалом для насмешек над Фетом и после. Часто он декламировал из Фета стихи, и между прочим:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Милого лица и т. д.[22]

Ведь смыслу нет, а сколько поэзии!

В статье на Буслаева он очень едко нападал на увлечение его различными сближениями и выводами, на которые впоследствии напал Чернышевский в своей статье[23]. Буслаев, например, из пословицы: «Венчал вокруг ели, а черти пели» — выводит, что славяне совершали свои свадьбы в лесах, вокруг ели. В параллель этому Добролюбов на основании тех же пословиц доказывает, что русские молились лопатам, веникам и т. п.

вещам[24]. Живое, проникнутое свежим взглядом на предмет изложение, за которое впоследствии получил он известность в литературе, заставило меня спросить, отчего же он их не напечатает. «Ты думаешь, это очень легко,— я отдал статью о Буслаеве в «Отечественные записки», но там не приняли, потому что здесь задеты Буслаев и Афанасьев, а они хорошие вкладчики в „Отечественные записки“»,— так статья и осталась ненапечатанной.

«Впрочем,— добавил,— это ничего, по крайней мере через нее я познакомился с Чернышевским»[25].— «Как так?» — «Чернышевский в то время был при «Отечественных записках», прочитывал статьи, которые назначались в печать; ему-то и досталось читать; он хоть и не велел печатать, но захотел со мной познакомиться».

Статьи Чернышевского в «Современнике» о критике гоголевского периода[26] сделали популярным его имя и между студентами. Имя Чернышевского сделалось неразлучным с именем Белинского, о котором он стал говорить в то время, когда студенты института не могли в Публичной библиотеке взять «Отечественные записки» потому только, что в них печатался Белинский.

Статьи Чернышевского произвели умственное движение в институте, все с жаром бросались к его статьям и очень наглядно увидали из сравнения наших записей с статьями его — педантизм и мертвящую схоластику первых. В нашем малом мирку институтском случилось то же, что теперь в кругу университетском. С голосу Чернышевского мы перестали считать гениальным то, что не имело *смысла*, а называли настоящим именем; равным образом мы не восхищались блестящей шумихой слов без всякой мысли. Вследствие чего между немногими студентами исчезло святое рвение переписывать тетрадки лекций, готовить репетиции чуть не ежемесячно, но вместе с тем участились путешествия в Публичную библиотеку, несмотря на строгие против этого эдикты со стороны Ваньки. Неприятности между начальством и студентами росли. Что думал Ванька — не знаю, но только на экзамене с Срезневским он очень громко говорил о развращающем значении статей Чернышевского, точно так же, как теперь «Русский вестник» и «Северная пчела»: «Помилуйте, на Шевырева напал. У него только один недостаток, что пишет стихи! Что нашел хорошего в Надеждине? Какое теперь вредное направление раз-

вивается в литературе, да и что от нее ждать хорошего. Кто нынче писатели? Мужик или семинарист?» Добродушный наш Никитич ничего не понимал, что у нас делается в институте, и в простоте сердца думал, что все это от книг и Чернышевского. С наивным сожалением он советовал нам бросить чтение «Современника», Гоголя и обратиться к чтению «Северной пчелы» и произведений Булгарина. Странный человек этот Никитич. Он вовсе не был враждебен к студентам, он скорее сочувствовал им, однако он постоянно ругался с нами и нередко преследовал...

⟨1862⟩

II

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Отрывок

10 февраля, суббота ⟨1862 г.⟩

...«Для меня всегда кажется странным,— говорил он мне в 59 году в квартире на Моховой,— о чем могут говорить люди, хорошо закомые. Когда у них есть дело, ну еще они могут говорить *о деле*, а то разговор сбивается на пустяки. Вот, например, мы с Николаем Гавриловичем Чернышевским; в конце месяца у нас есть деловые разговоры, а то занимаемся пустяками — он, например, смеется надо мной — называет сыном Беллоны[1] (я тогда носил усы) и т. п...» Слова эти он говорил мне в ответ на мою повесть о рязанской жизни, об освежающем действии его и Николая Михайловича Михайловского;[2] писал и в ответ на мою просьбу продолжать переписку: «Ты говоришь о пустоте и бессодержании рязанской жизни, с которой мог бы знакомить меня... Будь уверен, что и петербургская жизнь такая же. И вы и мы в своей деятельности останавливаемы одной стеной, только она от вас подальше, но зато хоть смотреть-то вашим глазам не так больно, как нам, у которых эта стена пред самым носом». Не знаю, насколько были счастливее другие. «Ведь это черт знает что. Вздумал я Ивану Ивановичу Бордюгову написать из-за границы письмо и в ответ получаю: дорогие строки

твои обошлись мне буквально по десять копеек. Ну, изволь тут расписываться»,— говорил он мне во Владимире летом, в ожидании дилижанса, который должен был отправиться в Нижний через два часа. Мне почему-то показалось небесполезным привести эти слова, хоть они, кажется, и не совсем вяжутся с делом.

Д. В. АВЕРКИЕВ

РУССКИЙ ПУБЛИЦИСТ

(Памяти Н. А. Добролюбова)

Отрывок

...Расскажу, во-первых, мое личное знакомство с ним. Я не намерен при этом распространяться, а упомяну только о двух разговорах, довольно, по моему мнению, характерных. Притом же читатели со временем узнают, наверно, из литературных воспоминаний г. Панаева: крепко ли жал Добролюбов руку своим знакомым, и какие носил волосы, и множество тому подобных интересных подробностей.

Я знал Добролюбова в то время, когда он был еще студентом Педагогического института. Он заходил тогда часто ко мне, в особенности по субботам и воскресеньям, избегая исполнения некоторых обязанностей[1]. Раз я, помню, предложил ему почитать только что приобретенную мною «Romanzero» Гейне.

— А что здесь есть замечательного? — спросил он.

— В каком смысле?

— Разумеется, не в художественном.

Я указал ему.

По выходе его из института мы не встречались: я ездил в тот год на Кавказ и потерял его из виду. Потом я видел его только раз, у него, года три-два тому назад (хорошенько не помню), зайдя к нему с одним из его бывших товарищей.

— Вы часто бываете у N? — спросил он, между прочим, про одного общего знакомого.

— Да, по-прежнему.

— Удивляюсь, как вы ходите к нему. Разве вы не читали его книги?[2]

— Читал; что же?

— Вот полюбуйтесь этой страницей.

Я отвечал, что уже любовался этой страницей; что страница действительно скверная, но что я не вижу еще причины прерывать знакомство из-за нее.

— Да ведь человек, написавший ее, не знает, что делает.

Я стал оправдывать N и объяснять Добролюбову, как страница эта попала в книгу N. Мы поспорили.

— Я,— сказал в заключение Добролюбов,— скорее прощу частную ошибку, но не общественную. Ошибайся сколько хочешь, но когда пишешь, то будь честен: не развращай других.

Я отвечал, что литературные занятия считаю таким же делом, как и другие, и что, по-моему, ошибка — везде ошибка, и что коли уж не извинять людей обстоятельствами, то лучше совсем не извинять.

26 ноября 1861 г.

«СОВРЕМЕННИК». ПОЕЗДКА В СТАРУЮ РУССУ. ЗА ГРАНИЦЕЙ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Отрывки

...Я не встречал человека с более сильным и светлым умом, чем какой был в Николае Александровиче. Но при этом было в нем такое живое сердце, что чувство постоянно служило ему первым возбудителем и мыслей и дел. От этого его убеждения и намерения всегда были реальны, его стремления всегда были чрезвычайно определенны — определенны до конкретности, и, при всей беспредельности своей теоретической программы, он все силы свои обращал на исполнение той части ее, которая могла быть осуществлена непосредственно, чтобы эта частная перемена служила средством для осуществления дальнейших замыслов. Пользуясь представившимся фактом его жизни, я хочу представить пример свойственного ему хода мыслей.

Ряд их начинается конкретным фактом: умерла женщина, смертью которой расстроена жизнь многих людей, и навсегда опечалены некоторые из них. Она умерла от неудовлетворительности отношений, в которые была поставлена. Не годится, чтобы оставалось так. Обстановка человеческой жизни должна быть изменена, чтобы не умирали преждевременно люди. Но в этом общем стремлении к пересозданию всей человеческой жизни остается ему памятен частный факт, возбудивший все стремление в нем. Дело шло о женщине, для которой теперь все зависит от семейных отношений. А в семейных отношениях тяжеле всего теперь грубость отношений всякого старшего к младшим. Потому ненависть сосредоточивается на грубом авторитете, господствующем над патриархаль-

ною семьею. Вот объяснение страстной силы, с какою восставал Николай Александрович против него, заклеймив его именем самодурства. Из сердца, обливавшегося кровью, лились его слова. Когда он писал, перед его мыслью неотступно стояли конкретные факты действительной жизни, стояли фигуры людей, с которыми он сроднился в жизни, скорбь которых он прочувствовал. Его статьи — как будто эпилоги к биографическим и автобиографическим рассказам. ⟨. . .⟩

Он был человек чрезвычайно впечатлительный, страстный, и чувства его были порывисты, глубоки, пылки. Мне довольно часто попадались люди, мучащиеся мыслью, что в них недостает именно тех способностей или качеств, которые очень сильно развиты у них. Например, покойный И. И. Введенский ужасно мучился тем, что у него слаба память. Но, кроме общих впечатлений моих, свидетельствовавших противное, я имел положительный случай видеть, что память у него чрезвычайно сильна: когда он готовился к магистерскому экзамену, он занялся при моем содействии славянскими наречиями, о которых не имел никакого понятия, и я видел замечательную быстроту и прочность, с какою врезывалось у него в памяти все, начиная от грамматических мелочей до тонкого подбора фактов для общих научных соображений. Точно так же находил довольно слабой свою память и Н. А., имевший изумительную память. Разумеется, мнимою слабостью своей памяти он не огорчался, потому что важность дела не в том, какова память. Но, подобно ему, бо́льшая часть встречавшихся мне людей замечательно твердого характера были мучимы собою за бесхарактерность.

Переходя от ложного недовольства собою за мнимые недостатки хорошего к подобным примерам недовольства мнимым недостатком дурного, каждый читатель может припомнить, как много встречал он людей изворотливого и фальшивого характера, недовольных собою за мнимый недостаток изворотливости.

Только очень немногие негодяи считают себя негодяями; огромное большинство людей этого разряда приписывает все свои неудачи в жизни только недостатку подлости в своем характере.

Эта иллюзия относительно собственных качеств объясняется очень просто. Человек, у которого есть сильная способность к чему-нибудь, имеет очень ясное

представление о том, что такое значит сила этой способности; он очень живо и рельефно представляет себе идеал ее, а перед идеалом факт действительно неудовлетворителен: и вот он считает себя слабым именно в том, в чем гораздо сильнее других людей.

Разумеется, такие люди только в этом последнем отношении ошибаются — только в том, что прилагают к себе мерку отвлеченного совершенства, пренебрегая мерять себя беспристрастным сравнением с другими людьми по качеству, недостатком которого в себе сокрушаются. Если они умны, то не трудно заставлять их сознаваться в этой ошибке, уличая в том, что качеством, за недостаток которого они порицают себя, они одарены сильнее, чем люди, признанные за богато одаренных тем же самым качеством. Так, бывало, делаешь с Н. А., когда он начнет слишком печалиться своею «бесчувственностью» или «бесхарактерностью».

— Ну, вот возьмите г. N или г. NN,— они известны как люди впечатлительные, живые или как люди твердые; ну что же, как вы думаете об ваших качествах сравнительно с ними?

— Еще бы сравнительно с ними не казался я вам человеком живым и твердым. Разумеется, я потверже их, и чувства у меня посильнее.

— Ну, за что же вы браните себя в таком случае?

— Да какое мне утешение в том, что другие хуже меня? Я хотел бы быть таким, каким сам хочу быть, каким мне нужно быть для довольства собою.

Но, кроме этого общего повода к иллюзиям подобного рода, было у Н. А. другое, частное основание воображать себя холодным и бесчувственным. Он имел чрезвычайно сильный характер. По обыкновению людей, одаренных таким характером, он считал себя лишенным твердой воли и, как я уже говорил, сильно мучился этим. Но, каким бы ни считал он себя, я расскажу со временем множество дел, доказывающих удивительную силу его характера, а теперь пока укажу на один факт, известный всей публике: никто никогда не действовал с такою полною независимостью от всех окружавших, как он. Никакие личные отношения не могли поколебать его, когда он считал нужным поступить так или иначе. Например, ему известно было, что я одобрял устройство диспута в «Пассаже» между гг. Смирновым и Перозио. Он очень хорошо знал, как неприятно мне будет обнару-

жение глупости этого дела, в котором разыграл я самую жалкую роль. Публика могла не знать, но мы с ним оба очень хорошо понимали, что его статья «Любопытный пассаж...»[1] убийственнее для меня, нежели для кого бы то ни было другого. Перечитайте же эту статью, смягчалась ли в ней насмешка привязанностью ко мне? А между тем он любил меня, я имею на это доказательства.

Но что указывать частные случаи? Литературный мир знает, как неизменно выдерживал он принцип: не сближаться ни с кем из тех, с кем не стоило сближаться по его убеждению. Тут напрасны были всякие просьбы. При этой твердости характера и при ранней привычке к обдуманному действованию Н. А. очень рано приобрел очень замечательную силу сдерживать внешние проявления своих чувств. Например, в течение четырех лет беспрестанных свиданий с ним (с лета 1856 г. до отъезда за границу) я только три раза был причиною или свидетелем того, что он изменялся в лице, вспыхивал и возвышал голос; а разумеется, были десятки случаев, в которых он сильно досадовал на тот или другой мой поступок, и были сотни случаев, когда разговор наш шел о предметах, волновавших его. Кроме трех случаев (из которых два уже рассказаны г. Пятковским в «Книжном вестнике»[2]), никогда не видел его теряющим власть над голосом, ни разу не видел делающим тревожные движения. Эту сдержанность он принимал за холодность, между тем как она только свидетельствовала о силе его воли.

II

ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ЗНАКОМСТВА С Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ

Милый друг.

Расскажу тебе некоторые из своих воспоминаний о начале моего знакомства с Добролюбовым.

Бывши учителем гимназии в Саратове, я познакомился с некоторыми из молодых людей, находившихся тогда в высших классах ее. Те из них, которым случилось попасть в петербургские учебные заведения, были частыми гостями у меня в Петербурге: одним из них

был Николай Петрович Турчанинов, юноша очень благородного характера и возвышенного образа мыслей. Он был студент Педагогического института.

Я в те годы довольно часто бывал у Срезневского. Он читал лекции по славянским наречиям в Педагогическом институте, как в университете. Однажды он рассказал мне, что два студента Педагогического института подверглись бедственной случайности: у них были найдены заграничные издания Герцена, Давыдов (директор института) хочет вести это дело формальным порядком; если будет так, они погибнут. Одного из них ему (Срезневскому) жаль только, как было бы жаль всякого погибающего молодого человека; это юноша, посредственный, скорее даже плохой, чем хороший;[1] но другой — человек необыкновенно даровитый и уже обладающий знаниями, обширными не по летам его; притом благородный; этого молодого человека ему очень жаль; и не ему одному из профессоров Педагогического института; он и некоторые другие профессоры Педагогического института решили настойчиво убеждать Давыдова бросить дело, по сущности своей ничтожное даже с официальной точки зрения, но при формальном порядке ведения его подвергающее гибельной судьбе попавших под него. Срезневский называл фамилии этих студентов; я плохо запомнил их. Через несколько дней Срезневский сказал мне, что ему и его товарищам удалось урезонить Давыдова; молодые люди избавились от беды. Избавились, то и прекрасно. Я совершенно перестал помнить эту историю.

Прошло довольно много времени, несколько месяцев, или год, или больше, не помню теперь; но много времени[2]. Однажды Турчанинов принес мне тетрадь и сказал, что его товарищ Добролюбов просил его отдать ее мне, чтоб я посмотрел, годится ль она для «Современника». Это была статья о «Собеседнике любителей российского слова». Турчанинов очень хвалил автора и говорил, что горячо любит его.

Не помню, тотчас ли, при Турчанинове, я прочел несколько страниц и тогда же сказал ему ответ или отложил тетрадь в сторону и сказал Турчанинову, что дам ответ, когда он зайдет в следующий раз. Помню только, что, прочитав две-три страницы, я увидел: статья написана хорошо, взгляд автора сообразен с мнениями, какие излагались тогда в «Современнике», и читать дальше нет на-

добности. И когда, в тот ли раз или при следующем посещении Турчанинова, я давал ему ответ, то дал такой: статья хороша, будет напечатана в «Современнике», и я прошу Турчанинова пригласить автора побывать у меня.

Через день или два пришел ко мне Добролюбов; один ли или с Турчаниновым, я не помню; если с Турчаниновым, то Турчанинов вскоре ушел,— то есть, может быть, через час или полтора, напившись чаю; и пока был тут, то не играл никакой роли в разговоре. Так ли или иначе, один или вместе с Турчаниновым, Добролюбов зашел ко мне в первый раз, но он просидел со мною очень долго один; пришли они вдвоем или пришел один он вечером; а часов с девяти мы сидели с Добролюбовым только вдвоем; если приходил с ним Турчанинов, то к этому времени ушел и остался (если так, то, разумеется, по моему приглашению остаться) один Добролюбов; и просидели мы с ним вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, часов до двух, и толковали мы с ним о его понятиях. Я спрашивал, как он думает о том, другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить ему. Дело в том, что по статье о «Собеседнике» мне показалось, что он годится быть постоянным сотрудником «Современника». Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о вещах понятиям, излагавшимся тогда в «Современнике». Оказалось, соответствуют вполне. Я наконец сказал ему: «Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Современника»; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником „Современника“». Он отвечал, что он давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить все ему и ему. Тогда я стал спрашивать его о личных его делах. Рассказав об отце, о своем сиротстве, о сестрах, он стал говорить о своем положении в институте; дошло дело до того, что он находится в опале у Давыдова по поводу того, что у него и Щеглова (не помню эту фамилию, кажется — Щеглов) были найдены заграничные издания Герцена. Только тут мне вспомнилась история, слышанная от Срезневского; «Так это были вы, Николай Александрович! Вот что! — Мысли у меня в ту же секунду перевернулись.— Когда так, Николай Александрович, то дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося в товарище по журнальной работе: эту статью, так и быть, поместим; одну статью можно утаить от Да-

выдова. Но больше не годится вам печатать ничего в «Современнике» до окончания курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишете в «Современнике», то беда была бы вам. Итак, когда кончите курс и станете независим от Давыдова, тогда и начнете постоянно писать для «Современника»; а раньше нельзя». Он возражал. Я, разумеется, остался при своем[3].

И не вполне выдержал решение, которое считал необходимым для безопасности Добролюбова. Через несколько недель он принес мне рецензию, написанную им об «Описании Главного педагогического института». Если чего не следовало для его безопасности печатать до окончания им курса, то, конечно, именно такой статьи. Но ему очень хотелось, чтоб она была напечатана, и я уступил. Дело сошло благополучно для него; статья была принята за написанную мною, как я и надеялся, уступая желанию Добролюбова[4].

Сделал я и другую уступку ему, но уж не такую неизвинительную: месяца через три напечатал его ответ Галахову;[5] предмет был безопасен для него.

Сделал, незадолго до развязки его отношения к институту и Давыдову, и третью уступку ему: напечатал его статью «О значении авторитета в воспитании». Эта уступка тоже извинительна: предмет статьи был безопасный для него. Притом до окончания курса Добролюбову оставалось так мало времени, что можно было иметь уверенность: дело не успеет обнаружиться[6].

Октябрь 1886 г.

III

ПИСЬМО К А. Н. ПЫПИНУ

Отрывок

⟨Вилюйск. 25 февраля 1878 г.⟩

...Добролюбова я любил как сына. Но что делает Добролюбов, кроме того, что пишет,— я не знал, пока данные мне от него, при отъезде в Старую Руссу, разного рода поручения оказались слившимися в одно поручение: «Вот там-то живет такая-то девушка»[1] и т. д.,

в этом вкусе. Я разинул рот: ничего подобного в жизни Добролюбова я не предполагал. Кончилось это тем, что я при его возвращении из Старой Руссы,— насильно, я его, который был тогда еще здоров и потому был вдвое сильнее меня,— насильно повел из вокзала, где ждал его,— в карету, насильно втащил по лестнице к себе,— много раз брал снова в охапку и клал на диван: «Прошу вас, лежите — и уснете. Вы будете ночевать у меня» (поезд был вечерний) — и я остался в комнате, пока он уснул. Драться со мною? У него не поднялась бы рука на меня; а не сбить меня с ног, то вырвется ли хоть гигант из охапки мужчины? Он предвидел; он хотел убежать из вокзала от меня. Но без драки не мог вырваться. К этому моему вмешательству относится его прекрасная пьеса:

Мчитесь, кони, степью влажной [2],
Пой «Лучину», мой ямщик:
Этой жалобы протяжной
Так понятен мне язык.

и т. д.

Так и мне мою лучину
Залила водой свекровь.

. . . .

Бог простит моей старушке:
Тьма по сердцу ей пришлась.

«Свекровь» — идеал злого влияния на молодую жизнь — это я. «Тьма по сердцу» мне пришлась — ясно: я отнял у него счастье жизни, любовь, то есть женитьбу, невесту. У него сложилась эта песня на дороге обратно в Петербург из Москвы [3], куда он проехал после курса вод, кажется,— или из Старой Руссы, если он ехал оттуда, не съездив в Москву. Итак? Он и до приезда знал, что не женится без моего согласия. Это не всякий сын сделает такую уступку воле отца. Но до той минуты, как написал он мне из Старой Руссы, кому передавали его друзья деньги, которые брали у меня после его отъезда, и, объяснивши кому, прибавил: «Поезжайте к этой девушке»,— я не воображал ничего подобного. Кончилось это дело тем, что он сказал: «Хорошо, не женюсь на ней». Снова совершенно ничего не знаю о дальнейших его влюбленностях, пока вводит его ко мне Ольга Сократовна и говорит: «Держи его тут, а я пойду бранить Анюту (ее вторая сестра; теперь давно умерла, бедняжка). Они

явились ко мне объявить, чтоб я повенчала их[4]. Я тебе говорила, они болтают глупости. Я и хвалила их тебе: пусть он сидит у нас! Но какая же невеста, жена ему Анюта? Она милая, добрая девушка; но она пустенькая девушка. Соглашусь я испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры! Он и мне дороже сестры, хоть я дура необразованная. Я необразованная, сама себя стыжусь и ненавижу за это. Но все-таки я понимаю, моя сестра не пара Николаю Александровичу. Когда ты можешь ехать в Саратов? Ты отвезешь туда Анюту». Как я кончил работу для той книжки журнала, я отвез Анюту домой, к отцу и матери ее. В промежуток разлучаемые все плакали, сидя рядом и по временам обнимаясь; Добролюбов плакал как девушка. Строгость обличительных речей, которые долго произносил Добролюбов передо мною о жестокости Ольги Сократовны (но ее боялся: услышит, беда! — и потому о ней было лишь урывками) — и о жестокости моей, была трагична. Кончилось это — и опять я ровно ничего не знал о том, что делает, что чувствует Добролюбов; знал только: он пишет. Но что пишет он, я не знал. Статей его я никогда не читал[5]. Я всегда только говорил Некрасову: «Все, что он написал, правда. И толковать об этом нечего». Скоро, впрочем, Некрасов подружился с Добролюбовым: они стали жить вместе[6]. Что они делали, о чем они говорили — мне было неизвестно. Я только всегда говорил одному о другом: «Вы не правы; он прав», а о чем был у них спор? Я не знал. По первому слову жалобы я решал: «Он прав, вы не правы».

Та девушка полюбила меня, как искреннего ее друга. После все близкие к Добролюбову любили ее; даже светские женщины. Но Ольге Сократовне Добролюбов никогда, я полагаю, ни слова не сказал о ней. По крайней мере от Ольги Сократовны я ничего не слышал. А она каждый день по три раза приходила, садилась и пересказывала мне все, что говорила, что ей говорил кто, что она делала; все, до мельчайших мелочей.

Такого правдивого человека я никогда не знал другого. И очень трудно кому-нибудь найти хоть в романах такого правдивого мужчину. В моем чтении романов не попадалось такого мужчины. О женских лицах и толковать нечего.

IV
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

(*Ответ на вопрос*)

Отрывки

О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно, и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него. Но никаких определенных воспоминаний об этом у меня не осталось. Без сомнения, Добролюбову и мне случалось говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых долгих разговорах вдвоем: одним из главных предметов их были дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои произведения еще в нем; едва ли возможно было нам не касаться иногда того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову. Но, вероятно, в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него.

По всей вероятности, Добролюбов в это первое время своего личного знакомства с Тургеневым думал о нем как о человеке точно так же, как Некрасов: это хороший человек. Вероятно, талантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичными Добролюбову или мне.

Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями. Без сомнения, он был очень любезен и с Добролюбовым, но об этом я говорю лишь по соображению, а не по воспоминаниям.

Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли совершенно иной характер, когда Добролюбов по-

селился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова [1], и, обедая у них, стал проводить значительную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это началось, вероятно, в 1857 году. Переселение Добролюбова в квартиру рядом с квартирою Панаева и Некрасова произошло таким образом.

Добролюбов, человек с довольно большими практическими способностями в ведении тех дел, которыми интересовался, совершенно неглижировал своей житейской обстановкой, и потому она, насколько ее устройство зависело от его участия, всегда была очень неудовлетворительна.

По выходе из Педагогического института Добролюбов поселился на квартире сырой и производившей неприятное впечатление своими мрачными стенами, штукатурка которых была старая, полуобвалившаяся, потускнелая, загрязненная. Меблировка (от хозяев) была очень скудная и дрянная, так что первая комната, служившая приемной, представляла вид амбара, почти пустого. Мне не раз и не два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посещений не выходило, разумеется, никакого результата для улучшения его житейской обстановки. Как только вздумалось Некрасову побывать у него, она изменилась. Некрасов проехал от него прямо ко мне и начал разговор прямо словами: «Я сейчас был у Добролюбова, я не воображал, как он живет. Так жить нельзя. Надобно приискать ему другую квартиру». За этим началом следовало продолжение, переполненное упреками мне за мою беззаботность о Добролюбове: «Положим, вы сами не умеете ни за что взяться, но хоть сказали бы вы мне». Особенно много огорчала Некрасова сырость квартиры Добролюбова. Он говорил, что при слабости здоровья Добролюбов может сильно пострадать, если останется в такой обстановке. Вернувшись домой, Некрасов тотчас же поручил брату (Федору Алексеевичу) разыскивать квартиру для Добролюбова. Дал такое же поручение и своему слуге Василию. Когда я зашел к Некрасову, часа через два, через три после того, как он был у меня, он говорил уже о том, что затруднений с устройством сносной жизни для Добролюбова будет гораздо больше, нежели я могу воображать. Приискать порядочную квартиру и меблировать ее, разумеется, нетрудно, но это еще ничего не значит. Надобно устроить, чтобы у него и обед был хороший. Как быть с этим? Обедать каждый день в ресторане — это скучно,

да и некогда Добролюбову. Надобно приискать какого-нибудь добросовестного слугу, умеющего хорошо готовить. Это нелегко. Но как-нибудь устроится и это. Я ушел. Когда пришел к Некрасову на следующий день утром, услышал от него, что дело уладилось удобнее, чем можно было надеяться.

Панаев и Некрасов жили тогда уже на той квартире в доме Краевского, которую продолжали занимать столько лет потом. По черной лестнице этой квартиры, в том же этаже, было помещение из двух комнат с передней. Не умею теперь припомнить, были ли жильцы в этой небольшой квартире или она стояла пустая. Но, так или иначе, она была в запущенном состоянии. Слуга Некрасова, поискавши квартир по городу, вспомнил об этой и сказал Некрасову. Ее тотчас же начали поправлять *, и дня через два или три Некрасов уже мог переселить туда Добролюбова.

Поселившись тут, Добролюбов не имел своего собственного обеда: он обедал у Панаевых, вместе с которыми обедал Некрасов. А в те дни, когда Некрасов обедал особо от Панаевых на своей половине, Добролюбов обедал, как ему когда лучше нравилось, или с Некрасовым, или с Панаевым. Изредка ему случалось надобность обедать на своей квартире. Это бывало, например, когда у него гостил кто-нибудь из его приятелей, служивших в провинции и приезжавших побывать в Петербурге, если этому приятелю не хотелось обедать у Панаевых; или когда Добролюбову был недосуг оторваться надолго от работы на время обеда (обед у Панаевых был, разумеется, неторопливый: по окончании его обедавшие пили чай и долго оставались вместе). В таких случаях Добролюбову приносили обед от Панаевых. Пил чай вечером он очень часто на своей квартире или потому, что не хотел отрываться от работы, или потому, что у него был кто-нибудь. Но утром он обыкновенно приходил пить чай к Некрасову и, если имел досуг, оставался тут и завтракать. Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала; так что довольно большую долю своей

* Если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небогатые, и с радостью передали Некрасову квартиру, получив от него вознаграждение за согласие переселиться из нее. Кажется, именно так и было: квартира была куплена у прежних владельцев.

работы по редижированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова.

Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге, заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр, или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Таким образом, Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе у Некрасова много времени каждый день.

Та половина квартиры Панаева и Некрасова в доме Краевского, которую занимал Некрасов, состояла из двух комнат: зала и спальной. Была, кроме передней, еще одна комната, но ту нечего считать, потому что она служила только умывальной. В ней никогда никого не бывало, и даже мне случалось заходить в нее лишь тогда, когда надо было отмыть слишком запачканные чернилами руки. Вход в нее был из передней прямо. Из передней налево были двери в зал — это была очень большая комната. Двери из передней были с длинной стороны, противоположной окнам. В дальней налево поперечной стене зала были двери в спальную. Проснувшись, Некрасов очень долго оставался в постели; пил утренний чай в постели; если не было посетителей, то оставался в постели иногда и до самого завтрака. Он и читал рукописи и корректуры и писал лежа в постели. Тургенев, конечно, не принадлежал к тем посетителям, которые мешали Некрасову оставаться в ней. Одевшись к завтраку или иной раз и пораньше завтрака, Некрасов приходил в зал и после того вообще оставался уже в этой комнате. Тут вдоль всей стены, противоположной дверям в спальную (вдоль поперечной стены направо от дверей из передней), был турецкий диван, очень широкий и мягкий, а невдалеке от дивана, по соседству с окном, стояла кушетка: Некрасову было так же удобно валяться на этой мебели в зале, как на постели в спальной, куда он, раз вышедши в зал, уходил только по каким-нибудь

делам; например, для того, чтобы заняться работой без помехи от гостей, продолжавших и без него благодушествовать в зале, или для того, чтобы без помехи от них переговорить с кем-нибудь, уводимым туда для деловой беседы. Таким образом, вообще говоря, одна из двух комнат половины Некрасова оставалась пустою: пока Некрасов в спальной, там с ним те близкие знакомые, кого принимает он в спальной; переходит он в зал, переходят с ним туда и они. Мне, разумеется, очень часто была надобность оставлять Некрасова и его гостей в зале и уходить в спальную одному, чтобы работать там. Иногда делывал так и Добролюбов, если почему-нибудь не хотел переходить с работою в свои комнаты; но вообще даже я оставался в той комнате, где Некрасов. Тем больше надобно сказать это о Добролюбове: когда я должен был исполнять подвернувшуюся на квартире у Некрасова спешную работу, не имея времени уйти с нею домой, то я занимался ею один; мои работы были такие, в которых Некрасов не принимал участия; а доля Добролюбова в редижировании журнала относилась более всего к тому отделу, которым занимался и Некрасов, так что они любили работать вместе, советуясь между собою, помогая друг другу. Тургенев, разумеется, мог проводить время в той из комнат Некрасова, в какой хотел; он был тут свой человек, вполне свободный делать как ему угодно и что ему угодно; но он бывал тут, собственно, для того, чтобы разговаривать с Некрасовым, и потому постоянно держался подле него. Некрасову часто случалось по деловой надобности уходить от Тургенева; Тургенев от Некрасова не отходил, кроме, разумеется, тех случаев, когда бывало много гостей и гости разделялись на группы.

Как держал себя Добролюбов относительно Тургенева в первое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я этим не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности говорить со мною об этом; он не имел охоты быть экспансивным со мною относительно вещей неважных, да и некогда нам было толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, ни мне.

Итак, человек не наблюдательный, я очень долго или не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу, или если, может быть, иной раз и замечал, чего, впрочем, не полагаю, то оставлял без внимания эти,

во всяком случае, маловажные для меня впечатления. Сколько времени длилось это, не умею определить годами и месяцами; но помню, что когда Добролюбов писал свой разбор романа Тургенева «Накануне» и я читал эту статью в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чем-нибудь особенном в отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Я полагал, что они такие же, как между Тургеневым и мною: горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное расположение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых, однако ж, и всякому желанию расходиться между собою. Через несколько времени после того, как вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова о «Накануне»[2], я, разговаривая с Тургеневым (у Некрасова, я с ним виделся в то время почти только у Некрасова), услышал от моего собеседника какие-то суждения о Добролюбове, звучавшие, казалось мне, чем-то враждебным. Тон был мягкий, как вообще у Тургенева, но сквозь комплиментов Добролюбову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои разговоры о нем, звучало, думалось мне, какое-то озлобление против него. Когда через несколько ли минут или через час, через два остался я один с Некрасовым (не помню, ушли ли мы с ним в другую комнату говорить о делах или уехал Тургенев), я, кончив разговор с Некрасовым о том, что было важнее для меня и, вероятно, для него,— о каких-то текущих делах по журналу, спросил его, что такое значит показавшийся мне раздраженным тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом: «Да неужели вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова». Некрасов стал рассказывать мне о причинах этой ненависти — их две, говорил он мне. Главная была давнишняя и имела своеобразный характер такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело в том, что давным-давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. После мно-

жества таких случаев Тургенев отстал наконец от заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивались только обыкновенными словами встреч и прощаний, или если Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его длинные речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону.

Понятно, что Тургенев не мог не досадовать на такое обращение с ним. Но, вероятно, он умел бы дальше скрывать от меня свое неудовольствие на Добролюбова, если б оно не усилилось в последние дни до положительной ненависти по поводу статьи Добролюбова о его романе «Накануне». Тургенев нашел эту статью Добролюбова обидной для себя: Добролюбов третирует его как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей. Я сказал Некрасову, что просматривал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов отвечал, что если так, то я читал статью без внимания. При этих его словах я соображал, что действительно просматривал ее торопливо, пропуская строки, и целые десятки строк, и целые столбцы корректуры. Дело в том, что я вообще уж давно перестал читать статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что в какой-нибудь из них лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству. Обыкновенно этим обстоятельством бывало желание Добролюбова, чтобы я взглянул, не делал ли какой ошибки, излагая мысли о предмете, мало ему знакомом. Так было и тут. Добролюбову приходилось говорить о положении Болгарии, о чувствах болгарских патриотов, о том, до какой степени возможно находить их желания сбыточными. Ему казалось, что эти вещи знакомее мне, чем ему, и он просил меня просмотреть относящиеся к ним места его статьи. Я и искал глазами в статье только этих мест, пропуская все остальное не читанным. Просмотрев их, я сказал Добролюбову, что не нашел в них никаких ошибок.

Услышав от меня, что и в самом деле так: я читал статью Добролюбова действительно торопливо, Некрасов сказал мне, что Тургенев действительно прав, рассердившись на эту статью: она очень обидна для самолюбия автора, ожидавшего, что будет читать безусловный панегирик своему роману. Что обидного Тургеневу в этом разборе его ро-

мана, я и теперь не знаю сколько-нибудь положительным образом. Издавая собрание сочинений Добролюбова, я, разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана она в «Современнике», с рукописью Добролюбова (в типографию посылались для набора вырезки из «Современника» или те корректуры, которые уцелели). Перечитывал статью во второй раз в корректуре нового набора. Но, конечно, мое внимание при этом было занято не размышлениями о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нем, и я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о нем.

Некрасов имел тогда еще очень большое расположение к Тургеневу, но в его рассказе не было ни малейшего порицания Добролюбову, он только смеялся над обманутыми надеждами Тургенева на панегирик роману; посмеялся и я. Увидевшись после того с Добролюбовым, я принялся убеждать его не держать себя так неразговорчиво с почтенным человеком, достоинства которого старался изобразить Добролюбову в самом привлекательном и достойном уважения виде; но мои доводы были отвергаемы Добролюбовым с непоколебимым равнодушием. По уверению Добролюбова, я говорил пустяки, о которых сам знаю, что они пустяки, потому что я думаю о Тургеневе точно так же, как он; Тургенев не может не быть скучен и неприятен и для меня. Если мне угодно не выказывать этого Тургеневу, я могу не выказывать, он не убеждает меня держать себя прямее и откровеннее. Но мне хорошо не уходить от разговоров с Тургеневым, потому что мы видимся сравнительно редко; а толковать с Тургеневым столько, сколько приходилось бы ему, нашел бы невыносимым и я. Нечего было делать, я отстал от внушения моих прекрасных чувств Добролюбову.

Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать здесь, поэтому довольно будет заметить, что Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем. Если я не желал разрыва между ними и сам не выказывал Тургеневу, что желал бы уклоняться от разговоров с ним, у меня был на то мотив, не имевший ничего общего с приятностью или неприятностью, занимательностью или незанимательностью их для меня. Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между со-

бою. Добролюбов был об этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники.

Таким образом тянулись отношения между Добролюбовым и Тургеневым довольно долго: они беспрестанно встречались в комнатах Некрасова, обменивались словами «здравствуйте» и «прощайте», других разговоров между собою не имели, но посторонним людям могли казаться людьми, которые не имеют ничего друг против друга. Не умею теперь припомнить, чем прервались их свидания:[3] отъездом ли Добролюбова за границу или ссорою Тургенева с Некрасовым; не помню, который из этих фактов предшествовал другому; но, во всяком случае, когда оставался другом Некрасова, Тургенев не мог открытым образом дать волю своему ожесточению против Добролюбова.

Из-за чего произошел разрыв между Некрасовым и Тургеневым[4], я не имею положительных сведений, мне никогда не случалось спросить об этом у Некрасова, потому что я очень мало интересовался дружбою Тургенева с ним, а еще меньше того — озлоблением Тургенева на него. А с очень давних пор без прямого моего вопроса Некрасов почти никогда не говорил ни о чем из своей личной жизни. При начале знакомства со мной он хотел иметь меня обыкновенным приятелем-собеседником, каким и бывают у каждого хорошие его знакомые, и рассказывал мне о том интересном лично для него, что случалось ему припомнить по ходу разговора; деловой разговор прекращался, заменяясь обыкновенным приятельским; но скоро Некрасов бросил это; не умею сказать, почему именно. Быть может, ему стало казаться, что я не интересуюсь ни его воспоминаниями о давнем, ни его личными радостями и печалями в настоящем. Быть может, на его экспансивность подавляющим образом действовала моя замкнутость: я в то время не любил говорить ни о чем, относящемся к моей внутренней жизни; по крайней мере мне самому так казалось. Вероятно, и Некрасову казалось так. Если ему действительно казалось так, то понятно, что у человека такого умного, как он, скоро должно было исчезнуть влечение быть экспансивным с человеком, который не отвечает тем же. Разумеется, мне нравится выставлять эти причины, которые не бросают на меня дурной тени. Но могло быть и то, что я перестал казаться Некрасову человеком, с которым удобно говорить откровенно о делах, не представляющихся ему заслуживающими серь-

езного симпатичного внимания. Я мог своими замечаниями на его рассказы шокировать его. Для ясности расскажу один случай этого рода, относящийся к очень позднему времени наших отношений. Мы сидели вдвоем у круглого стола в зале Некрасова: вероятно, он завтракал, и я кстати ел что-нибудь; вероятно, так, иначе незачем было бы нам сидеть у этого стола. Я сидел так, что, когда опирался локтем на стол, мне приходилось видеть камин. На камине стояла бронзовая фигура, изображавшая кабана. Хорошей ли работы она была или нет и потому дорогой ли вещью была или дешевой, я никогда не интересовался знать, мне никогда не случалось и взглянуть на этого кабана сколько-нибудь пристально. Впрочем, a priori я был уверен: эта вещь хорошей работы; иначе не стояла бы тут. Произошла какая-то маленькая пауза в разговоре: по всей вероятности, Некрасов говорил что-нибудь и на эту минуту остановился, чтобы отодвинуть тарелку и взять другую. А мне в это время случилось повернуться боком к столу и опереться на него; подвернулся под глаза мне кабан, и я сказал: «А хороший кабан». Некрасов, которого редко видывал я взволнованным и почти никогда не видывал теряющим терпение, произнес задыхающимся голосом: «Ни от кого другого не стал бы я выносить таких оскорблений». Я совершенно невинным и потому спокойным тоном спросил его, что ж обидного ему сказал я? Он, уже снова овладев собою, терпеливо и мягко объяснил мне, что я множество раз колол ему глаза замечаниями о том, что этот кабан хорош, и рассуждениями, что такие хорошие вещи стоят дорого; а так как эти мои соображения были вставками в разговоры о денежных делах между нами и неудовлетворительном положении кассы «Современника», то получался из них ясный смысл, что он тратит на свои прихоти слишком много денег, отнимая их у «Современника», то есть главным образом у меня. Я постиг в моих мыслях, что если бы пауза длилась еще несколько секунд, то я успел бы и произнести предположение о приблизительной цене кабана, и моему умственному взгляду явилась истина, что действительно рассуждения мои о кабане должны были по ходу наших разговоров очевиднейшим образом иметь тот самый смысл, какой теперь нашел я в них при помощи Некрасова. Я произнес одобрение себе, вроде спокойного подтверждения истины: «Ну, так» или: «А что же, так», и, как ни в чем не бывало, повел разговор о том, о чем шла

речь раньше. Хоть по этому ничтожному случаю легко сообразить, сколько любезности приводилось, по всей вероятности, находить Некрасову в моих замечаниях, делаемых по рассеянности, безо всякого внимания к их смыслу для него. Само собой понятно, что не могла не остыть в нем охота рассказывать что-нибудь интимное о себе такому собеседнику, который вставлял в паузы рассказа совершенно посторонние делу замечания, отношения которых к предмету рассказа не замечал, потому что произносил их без всякого намерения, не придавая им никакого значения.

Не умею рассудить, достаточны ли эти соображения для объяснения тому, что Некрасов вскоре после начала моего знакомства с ним утратил влечение к интимным рассказам мне о своей личной жизни, или были ему даны моими неловкостями еще какие-нибудь мотивы, догадаться о которых не приходит мне в голову. Но факт в том, что я после двух-трех вечеров вдвоем с ним у него при самом начале знакомства уже не слышал от него рассказов о его личной жизни иначе, как по какой-нибудь очень серьезной надобности ему предоставить мне участие в его отношениях к кому-нибудь из людей, очень близких или очень интересовавших его. Одним из таких случаев, например, было то странное недоразумение, для прекращения которого привелось мне, по желанию Некрасова и Добролюбова, проспать Германию [5] от Любека до Рейна и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути тоже всю сухопутную дорогу.

Итак, мне не случилось ни разу слышать от Некрасова ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужденный припоминать и соображать, могу найти больше причин для этой ссоры, чем представлялось мне тогда, при отсутствии интереса вдумываться в нее. Очень может быть, что главными поводами были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого личного участия, но которые необходимо должны были, как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Тургенева. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отношениях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности говорить здесь много. Я держал себя с Тургеневым сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что, в сущности, я думаю о нем точно так же, как Добролюбов. Бывали

случаи, когда я и прямо наносил обиду ему, по необходимости избавить «Современник» от какого-нибудь рекомендуемого им произведения, которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу здесь для примера два таких случая.

Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, выражая желание, чтобы я прочел ее. Я развернул: это был один из томиков повестей Ауэрбаха; не помню заглавие, шварцвальденские ли рассказы или что-нибудь другое: Тургенев очень хвалит их и советует перевести в «Современнике»; особенно он настаивает на том, что надобно перевести один из этих рассказов,— на котором и вложена закладка. У меня с Некрасовым были уже раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого я никогда не читывал, но достаточно знал по панегирикам ему, из которых видно было: он жеманник, пресный и скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого автора не заслуживающим перевода в «Современнике», но что я судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов передавал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из Ауэрбаха, я переменю мнение о нем и что, в частности, тем рассказом, который отмечен в книжке, я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть «Barfüssele» *. Она не понравилась мне. Других рассказов я и не пробовал читать. Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего из нее переводить не стоит. Тургенев долго не отставал, и много раз спорил со мною, и был очень раздражен неуспехом, но эта неудача его хоть оставалась никому, кроме нас, не известной; а другой случай подобного рода произошел в присутствии многочисленного общества.

Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными. На них собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них постоянно бывал приглашаем цензор; бывали и кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых, бывал Арапетов.

Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, приглашенных раз навсегда бывать на этих обедах,

---

* «Босоножка» (*нем*).— *Ред.*

был такой строгий с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литераторов, что, например, ни один из однофамильцев Ив. Ив. Панаева никогда не бывал приглашаем на эти собрания [6]. (Бедняжка цензор, конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкновенно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах.) После обеда гости оставались тут, до какой поры кому было угодно. Первыми уезжавшими обыкновенно бывали те, которые отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше.

И вот после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем камином, на котором стоял кабан. (Камин был в дальнем от окон углу стены, противоположной дивану.) Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея — высокое художественное произведение. Разумеется, по одному первому акту еще нельзя вполне оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается сильный талант, и т. д., и т. д. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ареопаге, выражали свое сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал с своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы; так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем дело и кончилось. Не помню, каким языком вел я спор. По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем

положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. Но понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литературных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Вообще при моем вступлении в «Современник» Тургенев имел большое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал в редижировании этого отдела журнала, но было же много разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетристах. Находя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего против рекомендации плохим романам или повестям со стороны Тургенева. А когда сблизился с Некрасовым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на «Современник» не могло не быть неприятно Тургеневу. ⟨. . .⟩

К важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать дружбу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших сильно в том же направлении. К ним принадлежат, например, желания других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Тургенева.

Когда я говорил, что мне не были определительно известны причины разрыва Тургенева с Некрасовым и что я могу только угадывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной книги для справок; но вчера я получил посмертное издание стихотворений Некрасова (четыре тома, 1879). Просматривая примечания, помещенные во второй части четвертого тома, я нашел в них цитату из моей статьи («Полемические красоты», напечатанной в № 6 «Современника» за 1861 год). Вот это место, очевидно служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах разрыва Тургенева с «Современником», то есть по необходимости и с Некрасовым,— рассуждения, основанные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как это видно из того, что в моем ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тур-

генева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? — Ссылаемся па самого г. Тургенева».

Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым и что единственным решившим дело мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», то есть на первом плане — к статьям Добролюбова, а на втором — и ко мне, имевшему неизменным правилом твердить в разговорах с нападавшими на статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что все написанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю все, то, разумеется, были у меня положительные основания думать так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова и от самого Тургенева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы слышали только то, что уже сами знаем, мы забываем, что наши прежние сведения были повторены нам словами других. Так, например, вероятно никто из нас не помнит, было ли ему рассказано кем-нибудь, что Пушкин — великий поэт и что он умер от раны, полученной на дуэли; а вероятно, у всех нас было много разговоров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне было много случаев слышать от Некрасова объяснения причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно само собою; но было много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как мы перестали видеться у Некрасова. Не говоря о чем другом, надобно только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были членами комитета Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым в первый год по основании этого общества [7]. Комитет собирался каждую неделю. Собирался он у Егора Петровича Ковалевского, который был председателем. До начала заседания долго шли всяческие серьезные и шутливые приятельские разговоры между всеми обо всем на свете: по окончании заседания они возобновлялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьезных собеседников в этом приятельском кружке был

Тургенев. Я, постоянно повертывавший разговор в шутливое направление, говорил, я полагаю, еще гораздо больше, чем он. Вообще мы с ним толковали, оставаясь в гостиной вместе со всеми другими; но часто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым излагать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому смыслу несомненно, что не мог. Но на деле этот резон не мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на Добролюбова; тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были мои отношения к Добролюбову, это нельзя было не понимать и наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове: людям, знавшим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, было известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова мне несравненно бесполезнее, чем па самого меня; и, однако же, Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай.

Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные чтения. Обыкновенным местом для них служил зал «Пассажа». Тут, недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн, по которым развешивался занавес, так что образовался особый отдел вроде кабинета, не очень широкого, но очень длинного. Тут и заседал заведовавший чтениями комитет. Эти заседания, занимавшиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеется, совершенно благополучно обходиться без моего участия в совещаниях. Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности относительно моих сотоварищей, все время проводил в каких-нибудь своих особых занятиях: усевшись в дальнем углу, рассматривал соседний стул или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкапчиках каких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы для обогащения своего ума познаниями. А если говорить серьезно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слушания того, что читалось публике, я никогда пе был повинен. Натурально, всякий другой из членов комитета, усердно слушавший чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, подходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную иеремиаду [8] его о том, как всегда обижал, теперь, после разрыва его с Некрасовым, еще больше обижает его Добролюбов. Под

конец он почувствовал, что элегический тон выходил слишком нелеп. Какого, в самом деле, утешения себе от меня мог ждать человек, жалующийся на Добролюбова? И в особенности человек, который сам знал, что я думаю о нем так же, как Добролюбов? Итак, Тургенев догадался, что он делает себя смешным; чтобы поправить свою репутацию в своем собственном мнении, обратил свое горе в шутку. Мы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, которую тогда же я похвалил, чем очень порадовал его. И, когда стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял ее каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней сказано мне: «Вы простая змея, а Добролюбов — очковая». Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выходило, конечно, иное; именно так: «Я сказал ему, что он простая змея, а Добролюбов — очковая». Но другие стали подходить после, а пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно серьезную тему, что со мной он может уживаться и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце.

Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбова, то в тысячу раз легче ему было доходить в разговорах со мною до жалоб на Некрасова. Вижу из той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым, по рассказам самого Тургенева,— иначе я не мог бы ссылаться на него самого; и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей памяти, так что я и не предполагал их существования, то понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме известного мне.

Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети». Мне случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать объяснения по вопросу об отношениях этого романа к лицу Добролюбова;[9] попадались на глаза и кое-какие отрывки из этих объяснений. Но это были только отрывки; и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были объяснения, взятые все вместе. Мне самому случилось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал,— рассказ какого-то

из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович [10] о разговоре ее с Тургеневым. Она жила тогда за границей, где-то в Италии или во Франции; быть может, в Париже. Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отмстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его. Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается: ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова. Это действительно портрет действительного лица [11], но совершенно иного; это медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл ей фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило ее. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания. Г-жа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев сознался наконец, что действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман. ⟨. . .⟩

Основываясь на фактах, известных мне о «Рудине», я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек. Очень может быть, что, и в самом деле, он в Базарове изображал того провинциального медика, о котором говорил г-же Маркович (говорил впоследствии времени и многим другим; быть может, даже и заявлял что-нибудь такое в печати: мне кажется, будто бы я помню, что читал какой-то отрывок из какого-то его объяснения, имевшего этот смысл; не умею, впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом моем воспоминании). Но если предположить, что публика была права, находя в «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного. У Рудина есть хоть

то общее с Бакуниным, что оба они ораторы и оба, занимая у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налепки, которая годилась бы в признаки, что он должен изображать собою Добролюбова. Разве одно: я слышал сейчас, что Базаров высок ростом, но я слышу это как воспоминание лишь очень вероятное, а не вполне отчетливое и достоверное, сам я не помню ничего о наружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об «Отцах и детях».

Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о Добролюбове, ряд которых должен был составить полный, по возможности, сборник бывших у меня под руками материалов для его биографии, употреблено мною очень суровое выражение [12], относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? Написал ли он после «Отцов и детей» еще что-нибудь злобное о Добролюбове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова в месяцы более близкие, чем время появления «Отцов и детей», к тем дням, когда я писал эту статью? — Не умею припомнить и расположен думать, что ничего такого не было и что мое чувство было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, а лишь воспоминанием об «Отцах и детях» [13].

Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. 〈. . .〉

Январь 1884 г.

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывки

Глава XIV

Добролюбов и Чернышевский делаются постоянными сотрудниками «Современника».— Мое знакомство с Добролюбовым.— Литературное подворье.— Дружба Добролюбова с Чернышевским.— Выздоровление Некрасова.— Сотрудник «Современника» Пиотровский.

⟨...⟩ — Семейные дела Добролюбова.— Как составлялся «Свисток» в «Современнике».— Отношения Тургенева к Добролюбову. ⟨...⟩ Его отношения к литераторам.— Попечитель Петербургского округа князь Щербатов.— Домашняя жизнь Чернышевского.— Разговор Тургенева с Некрасовым о Добролюбове.— Рассуждение Тургенева о комфорте, развращенности, о кутейниках и т. п.— Необычайная быстрота Добролюбова в работе.— Его пренебрежение к литературным сплетням.

...Добролюбов и Чернышевский сделались в это время уже постоянными сотрудниками «Современника». Я только раскланивалась с ними, встречаясь в редакции. Хотя я с большим интересом читала их статьи, но не имела желания поближе познакомиться с авторами.

Старые сотрудники находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. «Мертвечиной от них несет![1] — находил Тургенев.— Ничто их не интересует!» Литератор Григорович уверял, что он даже в бане сейчас узнает семинариста, когда тот моется; запах деревянного масла и копоти чувствуется от присутствия семинариста, лампы тускло начинают гореть, весь кислород они втягивают в себя, и дышать делается тяжело.

Тургенев раз за обедом сказал:

— Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором.

— Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная,— проговорил Некрасов.

— Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? — спросил Анненков.

— Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами,— заметила я.— Как видите, не бесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, иронически улыбаясь, произнес:

— Вот какого мнения о нас, господа!

— Это мнение всякий о вас составит, если послушает вас,— отвечала я.

Григорович было хотел что-то заметить мне, но Тургенев остановил его на слове «голубушка, вы...», перебив:

— Лучше не надо разуверять Авдотью Яковлевну, она еще выведет новое заключение в том же роде о нас, а мы и так поражены и уничтожены.

— Не думаю этого, вы облачились в такую непроницаемую броню, что не только словами, но и пулей ее не прошибешь.

— Разгорячилась! — заметил Дружинин.

— Имеете полное право смеяться надо мной, господа, потому что я сама нахожу смешным, что вздумала высказать свое мнение.

Панаев поспешил вмешаться в разговор, чтобы дать ему другое направление. Да я и сама не намерена была его продолжать и не отвечала на тонкую колкость Тургенева и поддакивание Анненкова. Я всегда прескверно себя чувствовала после таких сцен и страшно сердилась, что не могу быть сдержанной.

Некрасов поехал в город по делам журнала и, вернувшись на дачу, предупредил меня, что к завтрашнему обеду приедут несколько сотрудников. В числе приехавших на другой день гостей находился и Добролюбов.

За обедом литератор Григорович потешал всех рассказами о литературных приживальщиках графа Кушелева, около которого они увивались и бесцеремонно тащили с него деньги; особенно комически передавал он сцены, происходившие между этими приживальщиками и Дюма, когда последний гостил у Кушелева [2].

Я иногда посматривала на Добролюбова, желая знать, какое впечатление на него производят разговоры, но ничего не могла подметить на его серьезном и спокойном лице.

После обеда я ушла в свою комнату. Через час вошел ко мне Панаев и сказал, что все отправляются гулять, а Добролюбов отказался идти.

— Неловко! Человек приехал в первый раз — и оставить его одного; пожалуйста, займи его! — прибавил он.

Но я отказалась наотрез, сказав, что с меня достаточно общества и старых литераторов, а с новыми я не намерена знакомиться.

— Однако как же его одного оставить? Некрасов, может быть, не скоро проснется, что же он будет делать?

— Уговори его идти вместе с вами, а я не желаю беседовать с ним.

Панаев ушел, а я, увидав из окна своей комнаты, что все, в том числе и Добролюбов, отправились на прогулку, вышла в сад и села читать на скамейку у дома. Вдруг, к крайней моей досаде, я увидала Добролюбова, идущего ко мне. Он объяснил, что вернулся назад, потому что не

любит больших прогулок; да притом же ему скучно в обществе людей, которых он мало знает.

— Думаю, и им приятнее быть в своей компании,— сказал Добролюбов и спросил меня: — А вы отчего не пошли на прогулку?

— Вам скучно находиться в обществе людей, которых вы мало знаете, а мне — оттого, что я давно их знаю,— отвечала я.

Добролюбов на это сказал мне:

— Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь обед.

— Я так давно знаю всех обедавших, что мне не о чем с ними разговаривать.

— Мне интересно знать, что за личность Дюма? Он ведь у вас часто бывал?

— Интересного ничего не могу сообщить о нем.

— Однако какое он сделал на вас впечатление?

— Он произвел на меня одно впечатление, что у него большой аппетит и что он храбрый человек.

— В чем же он проявил свою храбрость?

— Ел по две тарелки ботвиньи, жареные грибы, пироги, поросенка с кашей,— все зараз! На это надо иметь большую храбрость, особенно иностранцу, отроду не пробовавшему таких блюд...

После некоторого молчания Добролюбов удивил меня, сказав:

— А знаете ли, вы отчасти способствовали моему сотрудничеству в «Современнике».

— Это каким образом?! — воскликнула я.

— Понятно, это было так давно, что вы и забыли, но я отлично все помню, потому что это было мое первое посещение редакции. Я прислал свою рукопись с письмом на имя Ивана Ивановича [3] и пришел за ответом. Он возвратил мою рукопись с наставлением: лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить бесполезно время на сочинение повестей.

— Так это были вы — тот самый юноша в мундирчике какого-то казенного заведения, который, выйдя из кабинета Панаева, не знал, как ему уйти из передней. Мне тогда стало жаль вас; я догадалась, что, вероятно, Панаев слишком резко высказал нелестное мнение о вашем произведении, и поспешила к вам на помощь. Я взяла у вас рукопись, сказав, что передам ее Некрасову, которого теперь нет дома, а чтобы вы зашли за ответом через не-

сколько дней... Видите, я тоже отлично все помню, но только никак не догадывалась, когда в прошлом году увидала вас в редакции и меня познакомили с вами, что вы тот самый юноша, от которого я взяла рукопись, потому что вы показались мне уже человеком лет двадцати шести; впрочем, я ведь только минуту и видела вас!.. Значит, я была покровительницей при вашем вступлении на литературное поприще? — прибавила я с шутливой важностью.

— Конечно,— отвечал Добролюбов улыбаясь,— вы имеете полное право считать себя моей покровительницей.

В эту минуту в сад пришел Некрасов и завел разговор с Добролюбовым о составе следующего номера журнала, а я отправилась распорядиться, чтобы подали чай.

Я очень хорошо помню свой разговор с Панаевым по поводу переконфуженного юноши в казенном мундирчике, у которого я взяла рукопись; когда он ушел, я пошла в кабинет Панаева и сказала ему:

— Ты, должно быть, так огорошил бедного юношу, что он не знал, как ему найти дверь, чтобы убежать.

— Я ему только высказал правду, я пробежал его рукопись, она плоха, как и следовало ожидать; ну, что может написать такой мальчик?

— Да нынче мальчики развитее, чем были вы тридцать лет тому назад, когда окончили свое воспитание,— заметила я.— Сами в литературе разыгрываете таких же недоступных директоров-чиновников, над которыми смеетесь. Тебе следовало принять участие в юноше, ободрить его, а не читать ему наставление, чтобы он не смел думать и пробовать свои силы.

Я поинтересовалась узнать у Некрасова, был ли у него юный автор за рукописью, которую я ему передала.

Некрасов отвечал мне, что был и взял свою рукопись назад, хотя он и предлагал ему переделать ее и напечатать.

— Не захотел сам,— прибавил Некрасов.— Он поразил меня, когда я с ним побеседовал: такой умный, развитой юноша, но, главное, когда он мог успеть так хорошо познакомиться с русской литературой? Оказалось, что он прочитал массу книг и с большим толком.

Может быть, Некрасов и сказал мне тогда фамилию этого юноши, но у меня плохая память на фамилии, так что, когда потом он, называя Добролюбова, говорил, что нашел себе хорошего помощника по библиографическому

отделу (Некрасов в то время сам разбирал новые книги)[4], то я не догадывалась, что это одно и то же лицо.

Добролюбов через неделю приехал еще раз па дачу; у меня в этот день с утра гостила сестра с племянницами, и я повела Добролюбова в лес за грибами. Оп никогда не сбирал их, притом плохо видел, и мы потешались над тем, как он чуть не разбил свои очки о сучок и не заметил огромного красного гриба, около которого стоял. Он все время шутил и уверял, что сделается завзятым собирателем грибов.

Так как время приближалось к концу августа, то надо было перебираться с дачи. Некрасов объявил мне, что принанял к нашей общей квартире две комнаты для Добролюбова[5] и велел пробить дверь в людскую, чтобы он мог иметь теплое сообщение с редакцией.

Я, признаюсь, поворчала на это, потому что у меня и так было много всяких хлопот с постоянными гостями, ежедневно набиравшимися и к завтраку и к обеду.

Когда мы перебрались с дачи, то нашли Добролюбова уже водворившимся в двух маленьких комнатах; при его квартире была кухня, из которой он имел особый выход.

Добролюбов сказал мне улыбаясь:

— Вот и я попал на литературное подворье.

Он вспомнил, что я, беседуя с ним в первый раз на даче, выразилась, что наша квартира — точно литературное подворье, так как у нас постоянно жили литераторы.

— Не думаю,— заметила я,— чтобы вам было удобно жить в таких маленьких комнатах и так близко от нашей людской: вам будут мешать работать.

— В меблированных комнатах еще более неудобств,— отвечал он.— Я часто оставался без обеда: заработаешься и забудешь вовремя потребовать его, а потом принесут бог знает откуда обед холодный, скверный; съешь его — и почувствуешь боль в желудке, а я давно уже страдаю хронической болезнью желудка и чувствую, как слабею от этой болезни.

Сначала я посылала Добролюбову в комнату утренний чай и завтрак, потому что Некрасов и Панаев вставали поздно и в разное время; но немного спустя он попросил у меня позволения приходить пить чай ко мне (я вставала рано), ссылаясь на то что в это время без него уберут его комнаты и он тотчас же после чая может сесть за работу.

За утренним чаем я заставила Добролюбова есть что-нибудь мясное, потому что иногда он приходил к чаю, совсем не ложась спать и проработав всю ночь.

Так как при этом я настояла, чтобы Добролюбов после еды отдыхал с полчаса, то к чаю начал являться и Чернышевский, чтобы, пользуясь этим свободным временем, поговорить с Добролюбовым.

Их отношения удивляли меня тем, что не были ни в чем решительно схожи с взаимными отношениями других окружавших меня лиц.

Чернышевский был гораздо старше Добролюбова, но держал себя с ним как товарищ. ⟨. . .⟩

Добролюбов часто говорил мне о своих семейных делах; на его руках остались сестра и маленький брат, воспитание которых очень его заботило, так как они уже подрастали. Раз, придя утром пить чай, он сказал мне:

— У меня до вас большая просьба, да как-то стыдно обращаться с ней к вам, у вас и так много хлопот с хозяйством, но вы, пожалуйста, откровенно скажите мне, если вам невозможно исполнить мою просьбу.

Я просила его не стесняясь высказать мне все, что ему нужно.

— Я вчера получил письмо из Нижнего и нахожу, что долее нельзя оставлять там брата Володю, иначе мальчик пропадет.

— Так выписывайте его скорей к себе! — отвечала я.

— А вы поможете мне в заботах о нем?

— Вы займитесь его умственным и нравственным развитием, а моя помощь ограничится гигиеническими заботами.

— А вы думаете, что гигиена не важна при воспитании детей? Я каждую минуту чувствую это на себе. Ведь я нахожу большую перемену в себе с тех пор, как очутился в других гигиенических условиях, о которых вы заботитесь.

— Я нахожу, что мои заботы принесут вам мало пользы, если вы будете продолжать так много работать и так сильно принимать к сердцу всякую мелочь, касающуюся журнала. Вы добровольно запрягли себя чуть ли не в каторжную работу и не даете себе отдыха.

— Иначе нельзя вести журнальное дело, если им добросовестно заниматься.

— Как же другие журналисты находят время и на прогулки, и на театры, и другие развлечения?

— Это люди особенные.

— Благоразумные! — подсказала я.

Добролюбов улыбнулся и проговорил:

— Так я, по-вашему, неблагоразумный человек? Хорошо, я постараюсь сделаться благоразумным; каждый вечер буду уходить из дому.

— Было бы хорошо уж и то, если бы вы хоть раз в неделю давали себе отдых.

Добролюбов очень был доволен приездом маленького брата [6] и до мелочей заботился о нем.

Я иногда удерживала рвение Добролюбова в занятиях с братом, потому что мальчик был очень нервный, худенький, да и самому Добролюбову была вредна новая прибавка к занятиям.

«Свисток» в «Современнике» [7] всегда сочинялся после обеда, за кофеем. Тут же импровизировались стихотворения: Добролюбовым, Панаевым и Некрасовым; в «Свистке» принимал участие и Курочкин. Мысль ввести «Свисток» принадлежала Добролюбову. Когда из-за «Свистка» в литературе поднялась целая буря на «Современник», я шутя говорила Добролюбову: «Что, освистали вас?»

— А мы еще громче будем свистать; эта руготня только подзадорит нас, как жаворонков в клетке, когда начинают, во время их пения, стучать ножом о тарелку. «Свисток» сделает свое дело, осмеет все пошлое, что печатают бездарные поэты. Серьезно разбирать всю эту глубокомысленную поэтическую пошлость и фальшь не стоит; за что утруждать бедного читателя; а «Свисток» он прочтет легко и еще посмеется.

В 1859 году летом Добролюбов, по совету доктора, уехал на шесть недель в Старую Руссу [8], но вернулся ранее срока. Я его побранила за это, но он оправдывался тем, что лечение не принесло ему никакой пользы, а между тем в журнале была помещена статья [9], забыла какая, которая ни под каким видом не должна была быть напечатана, так как резко противоречила духу журнала. При этом он шутил, сказав, что если б не боялся меня, то вернулся бы еще ранее.

— Я бы вас тогда прогнала назад, не впустила бы даже переночевать в квартиру. Вы не можете жить без работы, как пьяница без водки.

— Даю вам слово, что буду умерен в работе,— отвечал он.

Вначале, когда Добролюбов только что поселился у нас, Тургенев обходился с ним свысока.

У Тургенева каждую неделю обедали литераторы.

Раз, придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам:

— Господа! Не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне,— и затем, поворотив голову к Добролюбову, прибавил: — Приходите и вы, молодой человек.

Тургенев, наверно, услыхал бы громкий смех Добролюбова, если бы он смеялся, как другие. Но он только улыбался.

Тургенев в это время наслаждался вполне своей литературной известностью, держал себя очень величественно с молодыми писателями и вообще со всеми незначительными лицами.

Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.

— Еще бы! Такая неожиданная честь.

— Что же, пойдете? — спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения.

— К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу,— отвечал, улыбаясь, Добролюбов.

Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они не обратили внимания на тон приглашения.

— Вас же приглашал Тургенев,— сказал ему Некрасов.

— За такое приглашение я никогда не пойду к Тургеневу.

Некрасов с удивлением произнес:

— Да он всех так пригласил.

— Вы все его очень короткие знакомые, а я вовсе нет.

— Это у него такая манера,— заметил Панаев.

Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу, почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел.

Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда

встречал его в редакции или обедая у нас, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла.

Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки не является к нему на обеды, и он однажды сказал Панаеву:

— Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общества, в котором никогда не бывал.

Наконец Тургенев понял, что причина, по которой Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом.

— В нашей молодости,— сказал он Панаеву,— мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости — это какие-то нравственные уроды.

— Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее,— возразил Панаев.

— На тебя, кажется, семинарская сфера начинает влиять,— с пренебрежительным сожалением произнес Тургенев.

— Господа! — прибавил он, обращаясь к присутствующим в комнате.— Панаев начинает отрекаться от своих традиций, которым с таким неуклонным рвением следовал всю свою жизнь.

— Отчего же не сознаться, если это правда; теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же лета,— отвечал Панаев.

Тургенев, с притворным ужасом обращаясь к присутствующим, воскликнул:

— Господа! Неужели мы дожили до такого печального времени, что увидим нашего элегантного Панаева в сюртуке, застегнутого на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках!

Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки и очки, но, разумеется, никогда не ходили в грязном белье.

— Мое зрение стало слабо, и я должен скоро надеть очки! — отвечал Панаев.

— Ну нет,— воскликнул Тургенев,— мы все, твои давнишние друзья, не допустим тебя сделаться семинаристом. Мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни. Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры; тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье.

— Бог с тобой, Тургенев, какие ты выдумал сравнения! — воскликнул Панаев в испуге.— Ты, ради бога, не делай этих сравнений в другом обществе.

— Ты наивен, неужели ты думаешь, что статьи этих семинаристов читают в порядочном обществе?

— Однако тогда бы подписка на «Современник» с каждым годом не увеличивалась!

— По старой памяти ждут от «Современника» прежнего его стремления к развитию в обществе художественных вопросов... Меня удивляет, как Некрасов, с его практичностью, не видит, что семинаристы топят журнал в грязной луже. Впрочем, он теперь слишком занят другим делом. Он добивается быть капиталистом и, несомненно, им сделается, так что я буду перед ним бедняком. Ему нипочем теперь бросать тысячи на свои прихоти; а я должен призадумываться в сотне рублей, иначе не сведу дохода с расходом. Не понимаю, прежде это же имение давало вдвое более доходов. ⟨. . .⟩

Характер каждого человека лучше всего узнается в его домашней жизни.

Я всегда изумлялась скромности Чернышевского как семьянина и отсутствию в нем всяких требований для себя комфорта. После продолжительной работы он был всегда весел, точно все время наслаждался легким и приятным занятием. Его кабинет был маленький, и он целый день проводил в нем за работой. Я заставала его иногда за двумя работами. Он спешил выпуском перевода «Истории» Шлоссера и диктовал перевод молодому человеку; пока тот записывал, Чернышевский в промежуток

сам писал статью для «Современника» или же читал какую-нибудь книгу. Кроме древних языков, Чернышевский знал еще несколько европейских, и притом знал превосходно.

Однажды Добролюбов, по поводу моего замечания о необыкновенной умеренности Чернышевского в обыденной жизни, сказал мне:

— Чернышевский свободен от всяких прихотей в жизни, не так, как мы все, их рабы; но, главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу...

Обыкновенно люди, способные закалить себя от всяких материальных удобств, требуют, чтобы и другие также отреклись от них, но Чернышевскому и в голову не приходило удивляться, что другие люди до излишества неумеренны в своих прихотях.

Чернышевский очень был близорук, вследствие чего с ним нередко происходили смешные qui pro quo; * например, раз, придя ко мне в комнату, он раскланялся с моей шубой, которая брошена была на стуле и которую он принял за даму; в другой раз возле него на стуле лежала моя муфта, и он нежно гладил ее, воображая, что это кошка, и т. п.

Близорукость мешала Чернышевскому быть наблюдательным; зато Добролюбов обладал наблюдательностью в высшей степени; от него не укрывалось ничто фальшивое в людях, как бы они ни старались замаскировать эту фальшивость. Когда в редакции бывали литературные обеды, всегда многолюдные, то от Добролюбова не ускользала ни одна фраза, ни одно выражение лица присутствующих на обеде.

Добролюбов всегда сидел на этих обедах возле меня и беседовал со мной, почти не принимая участия в общем разговоре. Между сотрудниками «Современника» Тургенев был, бесспорно. самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! И какая чертовская память!

---

* Ошибка по недоразумению (*лат.*).— *Ред.*

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! — отвечал Некрасов.— Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... Утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский.

Тургенев рассмеялся и воскликнул:

— Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике»!

— Увидишь,— сказал Некрасов.

— Меня удивляет,— возразил Тургенев,— как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно ⟨было⟩ его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному!.. Я даже намекнул на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.

— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то — сам сознайся — это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего.

— Ну, оставим этот разговор,— как бы с неудовольствием прервал Тургенев,— скажи-ка мне лучше, сколько у тебя капиталу. Всюду только и говорят, что ты выиграл значительный куш то у одного, то у другого.

— Выиграл-то я изрядный куш, но половину его отыграли у меня... Что-то начинает мне надоедать игра!

— И не смей оставлять ее, пока везет тебе счастье. Подумай, ведь дело идет к старости, а чтобы она была сносна, нужно окружить себя комфортом, а на это надо много денег!

— Да, я развратился; мне теперь, по моим привычкам, много нужно денег.

— Ошибаешься, это не развращение, а доказательство, что в тебе развились потребности к изящному в жизни. Вспомни, как мы с тобой в сороковых годах, бывало, пожирали обеды в пятьдесят копеек, а теперь нас стошнило бы, если б только посмотрели на такой обед. Прежде я, приезжая в деревню к матери, был доволен расположением какой-нибудь Натальи из девичьей, от которой несло русским маслом и опойковыми башмаками. А теперь такая женщина возбудила бы отвращение, если б приблизилась ко мне. Скорее тогда мы имели развращенные понятия, а теперь только явились в нас потребности к изящному.

Когда Тургенев убедился, что Добролюбов не поддается на его любезные приглашения, то оскорбился и начал говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием: осмеять, загрязнить всякое увлечение, все благородные порывы души писателя, что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзиею; что никогда русская литература до вторжения в нее семинаристов не потворствовала мальчишкам из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов.

Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова, но он не обращал на них внимания и удивлялся только одному: к чему об этом передают ему?

— Неужели думают,— говорил он,— что я испугаюсь таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения. Странные понятия у этих господ!

Мне было странно видеть, что когда соберутся вместе Чернышевский, Добролюбов, Антонович и Пыпин, то они никого не бранят и никто из них не интересуется литературными дрязгами и сплетнями.

Через несколько месяцев по приезде маленького брата Добролюбова он выписал и меньшого своего брата Ваню [10].

Кроме забот о сестрах и братьях, Добролюбову пришлось заботиться пристроить на службу также приехавшего к нему дядю [11].

Добролюбов с детства не видал его, потому что оба они жили в разных городах.

Надо было удивляться, когда Добролюбов успевал перечитать все русские и иностранные газеты, журналы, все выходящие новые книги, массы рукописей, которые тогда присылались и приносились в редакцию. Авторам

не нужно было по несколько раз являться в редакцию, чтобы узнать об участи своей рукописи. Добролюбов всегда прочитывал рукопись к тому дню, который назначал автору.

Много времени терялось у Добролюбова на беседы с новичками писателями, желавшими узнать его мнение о недостатках своих первых опытов. Если Добролюбов видел какие-нибудь литературные способности в молодом авторе, то охотно давал советы и поощрял к дальнейшим работам. Немало труда и времени нужно было употреблять также на исправление некоторых рукописей. Наконец, приходилось беспрестанно отрываться от дела и для объяснений с ними. Таким образом, Добролюбов мог приниматься за писание своих статей только вечером и часто засиживался за работой до четырех часов утра. Изредка он для отдыха приходил на нашу половину к вечернему чаю и был доволен, если его братья, беседуя с ним, высказывали умно и толково свои мнения о прочитанной книге, которую он давал им. Добролюбов говорил мне:

— Мальчики неглупые, только надо позаботиться дать им прочное образование, развить в них честное направление, и это моя обязанность, а между тем я плохо выполняю ее.

Я успокаивала его, уверяя, что теперь для мальчиков еще не так важна его забота о них, а когда они подрастут, тогда и его жизнь не будет такая лихорадочная и он может руководить сам их воспитанием.

По утрам Добролюбов беседовал с Некрасовым относительно состава книжек «Современника» и вообще о статьях, предназначавшихся для напечатания в журнале.

Он очень заботился, чтобы ни одна фраза не противоречила направлению журнала, и волновался, если авторы статей выражали свои мысли слишком многословно. Особенным многословием отличался литератор Ш. [13]

Однажды Добролюбов настаивал на необходимости выкинуть из его статьи три страницы.

— За что же,— говорил Добролюбов,— заставлять читателя терять время на ненужную болтовню автора, разводящего на трех страницах мысль, которую можно выразить двумя фразами; да и добро бы, если бы эта мысль была нова, а то самая избитая.

— Не стоит поднимать возню! — заметил Некрасов.— Потом объясняйся с Ш.

— Я беру на себя эти объяснения.

— Это не избавит и меня от них. И так на «Современник» все точат зубы! Обрадуются, что у редакции выйдет неприятность с Ш., и пойдут разные толки.

— Редакция обязана дорожить мнением читателя, а не литературными сплетнями,— отвечал Добролюбов.— Если бояться всех сплетен и подлаживаться ко всем требованиям литераторов, то лучше вовсе не издавать журнала; достаточно и того, что редакции нужно сообразоваться с цензурой. Пусть господа литераторы сплетничают что хотят, неужели можно обращать на это внимание и жертвовать своими убеждениями. Рано или поздно правда разоблачится и клевета, распущенная из мелочного самолюбия, заклеймит презрением самих же клеветников.

Добролюбов говорил это, очевидно, по поводу распространяемых слухов, будто бы он и Чернышевский являются всюду на сборища молодежи и льстят ей до самоунижения, добиваясь популярности, так как сознают, что их бездарные статьи не могут иметь никакого значения в публике, и они подзадоривают мальчишек, чтобы те кричали об их статьях.

Я, как очевидица образа жизни Добролюбова, могу удостоверить, что он только по утрам видел молодых людей, которые являлись в редакцию с рукописями, и не бывал ни на каких сборищах. Очень часто по вечерам я уговаривала его бросить работу и пойти провести время у кого-нибудь из его семейных знакомых; но он постоянно отговаривался тем, что ему надо торопиться окончить чтение рукописи или дописать статью. Добролюбов не любил даже разговаривать, когда в редакции собиралось много народу.

Чернышевский также не был способен заискивать популярности, и если к нему ходили молодые люди, то лишь с просьбами о работе. Правда, что в течение одной зимы у жены Чернышевского собиралось по субботам много студентов, но — для танцев. Чернышевский под шум веселого говора танцующих и звуки фортепьян работал у себя в кабинете.

Когда Добролюбов писал свои статьи и ему приходилось делать ссылки на книги, журналы и газеты, он не нуждался в справках: благодаря своей удивительной памяти он отлично помнил, где и что было напечатано.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

НОВАЯ ПОВѢСТЬ Г. ТУРГЕНЕВА.

(**Накануне**, повѣсть *И. С. Тургенева*. **«Русскій Вѣстникъ»**, 1860 г., № 1—2).

Эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышенъ. Изъ разговоровъ съ ними служители чистаго искусства могутъ почерпнуть много тонкихъ и вѣрныхъ замѣчаній, и затѣмъ написать критику въ такомъ родѣ. «Вотъ содержаніе новой повѣсти г. Тургенева (разсказъ содержанія). Уже изъ этого блѣднаго очерка видно, какъ много тутъ жизни и поэзіи самой свѣжей и благоуханной. Но только чтеніе самой повѣсти можетъ дать понятіе о томъ чутьѣ къ тончайшимъ поэтическимъ оттѣнкамъ жизни, о томъ остромъ психическомъ анализѣ, о томъ глубокомъ пониманіи невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, о томъ дружелюбномъ и вмѣстѣ смѣломъ отношеніи къ дѣйствительности, которыя составляютъ отличительныя черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, напримѣръ, какъ тонко подмѣчены эти психическія черты (повтореніе одной части изъ разсказа содержанія и затѣмъ — выписка); прочтите эту чудную сцену, исполненную такой граціи и прелести (выписка); припомните эту поэтическую, живую картину (выписка), или вотъ это высокое, смѣлое изображеніе (выписка). Не правда ли, что это проникаетъ въ глубину души, заставляетъ сердце ваше биться сильнѣе, оживляетъ и украшаетъ

Статья Н. А. Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева»

Глава XV

Разрыв Тургенева с «Современником».— Причины этого разрыва.— Разочарование Панаева в литературных друзьях.— Клеветы, распространяемые о Добролюбове.— Разговор Панаева с генералом Тимашевым о Добролюбове и Тургеневе.— Письмо Огарева к Кавелину. 〈...〉 — Облава против Некрасова.— Письмо Панаева к Огареву.— Поездка Добролюбова за границу.

Теперь расскажу — каким образом произошел разрыв между Тургеневым и «Современником».

Добролюбов написал статью о повести Тургенева «Накануне», и она была послана к цензору Бекетову. Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов хвалил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий.

Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и сказал:

— Ну, Добролюбов заварил кашу! Тургенев страшно оскорбился его статьею... И как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки «Современника»! Тургенев сейчас прислал ко мне Колбасина [13] с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, переданным мне Колбасиным, Добролюбов будто бы глумился над его литературным авторитетом, и вся статья переполнена какими-то недобросовестными, ехидными намеками.

Некрасов говорил все это недоумевающим тоном. Да и точно, нелепо было допустить, чтобы Добролюбов мог написать недобросовестную статью о таком талантливом писателе, как Тургенев.

Я удивилась,— каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензор Бекетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить [14]. Я стала порицать поступок цензора, но Некрасов нетерпеливо сказал:

— Дело идет не о цензоре, а о требовании Тургенева выкинуть все начало статьи... Нельзя же ссориться с ним!

— А вы находите, что с Добролюбовым можно? — спросила я.— Он, наверно, не захочет признать за Тургеневым цензорских прав над своими статьями.

— Добролюбов настолько умен, что поймет всю не-

выгоду для журнала потерять такого сотрудника, как Тургенев! — ответил мне Некрасов.

— Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не подчинится.

Некрасов, стараясь объяснить себе поступок Тургенева, сказал:

— Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь обществе нехорошо о Тургеневе? Может быть, это дошло до него, и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, вспылил и сгоряча прислал подвернувшегося под руку Колбасина ко мне.

Предположение Некрасова не имело основания: Добролюбов в обществе никогда не касался личностей литераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, которые не занимались пересудами и сплетнями. Я подивилась — почему Тургенев не сам приехал объясниться с Некрасовым, с которым находился столько лет в самых коротких приятельских отношениях, а прибегнул к посреднику?

— Ну, что толковать о пустяках! — ответил Некрасов.— Важно то, чтобы поскорей успокоить Тургенева. Он потом сам увидит, что погорячился.

Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение.

— Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? — сказал он.

Я ему отвечала, что все знаю; тогда Добролюбов продолжал:

— Отличился Тургенев! По-генеральски ведет себя... Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее.

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бекетову [15]. Я заметила, что не стоит тратить время на объяснение.

— Как не стоит! — возразил Добролюбов.— Если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя дозволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения кому ему вздумается...

Цензор Бекетов преклонялся перед авторитетом Тургенева и воображал, что и тот питает к нему большое

уважение за его цензорскую храбрость. Бекетов всегда торжественно объявлял: «Я, господа, опять получил выговор от начальства — это третий в один месяц!», и Бекетов с гордостью обводил глазами всех. Тургенев потешался над Бекетовым, расхваливая его храбрость, и говорил ему, что он единственный просвещенный цензор в России! Простодушный Бекетов умилялся и растроганным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят его деятельность, и распространялся о своих либеральных подвигах.

Когда Бекетов уходил, то Тургенев покатывался со смеху и восклицал:

— Вот хвастливый гусь! Я думаю, у самого от каждого выговора под жилками трясется, а он кричит о своей храбрости!

Некрасов, давший знать Тургеневу, что сам будет у него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался перед клубным обедом опять заехать к нему, объясняя себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью.

В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух часов ночи и вошел в нашу столовую; он был мрачен и, подавая мне записку, сказал:

— Мне не удалось опять застать дома Тургенева, я оставил ему письмо и вот какой получил ответ — прочитайте-ка.

Ответ Тургенева состоял из одной фразы: «Выбирай: я или Добролюбов».

Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, ходя по комнате, говорил:

— Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне при-слал!.. Какая черная кошка пробежала между нами? Остается одно: вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с «Современником». Это повредит журналу, да и прибавит Добролюбову врагов, которых у него и так много; в литературе обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыпятся разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого... Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело.

Я отправилась к Добролюбову; он удивился моему

позднему приходу. Я придала шутливый тон своему поручению и сказала:

— Я явилась к вам как парламентер.

— Догадываюсь — предлагают сдаться? — с усмешкою спросил он.

— Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранит важную потерю для журнала; Некрасов получил записку от Тургенева...

— Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в «Современнике», если напечатают мою статью,— перебил меня Добролюбов.— Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придираться к моей статье! Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям!.. Я выведу Некрасова из затруднительного положения; я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу.

Добролюбов не дал мне возразить и добавил:

— Нет, уж если вы взялись за роль парламентера, так выполните ее по всем правилам и передайте мой ответ Некрасову.

Идя от Добролюбова, я встретила в передней Панаева, только что вернувшегося домой, и передала ему ответ Добролюбова.

— О чем хлопочет Некрасов? — сказал Панаев.— Никакого соглашения не может быть с Тургеневым. Я был в театре, и там мне говорили как о деле решенном, что Тургенев не хочет более иметь дела с «Современником», потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи... Анненков накинулся на меня с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала; что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, как Тургенев! Я не мог уйти от него, потому что в проходе была толпа, а Анненков воспользовался этим и нарочно громко говорил, чтобы все его слышали... Я только тем заставил его замолчать, когда сказал ему, что он, верно, за обедом выпил много шампанского, что так кричит в публике.

Я сообщила Некрасову ответ Добролюбова.

— Ну вот, недоставало этого! — с досадою воскликнул Некрасов.

В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову выходку Анненкова в театре. Некрасов выслушал его молча и, тяжко вздохнув, произнес:

— Ну, тут ничего не поделаешь! Значит, постарались науськать Тургенева на Добролюбова! — И, обратясь ко мне, он продолжал: — Скажите Добролюбову, чтобы он не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь. Очень я расстроен. Лучше завтра утром поговорим; нам обоим надо успокоиться.

Когда я рассказала Добролюбову о разговоре Анненкова с Панаевым, то Добролюбов пожал плечами и заметил:

— Напрасно они думают, что стоит только им произнести свой приговор над человеком, что он дурак и недобросовестный, то им бесконтрольно все поверят!.. Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного достоинства!..

Я долго еще разговаривала с Панаевым о выходке Тургенева, которая явно клонилась к тому, чтобы лишить Добролюбова возможности сотрудничать в «Современнике». Панаев тогда уже убедился, что был обязан именно своим близким приятелям тем, что о нем постоянно ходили всякого рода сплетни в литературной среде. В первую минуту огорчения Панаев говорил мне:

— За что они всегда так преследовали меня? Что я им сделал дурного? Если я такой дрянной человек, то как же они могли столько лет находиться со мной в таких коротких приятельских отношениях? Как хватало у них духу, после того как они распускали всякие сплетни на меня, жать мне руку и садиться за мой стол? Как у них язык ворочался уверять меня в своей дружбе? Мне так тяжело и такая мучительная тоска давит меня, что я места не нахожу.

Панаев до ослепления был привязан ко всем своим старым друзьям, и на него сильно подействовала их лицемерная дружба. Он сделался скучен и молчалив и по возможности избегал их общества. Это заметили его мнимые друзья и приставали к нему с расспросами: «Что с тобой? Мы думали, что наш Панаев вечно будет юн, а он сделался неузнаваем. Мы, все твои друзья, так тебя любим, что такая перемена в тебе нас огорчает».

Панаев конфузился и говорил мне:

— Хоть бы оставили меня в покое с своим участьем: еще тяжелее мне делается от этого!..

Не знаю, какой разговор происходил на другое утро у Некрасова с Добролюбовым, но, придя от него, Некрасов сказал мне:

— Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы: он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности. Но, бог даст, все недоразумения выяснятся и Тургенев устыдится, что по слабости своего характера поддался влиянию завистливых сплетников, которых, к несчастью, слишком много развелось в литературе.

Некрасов был убежден, что, несмотря на разрыв Тургенева с «Современником», это не повлияет на их давнишнюю дружбу. Он имел право так думать, потому что, когда прежде у Тургенева выходили истории с некоторыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них на стороне, Тургенев говорил тогда Некрасову:

— Вот между нами подобных историй не может произойти, потому что мы оба не поверим никаким сплетням. Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что я будто бы о тебе дурно отзывался, однако ты не поверил же? Мне кажется, если бы ты вдруг сделался ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не могла пострадать. Я бы снисходительно относился к перемене твоих убеждений. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что ничто не может нас разлучить.

Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не делал для «Современника». Принявшись за повесть «Накануне», он уверял, что пишет ее для «Современника», а между тем отдал эту повесть в другой журнал [16], оправдываясь тем, что к нему пристали с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова, данного давно редактору, и чуть не силою взяли у него рукопись. Он утешал Некрасова, уверяя, что у него уже обдумана новая повесть для «Современника» и он скоро ее напишет.

Некрасов говорил: «Я сам виноват, зная, как Тургенев теряется, когда на него накинутся нахрапом; мне надо было поступить так же, а я имел глупость этого не сделать...

Взял бы у него начало повести, и она была бы напечатана в „Современнике"».

Разрыв Тургенева с «Современником» произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургенева, которыми он себя всегда окружал, как глашатаи, оповещали всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы ругательств на Тургенева, будто бы заключавшиеся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем Горынычем, а Тургенев — богатырем Добрыней Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех, как прежних, так и современных, авторитетных писателей.

Когда вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова о «Накануне», то в оправдание себя друзья Тургенева стали кричать, что Некрасов струсил и заставил Добролюбова написать другую статью. Цензор Бекетов выказал настолько храбрости, что опровергал этот слух, но его одинокий голос был заглушен криками, что Некрасов подкупил цензора, чтобы он выгораживал его.

Когда увидели, что предсказания не исполнились и «Современник» с уходом из него Тургенева не только не погибает, а, напротив, подписка на него значительно увеличивается, тогда преследования Добролюбова перешли все границы: стали распространять слухи, что в «Современнике» свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и водворить один грубый материализм; а под видом женского вопроса проповедуют мормонство [17]. В это же время появилась в «Колоколе» нелепая статья о Добролюбове [18], в которой он был выставлен как самая скверная личность.

Надо заметить, что «Колокол» уже терял свой престиж [19], потому что сведения, получаемые им из России, начали иссякать и были в большинстве неверны и нелепы; притом же русской печати дозволено было говорить о многих общественных вопросах, так что лондонская газета уже не представляла прежнего интереса.

Не трудно было догадаться, кем была доставлена статья [20] в лондонскую газету. Один из сотрудников «Современника» нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии и только четыре лица в редакции знали об этой поездке [21].

Вскоре после разрыва Тургенева с «Современником» Панаев встретил во французском театре генерала Тимашева, занимавшего видный и влиятельный пост. Генерал поманил его к себе и укоризненно сказал:

— Ай, ай! Как это вы могли поссориться с вашим давнишним приятелем и таким бескорыстным сотрудником, как Тургенев *.

Панаев отвечал, что с Тургеневым не было ссоры, а что он сам не захотел более сотрудничать в «Современнике».

— Я понимаю,— сказал генерал,— что он не мог оставаться сотрудником в журнале, в котором вы даете место темным личностям.

— Каким темным личностям? — спросил Панаев.

— Вы человек доверчивый, и вас легко эксплуатировать. По старому знакомству я даю вам совет — очистить свой журнал от таких сотрудников, как Добролюбов и Чернышевский, и всей их шайки.

Панаев начал защищать Добролюбова и Чернышевского, на это генерал ему сказал:

— Ваш милейший бывший приятель хорошо познакомил меня с этими ужасными личностями.

— Странно, почему же Тургенев вдруг нашел их ужасными личностями, когда прежде постоянно встречался с ними и приглашал их к себе?

— Пока не узнал их хорошо!.. Впрочем, я должен предупредить вас, что вы видите в моем лице самого горячего защитника Тургенева.

Некрасов тогда не поверил словам генерала Тимашева и полагал, что до него дошли слухи, распространяемые недоброжелателями «Современника», а он свалил это на Тургенева. Некрасов был уверен, что, как только Тургенев узнает, какую взводят на него клевету, то возмутится и докажет, что неспособен на такую низость. Но Некрасов жестоко ошибся.

Тургенев был постоянно окружен множеством литературных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников, которые преклонялись перед его мнениями, восхищались каждым его словом, видели в нем образец всяких добродетелей и всюду усердно его рекламировали. После разрыва Тургенева с «Современником» эти приживальщики с каким-то азартом приня-

---

* Тургенев по-прежнему продолжал говорить в аристократических салонах, что дает свои повести в журналы даром.

лись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных сотрудников «Современника». Так, между прочим, редакция «Современника» была извещена, что Тургенев уезжает за границу для того, чтобы на свободе писать повесть под заглавием «Нигилист»[22], героем которой будет Добролюбов, а вскоре после отъезда Тургенева за границу в литературных кружках появились слухи о письме Огарева к Кавелину[23], в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл тридцать тысяч денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не казалось странным, почему Огарев так долго молчал об этом; его жена умерла в начале 50-х годов, а он только теперь вдруг, ни с того ни с сего, нашел нужным огласить поступок Некрасова. ⟨. . .⟩

Я узнала о письме Огарева от Добролюбова; он не был со мной согласен, что Некрасову следовало доказать имевшимися у нас документами, что обвинение Огарева ложно.

— Не доводить же дело по третейского суда! — сказал Добролюбов.— Явно, что Некрасову мстят за меня его прежние приятели. Все это печальные факты, показывающие, до какого нравственного развращения могут доходить люди. Неужели они не думают, что настанет время, когда в литературе укажут, как на небывалый пример, что в настоящую эпоху некоторые литераторы из личных своих целей и озлобления позорили себя клеветой... Без ужаса нельзя подумать, что если в литературе увеличится число подобных личностей, то они неизбежно подорвут уважение и доверие к печати в общественном мнении, тогда как каждый представитель ее обязан заботиться о том, чтобы своей безупречной жизнью приобрести право печатно высказывать свои взгляды на недостатки общества.

Некрасова ужасно потрясло письмо Огарева и еще более то, что бывшие его приятели литераторы старались распространять слухи об этом письме.

— Я вижу,— говорил он,— что на меня устроена просто облава, затравить меня хотят. Не могу похвастаться, чтобы сочувственно относились к моим стихам в литературе, но уж лично ко мне они выказали бесчеловечное отношение. Право, люди неразвитые, в обществе которых я теперь провожу время, гораздо честнее и гуманнее. Никто из них не дозволяет себе таких клевет. Неразвитым людям еще простительно, если они неразбор-

чивы в поступках относительно своих личных врагов. Не раз вспомянешь Белинского; при нем не позволили бы себе литераторы так изводить клеветой кого-нибудь из личной мести. Очевидно, нам, как мальчишкам с дурными наклонностями, нужен строгий наставник, которого мы боялись бы. Скорей бы сменили нас в литературе люди с более честными нравственными принципами, а мы, кроме дурного влияния, ничего не приносим. Я чистосердечно сознаюсь, что своим образом жизни не могу служить хорошим примером, зато и не считаю себя безупречным рыцарем и не преследую других за их слабости. Мне только и остается одно утешение, что я в своей жизни не был завистником чужого таланта; напротив, радовался появлению его в литературе.

Панаев написал Огареву письмо и просил меня никому об этом не говорить. Один знакомый Панаева ехал за границу, и он поручил ему отвезти его письмо в Лондон. ‹...›

Получил ли ответ на свое письмо Панаев — не знаю, но только с тех пор в лондонской русской газете более не было никаких статей о Добролюбове и изобличительных писем о Некрасове. Я, так же как и Панаев, не сомневалась в личности, которая подбила Огарева написать столь обидное и несправедливое письмо о Некрасове [21].

Между тем здоровье Добролюбова заметно расстраивалось. Когда по утрам он приходил ко мне пить чай, в его лице не было кровинки; он страдал бессонницей, отсутствием аппетита и чувствовал сильную слабость. Доктор дал ему совет ехать за границу и отдохнуть от всяких занятий. Добролюбов в первую минуту говорил мне:

— Меня удивляет, как самый умный доктор дает подобный совет пациенту, зная хорошо, что ему невозможно этот совет выполнить.

— Вы должны ехать за границу,— заметила я.

— Уж вам-то не следовало этого говорить; вы знаете, что я только что развязался с долгом, который сделал мой покойный отец, построив себе дом в Нижнем. Знаете также, что доход с него так мал, что его не хватает на содержание моих сестер и на воспитание моих младших братьев; значит, моя обязанность заботиться о них; а я буду отдыхать целый год и тратить деньги на свое путешествие?!

— Вы не должны ни о чем другом заботиться, как только о своем здоровье.

— В том-то и дело, что не напрасно ли я потрачу время и деньги. А вдруг и со мной окажется такая же штука, как с Некрасовым,— доктора так же ошибаются в моей болезни? Может быть, у меня более серьезная болезнь и одним отдыхом не поправить здоровья...

— Поезжайте к более авторитетному доктору, ну, к двум, трем!

— Кажется, Некрасов перебывал у всех европейских медицинских светил, однако и они ошиблись в его болезни.

— Я вижу, что вам не хочется ехать за границу, вы придумываете разные отговорки,— сказала я.

— Я охотно проехался бы по Европе, если бы это не было сопряжено с такими денежными затруднениями для меня.

— Догадываюсь, что вы не можете расстаться с журналом, а именно от него-то вам и надо бежать за тридевять земель.

— Ну, теперь мне поздно расставаться с журнальной деятельностью; она необходима для моего существования, как рыбе вода.

— Для рыбы нужна чистая вода, а не зараженная гнилью. Сознайтесь, что в течение дня вы несколько раз взволнуетесь от разных неприятностей. Одни сплетни сколько перепортят у вас крови!

— А все-таки для меня немыслимо существовать без журнальной деятельности. Если бы мне сказали, что я могу дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, я не колеблясь предпочел бы лучше прожить только до тридцати лет, но не бросать свою журнальную деятельность.

Все близкие к Добролюбову люди настаивали, чтобы он скорей ехал за границу, да он и сам наконец понял, что ему необходимо восстановить свои силы.

Накануне своего отъезда[25] Добролюбов долго сидел у меня и говорил о своих семейных делах. Несмотря на свою молодость, он был очень заботлив о своих сестрах и братьях.

В половине лета я также поехала за границу — на морские купанья во Францию, и написала Добролюбову, находившемуся в Италии, что отдала его братьев учителю, чтобы он их подготовил к вступительному экзамену в гимназию, и что вместо меня о них будет заботить-

ся одна наша общая знакомая дама, которая уже несколько лет занимается педагогиею и лучше меня умеет воспитывать детей. Добролюбов отвечал мне, что одобряет мое распоряжение.

⟨1889⟩

М. А. АНТОНОВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ

И делал я благое дело
Среди царюющего зла [1].
Добролюбов

В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать.

Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял «Весельчак», в котором подвизались пресловутый барон Брамбеус (Сенковский) и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Предубеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием-эпиграммой на Панаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки Нового поэта»:

Близ селенья речка,
А на речке мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.

Автором четверостишия подписался «Новый поэт», который просил не смешивать его с Новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием:

Близ селения кабак,
В кабаке же «*Весельчак*»
Бранит всех без исключенья,
Не пришедших в умиленье
От его «Предубежденья».

Вслед за «Весельчаком» появилось множество подобных увеселительных листков, и периодических и разовых: «Смех», «Смех под хреном», «Смех и горе» и т. п. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цены, а печатали: «Что пожалуете бедному издателю»,— что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки»[2]. Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были постоянные разглагольствования об оскудении в последнее время веры и упадке нравственности и о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать.

Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих: сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об одинаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедовали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом я понес ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий пробовавший выступать в печать, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан Добролюбовым, и я так и замер от опасений и страха: такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик,— наверное, погибло мое первое писательское создание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера,

чем моя, и в заключение приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания [3]. Все пропало, думал я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только затем, чтобы возвратить статью. Но, с другой стороны, мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки хоть некоторые места в статье признаны были достойными печати, хотя, может быть, и это написано только для моего утешения.

В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы, а обыкновенным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна, но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться [4], и если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение, и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте,— говорил он,— ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них, и я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае,— сказал он в заключение нашего свидания,— непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических и практических и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена.

У Добролюбова была небольшая библиотека, но состояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я питаю некоторую слабость к философии, а между тем мало знаком с крайней левой гегелианства и знаю Фейербаха только понаслышке, он дал мне его сочинения и настоятельно рекомендовал проштудировать его два сочинения:

«Das Wesen der Religion» и «Das Wesen des Christentums»*. «А знаете ли,— сказал он при этом,— кто меня учил философии, да и не одной только философии? Н. Г. Чернышевский,— как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Бакунин учили философии Белинского, Белинский учил уму-разуму Некрасова и Панаева, а Грановский был учителем Забелина. А меня вон кто учил»[5].

Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинение Прудона, «Système des contradictions économiques» **. Когда я, возвращая ему книгу, пожаловался, что в ней нет никаких положительных выводов, что в ней представлены две противоположные системы воззрений, все pro и contra ***, но вовсе не указано, как их примирить и что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, что догматичность везде нехороша, что нужно самому думать и самому решать для себя, на какую из противоположностей следует становиться и какие выводы делать из них.

Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. Наконец Добролюбов сжалился надо мною и сам дал мне темы. Он предложил мне для разбора две книги о русском расколе[6], одну Щапова, а другую на французском языке неизвестного автора. Написанный мною разбор книги Щапова он признал сносным: нашел только, что этот разбор не имеет начала или начинается ex abrupto****, и потому сам написал к нему начало, или вступление. Разбор же французского сочинения он признал довольно удовлетворительным. И этот разбор был напечатан в следующем, 1860 году, без всяких редакторских изменений и дополнений. И таким образом, мой экзамен на сотрудничество в «Современнике», на скромную роль его библиографа, сошел благополучно. После этого Добролюбов в разговорах со мною часто высказывал свои взгляды на библиографию в общем журнале и на те требования, которым она должна удовлетворять. По его мнению, журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны, или же согласны с его направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать враж-

* «Сущность религии» и «Сущность христианства» (*нем.*).— *Ред.*
** «Система экономических противоречий» (*фр.*).— *Ред.*
*** За и против (*лат.*).— *Ред.*
**** Неожиданно (*лат.*).— *Ред.*

дебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их, во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их. Сочинения же индифферентные в смысле направления, хотя бы серьезные и интересные сами по себе, не должны попадать в библиографию общего журнала; им место в специальных библиографических журналах. Все эти мысли я принимал, конечно, как указания и наставления для меня лично, хотя они высказывались безлично и в общей форме.

С течением времени и мало-помалу у меня установились довольно близкие отношения к Добролюбову, но я, кажется, не имею права назвать их дружескими. Он был со мною совсем запросто, и я бывал у него как дома; он высказывался при мне непринужденно, вполне откровенно, без той сдержанности, которая невольно является при разговорах с людьми, неблизкими между собою; иногда он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. И чем больше я его узнавал, тем сильнее поражала и увлекала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных и, так сказать, заурядных качествах, свойственных всякому порядочному и более или менее выдающемуся человеку, каковы, например, гуманность, великодушие, преданность своему делу и своим людям, самоотвержение, бескорыстие, готовность помочь всякому. Этими качествами Добролюбов был одарен в высшей степени. Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже благоговение к нему,— это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало путь к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что при данных условиях было невозможно; и эта невозможность служила для него источником нервных страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным страдальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства,

негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному из своих школьных товарищей он писал: «До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены *все силы, сколько их ни есть в натуре нашей.* И я твердо верю, что, будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой и Ваней, да решись эти люди и согласись между собою окончательно,— деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов» [7].

В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем,— но и умрем все-таки не даром» [8]. И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность.

Его глубоко, до болезненности, возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им; он видел, как властно царствует зло в житейском темном царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность каким-нибудь энергическим и геройским усилием, одним согласным напором. «Постепенно», «потихоньку да полегоньку» — были противны его энергической, горячей юношеской натуре. Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на дело, а ему сковывают руки. Но энергия и страстность не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать во что бы то ни стало, работать и бороться могучим орудием печатного слова.

И Добролюбов мечтал произносить и печатать горячие речи и горячие призывы, как делал в Италии прославленный им о. Александро Гавацци [9], громить или возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала ему язык, не давала возможности высказать и десятой доли волновавших его идей и чувств — что еще больше усиливало его недовольство и муки. Точно как будто сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духов-

ной академии: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мною мое всегдашнее, неотъемлемое утешение — что я трудился и жил не без пользы» [10].

Печать, по идеалу Добролюбова, должна была будить общество, звать его на дело, на борьбу. А фактическая фигурировавшая перед Добролюбовым печать делала как раз противоположное: она убаюкивала читателей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочного негодования для Добролюбова. Печатные статьи его достаточно показывают, как возмущала и терзала его хвастливая и обольстительная фраза: «В настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность и действует бич обличительной литературы» и т. д. Но нужно было послушать его на словах, чтобы увидеть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая фраза и как она его бесила. «На каждом шагу,— постоянно твердил он,— мы видим возмутительные факты, всюду вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, а печать точно не видит и не замечает этого и во все горло прославляет и славословит «настоящее время». Им плюют в глаза, а они говорят, что это божья роса». На самом деле литераторы видели и замечали эти факты и явления. Как только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или безобразном явлении, и все пожалеют о том, что *этого* нельзя напечатать и что следовало бы послать *это* в Лондон Герцену напечатать в «Колоколе». Но все это рассказывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и благодушно, и рассказчики и слушатели на другой же день продолжают свои гимны «настоящему времени», процветанию гласности и обличительной литературы. Добролюбова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлялся, как это можно так спокойно и благодушно относиться к подобным фактам; и его мучило двойное негодование — и на самые факты и на печать. Все сообщаемые ему этого рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою записную книжку [11] (неизвестно, сохранилась ли она после погрома, разразившегося над литературным душеприказчиком Добролюбова [12]), для того ли, чтобы постоянно помнить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить

об ненавистных ему афинянах, или для того, чтобы иметь побольше аргументов для развенчания и унижения «настоящего времени».

Добролюбова тем более бесило такое поведение печати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог решить — идиотство ли это, ограниченная нетребовательность и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже и мерзее. Ему самому казалось яснее солнца, что печать обличает только пустяки и мелочи, только мелких сошек и что все обличаемое ею есть только поверхностная пена, источник которой лежал гораздо глубже, что это небольшие побеги от более солидных стволов и корней, на которые и следовало устремить все внимание, и он даже не допускал возможности, чтоб и другие, да еще литераторы, этого не видели и не понимали. Они, может быть, видели и понимали, а все-таки услаждались своими обличениями, считали себя либералами и с гордостью воображали, что они своими обличениями совершают гражданский подвиг.

Добролюбов не дожил до того времени, когда совершилась полная эволюция этих поверхностных обличителей и либералов и они вылились в законченную форму мракобесов и литературных сыщиков и когда для него объяснилась бы их прежняя либеральная слепота и поверхностная обличительность.

С досадой и горечью, а иногда даже с бранью, Добролюбов постоянно повторял, что уж если кому непростительно славословить «настоящее время» с его гласностью, так именно литераторам, даже либеральным обличителям, которые на собственной спине должны были испытать всю прелесть этого времени. Действительно, цензурный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против прежнего времени, только ослабел, не больше, но продолжал существовать и давал себя чувствовать очень сильно и больно и с течением времени все сильнее и больнее. Наиболее серьезные области государственной и общественной жизни, как и в предшествующее время, тоже были недоступны и запретны для печати; например, несмотря даже на то, что уже подготовлялась в секрете крестьянская реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о крепостном праве и против него. Цензура даже по части дозволенных предметов была строга, придирчива, мелочна; и разговоры между литераторами всегда перемешивались рассказами цензурных анекдотов. «А знаете,— говорил

один,— нам запретили дурно отзываться о Наполеоне III и его правительстве; наш цензор расходился до того, что из приготовленной книжки журнала вымарал около пятнадцати листов — почти целую половину книжки».— «А у нас,— подхватывал другой,— цензор вымарал невиннейшую обличительную заметку, где место действия было обозначено только иксом».— «Это еще что,— говорил третий,— а вот нас притянули к ответственности и распекли за напечатание объявления „О старце и ухе“» и т. д.

Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хохотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно безобидные и заурядные случаи повседневной жизни. Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрачным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у нас процветает гласность», и потом заносил эти анекдоты в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая лихорадка трясла Добролюбова, когда цензурные операции проделывались над его собственными статьями. Положение самих цензоров было тоже ужасное, обоюдоострое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разговоров о прогрессе и гласности, осмелится действовать менее строго и более снисходительно, то на него сыплются выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не пустая угроза — она нередко приводилась в исполнение, и в пользу одного из таких смелых отставленных цензоров [13] даже Катков хотел устроить всенародную подписку. Если цензор провинится на одном издании, то его переводят на другое, более благонадежное, а на его место назначают другого, более строгого, собаку. И вот в литературных кружках — и ликования и вопли; одни говорят: «Ах, какое счастье — нам дали цензором X», а другие голосят: «Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что и делать, совсем пропали!» Все это действительно было комично, и литераторы действительно хохотали по поводу таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов не видел тут комизма; а может быть, и видел, но только обращал внимание на другую, далеко не комическую сторону дела и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и благоденствие издания зависят не от цензуры вообще и не от цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. Вот так прогресс!»

Особенно стеснительно и тяжело для печати было то, что, кроме цензур общей и духовной, существовало еще

много цензур специальных: военная, морская, финансовая, министерств юстиции и внутренних дел, театральная и т. д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охранявшую его интересы в печати. Несчастные статьи, прошедшие через все эти мытарства, возвращались, конечно, в самом растерзанном и изуродованном виде, не говоря уже о бесконечных проволочках и трате времени. Для «Современника» была набрана для помещения в фельетон небольшая заметка, в которой описывалось какое-то морское торжество в Кронштадте. Общий цензор, кое-что повымаравши, направил заметку к военному цензору, который, как само собой разумеется, должен был направить ее к морскому цензору. Этот последний против фразы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лестницам» — положил такую резолюцию: «На военных судах нет веревочных лестниц, а есть ванты,— автор не понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более продолжительные. Для «Современника» же была набрана статья «Каторжники» [14]. Цензор направил ее в Сибирский комитет (тоже специальная цензура), который признал, что она касается министерства внутренних дел и юстиции, и, сверх того, подлежит духовной цензуре. Предпоследние два мытарства статья прошла сравнительно благополучно, а духовный цензор вымарал все духовное. Затем статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес статью на рассмотрение цензурного комитета, который, в свою очередь, представил ее в главное управление цензуры. И вот несчастный Добролюбов, видевший и знавший десятки и сотни подобных анекдотов, должен был ежедневно читать и переваривать панегирики «настоящему времени» и процветанию гласности.

Но судьба готовила Добролюбову еще более чувствительный неожиданный удар, поразивший его в это его больное и наболевшее место еще сильнее и больнее, чем самохвальство и самоуслаждение внутренней легальной печати. Этот удар нанесла ему заграничная нелегальная печать. По поводу двух статей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» Герцен напечатал в «Колоколе» громовую и резкую заметку, почему-то озаглавив ее по-английски: «Very dangerous!!!» *, и, чтобы заметка обратила на себя особенное внимание, против ее заглавия был

* «Очень опасно!!!»— *Ред.*

нарисован указующий перст. О содержании и тоне заметки могут дать понятие следующие выдержки из нее: «Чистым литераторам, людям звуков и формы (это Добролюбову-то!) надоело гражданское направление нашей литературы; их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало Обломовых и антологических стихотворений... Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности... Столичные растения, вы вытянулись между Грязной и Мойкой; за городской чертой для вас чужие края... Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею. Может, они об этом и не думают,— пусть подумают теперь!» Если бы сильный и неожиданный удар грома разразился над головою Добролюбова, то он так не поразил бы и не потряс его, как эта заметка. Он готов был лопнуть от досады и огорчения, от злости и негодования. Этот удивительный пассаж был необъясним и непостижим. «Славословит нашу гласность,— говорил возмущенный Добролюбов,— и превозносит обличительную литературу — кто же? тот самый «Колокол», который почти весь наполняется цензурными анекдотами и к которому все прибегают только по недостатку гласности!» Да, судьба была жестока с Добролюбовым и мучила его всевозможными способами, и внутреннею и заграничною печатью! [15]

Другим выражением пустого самодовольства и ограниченного самоуслаждения тогдашней печати была, в глазах Добролюбова, ее заносчивость перед иностранцами, ее беспощадная строгость, а иногда и презрительное отношение к иностранным делам. «В политических обозрениях, в иностранной политике,— говаривал Добролюбов,— русская печать ужасно либеральна и даже радикальна и чрезвычайно требовательна». Действительно, ни одно иностранное государство своей политикой не могло угодить русской печати и заслужить ее одобрение; напротив, она направо и налево сыпала обвинениями и швыряла камни осуждения в европейские дела, как самый компетентный судья, руководствующийся высокими государственными идеалами, совершенно забывая святое правило, что камни осуждения может бросать только

тот, кто сам безгрешен. Сколько, например, доставалось тогда от нашей печати Наполеону III! Привыкнув видеть у себя гласность, она возмущалась при виде безгласной французской прессы, подавленной Наполеоном. Поэтому русская печать сочувствовала даже соучастникам Орсини в покушении на Наполеона, убежавшего в Англию, и радовалась оправданию их английскими присяжными. Печать так яростно нападала на Наполеона, что даже цензура находила, что это уже слишком, и сдерживала ее обличительную ярость, направленную на французские дела. Не говоря уже о Германии и Австрии, особенно доставалось от нашей печати коварному Альбиону, хотя одно время в печати проглядывало даже англоманство [16]. От инквизиторских взоров нашей печати не могли укрыться ни одна ошибка, ни одна стеснительная мера, ни одно некорректное действие Пальмерстонов или Росселей. Особенно сильно пушила печать Англию за сипаев, совершенно так же, как теперь пушат ее за буров [17]. Наша печать, привыкшая к миролюбию, гуманности, мягкости, снисходительности и всепрощению, до глубины души возмущалась жестокостью и кровожадностью, с какими англичане усиливались подавить восстание сипаев в Индии. Счастливая, свободная и потому великодушная печать глубоко сочувствовала порабощаемым сипаям, совершенно так же, как нынешняя печать сочувствует свободолюбивым и благочестивым бурам.

Такая строгость и такое сочувствие восстаниям, восставшим, по мнению Добролюбова, были вовсе не к лицу нашей печати, и ее судейская роль относительно иностранных дел бесила его не меньше, чем славословия «настоящему времени» и его гласности. Он возмущался карикатурами Степанова на англичан и французов и по поводу их написал на Степанова две эпиграммы [18], из которых, к сожалению, сохранилась только одна. В печати он издевался и глумился над стихотворениями Розенгейма [19], содержавшими в себе квинтэссенцию национального самохвальства и заносчивости перед иностранцами. У Розенгейма все это было возведено в перл создания. Запад — это «хилый старик, истративший силы в корчах козней и интриг»; иностранцы — это «фабриканты мятежей», тогда как «Русь — защита тронов, алтарей, правой власти, страх и ужас мятежей, слабейшего отряда, безверию упрек, безначалию урок» и т. д. Но печатные издевательства Добролюбова и пародии на стихотворения Розенгейма

были только слабым выражением того негодования, той злости, какие возбуждало в нем это национальное бахвальство, свойственное не одному Розенгейму, но почти всей печати. Дать волю этому негодованию излиться в серьезной статье со всеми его мотивами и аргументами Добролюбов не признавал возможным. За англичан же он вступился [20], и в серьезной статье, и желал убедить русских публицистов, что судить строго англичан и вообще все иностранные дела им вовсе не к лицу, непристойно, и что их приговоры, при всей их неуместности, даже несправедливы. В своей статье, которая, к сожалению, не попала в собрание его сочинений, «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» он писал следующее: «Теперь, даже среди ожесточения, какое возбуждено в общественном мнении англичан неистовствами сипаев, раздаются уже в парламенте и на митингах голоса против злоупотреблений английского управления в Индии; в лондонских газетах печатаются статьи и письма, полные упреков Англии и сожаления об участи туземцев. В этой смелости, беспощадности, с которой во всякое время могут быть раскрыты правительственные и общественные недостатки, заключается величайшая сила Англии». Этому последнему обстоятельству тогдашние публицисты не придавали никакого значения, а, напротив, пользовались им как готовым и легким орудием против самих же англичан: вот, мол, сами англичане видят и сознаются, как они нехороши! К сожалению, для нынешних публицистов указанное обстоятельство служит только оружием против англичан же и не наводит их ни на какие другие размышления и соображения, чего никак нельзя было ожидать по крайней мере от тех из них, которые, по-видимому, относятся к Добролюбову с уважением и которым поэтому не мешало бы принимать к сведению его указания и размышления. Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное — пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого недостаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезные рассуждения, и что в шуточной или сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме, и что, наконец, насмешкой и издевательствами можно будет вернее убить ненавистную и самодовольную фразу о настоящем времени. Поэтому Добролюбов убедил Некрасова

предпринять издание сатирического журнала вроде «Искры», которою он был не совсем доволен. Все было готово: был найден вполне благонамеренный редактор, зять Некрасова[21], заслуженный воин, потерявший ногу на поле сражения, были добыты требуемые рекомендации четырех генералов. Но все было напрасно: разрешения на издание не было дано. Нечего и говорить о том, как подействовало на Добролюбова это обстоятельство и насколько усилило лихорадку его недовольства вообще и в частности его негодования на фразу о процветании гласности. Чтобы поправить неудачу и взамен особого сатирического журнала, решено было завести особый отдел в «Современнике» — «Свисток».

Для серьезных отделов «Современника» Добролюбов очень много и усиленно работал; а с основанием «Свистка» для него прибавилась новая работа, за которую он принялся с его обыкновенною горячностью и нетерпением. В «Свистке» он часто смеялся, подобно Гоголю, сквозь невидимые слезы, свистал, например, по поводу таких вещей, как опыты отучения людей от пищи, то есть мор рабочих голодом, сечение гимназистов, акционерные общества, учрежденные Кокоревым и Бернардаки, и т. п. Все эти усиленные труды в соединении с постоянно мучившей его моральной лихорадкой подорвали его здоровье, и друзья его настоятельно советовали, просто требовали, чтобы он отправился за границу, серьезно отдохнул бы там и полечился, оставив на время всякие литературные занятия. Уступая их настояниям, он, хотя и очень неохотно, отправился за границу в конце мая 1860 года, через Берлин; побывав в Дрездене, Лейпциге и Праге, он проехал в Швейцарию, оттуда отправился в Диепп, для лечения морскими купаниями, и затем снова возвратился в Швейцарию. Из Швейцарии проехал в Париж, и, пробыв в нем несколько времени, отправился в Италию, где и пробыл все время до возвращения в Россию. Уже находясь за границей, он все-таки помнил и заботился обо мне и о моих делах. В одном из писем к своему дяде[22], который ведал все его дела и на попечении которого он оставил двух своих младших братьев, он, точно предугадывая, что я посовещусь явиться в редакцию «Современника» с требованием денег за мою напечатанную статью, поручил дяде справиться у казначея «Современника», получил ли я деньги за статью, и если не получил, то чтоб их мне послали, причем указал мой адрес. В том же письме,

СВИСТОКЪ

Собраніе литературныхъ, журнальныхъ и другихъ замѣтокъ.

8

1.

СВИСТОКЪ, ВОСХВАЛЯЕМЫЙ СВОИМИ РЫЦАРЯМИ.

(Посвященіе, [illegible] читателямъ.)

«Свистокъ» теперь на верху своей славы, въ апогеѣ своего величія; положеніе, какое онъ завоевалъ себѣ въ ряду великихъ журналовъ, можно сравнить только развѣ съ положеніемъ, завоеваннымъ Италіею въ ряду великихъ державъ. Правда, офиціально признанъ онъ до сихъ поръ только «Русскимъ Словомъ» и «Временемъ»; но вѣдь и Итальянское королевство было признано сначала только тунисскимъ беемъ и португальскимъ королемъ... а потомъ и пошло,— до того, что сама Франція признала его, хотя и не можетъ никакъ вывести войска свои изъ Рима. Такъ будетъ и со «Свисткомъ»: пройдутъ тяжкія времена литературныхъ смутъ, разсѣются туманы недоумѣній, и самъ «Русскій Вѣстникъ» признаетъ «Свистокъ», хотя уже и не въ состояніи будетъ никакими кислотами вывести изъ своего «Литературнаго Обозрѣнія» — ни статей г. Юркевича, ни разсужденій о томъ, что такое свистуны.

«Свисток» — сатирическое приложение
к журналу «Современник»

по поводу моей второй статьи о расколе, встретившей цензурные затруднения, он писал: «Если же статью его не напечатали, то скажите, чтобы попробовали теперь. Она недурна, и цензура, вероятно, после смерти Григория [23] стала сговорчивее». Дядя исполнил поручение, и вторая статья была напечатана; но денег и на этот раз мне не прислали, а пойти за ними я совестился.

Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вниманию Чернышевского, но не познакомил меня с ним лично. Все лето я провел вне Петербурга и возвратился только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыскивает меня. Я явился к нему в первый раз в конце 1860 года. Увидав меня, он по первому же абцугу * даже, кажется, не поздоровавшись, напустился на меня с упреками, почему я так долго не являлся к нему, почему я не доставил для «Современника» ни одной статьи и даже не давал знать, где я нахожусь, и не являлся за деньгами за статьи. Затем он вдруг переменил тон, развеселился, стал хохотать и совершенно по-приятельски стал расспрашивать о моих личных делах и занятиях и т. д. и в конце нашей довольно длинной беседы настоятельно требовал, чтобы я непременно писал для «Современника», и когда я стал отговариваться, что не знаю, о чем писать, то он опять рассердился и с досадою сказал: «По вашим напечатанным статьям я воображал, что вы бойкий и ловкий молодой человек, что у вас уже готово несколько статей; а вы, оказывается, ничего не сделали и даже не сумели найти сюжета для статьи. Добролюбов говорил мне, что вы чувствуете слабость к философии и знакомы даже с современной философией; ну вот и прекрасно, пишите о философии, пишите обо всем, о чем хотите: берите и разбирайте какие угодно книги, только пишите!»

Я действительно стал писать для «Современника» и статьи и рецензии и потому имел почти постоянные сношения с Чернышевским, который находил мои статьи удовлетворительными и считал меня уже постоянным сотрудником «Современника». Сблизившись таким образом с Чернышевским, я увидел, до какой степени он ценил и высоко ставил Добролюбова и как глубоко любил и уважал его как товарища, как друга и даже почти чуть не как учителя. В его глазах Добролюбов был недосягаемым идеалом человека и писателя. Чернышевский вос-

* Abzug (*нем.*) — здесь в значении «сразу».— *Ред.*

хищался Добролюбовым, удивлялся ему, чуть не благоговел перед ним. В редкие минуты откровенности и задушевности у Чернышевского было любимой темой разговора — сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень интересно то, что и Добролюбов точно так же относился к Чернышевскому, тоже постоянно сравнивал себя с ним не в свою пользу, ставил его во всем выше себя, считал его своим учителем и просветителем. Мимоходом следует заметить здесь, что в этих взаимных оценках Добролюбов был правее и ближе к истине, чем Чернышевский, который был убежден в противном и совершенно искренно ставил Добролюбова выше себя. «Что мы? — говорил Чернышевский.— Мы долго блуждали, прежде чем попали на настоящую дорогу, просветление наше совершилось медленно и постепенно, и чего оно нам стоило? А вот он прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным, гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую, прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера. Он уже в самой ранней юности начертал свой вполне определенный жизненный план и ясно наметил цель своей жизни и деятельности; это мне известно доподлинно».— «И какой у Добролюбова верный литературный взгляд,— удивлялся, бывало, Чернышевский,— какое тонкое чутье, какая проницательность; ее не обманет ничто, и ничто не скроется от нее. Вот я прочитаю что-нибудь, и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно и правдиво; но прочитает это же самое Добролюбов и находит, что оно нехорошо, и неискренно, и неправдиво. Я потом посмотрю, и действительно сам увижу, что я ошибался, а он прав».

Почти буквально то же самое говорил Добролюбов о Чернышевском. «Вот,— говаривал он,— у кого зоркий, проницательный взгляд — у Чернышевского: он сразу охватит все и проникнет до самой сокровенной глубины». Особенно горячо и убежденно он повторял это после появления в «Колоколе» заметки «Very dangerous!!!». «Да,— говорил он,— Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог, я — близорукий зритель!»

Нужно заметить здесь, что Добролюбов был восторженным поклонником Герцена и его крайне удивляло и даже неприятно поражало то, что Чернышевский, отдавая полную справедливость Герцену, отзывался все-таки о нем крайне сдержанно и даже холодно. Для успокоения Добролюбова Чернышевский превозносил литературный талант Герцена, называя его блестящим. Но для Добролюбова этого было мало в прежнее время. Когда же ему был сделан неожиданный реприманд в виде «Very dangerous!!!», он охладел к Герцену и тем больше удивлялся проницательности Чернышевского. К слову сказать, Чернышевский имел случай видеться с Герценом за границей, и они, кажется, остались не совсем довольны друг другом.

Особенно же высоко ценил Чернышевский в Добролюбове — и на этот раз уже абсолютно справедливо — удивительную силу убеждения и страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот,— говаривал он,— настоящий человек дела, жаждущий дела. У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявиться в соответствующих действиях. И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно и страстно. Вот я,— осуждал себя Чернышевский в самых задушевных интимных и потому вполне искренних беседах,— не могу быть таким серьезным; к фактам и явлениям, которые Добролюбова возмущают и выводят из себя, я отношусь добродушно, даже шуточно, и, во всяком случае, они возмущают меня менее, чем его». И действительно, в обыкновенных случаях и в разговорах с не близкими людьми Чернышевский держал большею частью шуточный тон, острил, смеялся, хохотал, даже если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но это была только обманчивая наружность, потому что, как это знали и видели люди, близкие к нему, он все воспринимал и чувствовал, может быть, даже и глубже и живее, и его негодование в глубине его души было еще энергичнее, чем у Добролюбова.

Далее, Чернышевский удивлялся в Добролюбове не-

умолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы они ни были, знакомые ли, приятели, люди высокопоставленные в литературе, авторитеты или начинающие новички; со всеми он был одинаков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду-матку. «Я,— осуждал себя Чернышевский,— не могу быть строгим с людьми знакомыми, близкими или с людьми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными и, что называется, милыми. У меня язык не поворачивается сказать им в лицо неприятную правду, духу не хватает. Я никак не могу отказать в статье для «Атенея» [24] милым людям, просившим меня о ней, и не мог сказать, что я не сочувствую их журналу,— за что Добролюбов издевался и хохотал надо мной. И, кроме того, милым и авторитетным людям я готов многое прощать и многое извинять в них. Вот Добролюбов, у него нет на лице зрения, он за дело всякого обругает в глаза без малейшего стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: к малейшему неправильному поступку отнесется с самым строгим осуждением». Относительно Добролюбова это было вполне справедливо; но и сам Чернышевский во многих случаях поступал еще строже и нелицеприятнее Добролюбова. В пример беспристрастия и нелицеприятия Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: «Посмотрите, какую штуку он отмочил. Он знаком и даже приятель с милейшим Алексеем Дмитричем (Галаховым) [25] и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его прекрасно принимают; он у них — свой человек; Алексей Дмитрич оказывал даже ему разные услуги,— и что же? Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе заседания Литературного фонда написал бессмысленную фразу: «Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, *запрещающей* не только *не напрашиваться* на пособие, но и *стыдливо принимать* пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в человеке, посвятившем себя литературе и науке». Добролюбов подхватил эту фразу в «Свистке» [26], прикинулся ничего не знающим и с ехидством восклицал: «Да где же Покровский со своим памятным листом [27] ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило

духу так зло посмеяться над знакомым, да еще таким милым и приятным человеком, и как он будет после этого смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не хватило на это, а ему это нипочем, он и в ус себе не дует. И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добролюбов возмущается, негодует на то, что русские литераторы, так сказать законодатели русского языка, не умеют правильно выражаться по-русски.

В глазах Чернышевского еще более резким выражением строгости и нелицеприятия Добролюбова было его отношение к корифеям и ветеранам литературы. «Вы бы посмотрели,— говорил он,— как Добролюбов третирует их: обращается с ними сдержанно, холодно, даже сурово, а иногда просто запанибрата, не говоря уже об отсутствии почтительного и предупредительного внимания. К милейшему, мягчайшему и утонченнейшему Тургеневу или к добрейшему Кавелину он относится небрежно и невнимательно, точно к какому-нибудь безвестному литературному новичку: он делает им замечания, даже подтрунивает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стесняется и не смущается перед ними и режет им свое. А с другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами, обращается еще дерзновеннее».

Следует заметить при этом в скобках, что, несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями и авторитетами был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали такую фразу: «Добролюбов — просто змея, а Чернышевский — ядовитая, гремучая змея». Но то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал некоторых литературных корифеев, и так называемых людей 40-х годов, и вообще всех и менее известных литераторов, либеральничавших только языком и пером; он безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них раздраженным тоном. В них видел, так сказать, квинтэссенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что считал позором и преступлением со стороны всякого интеллигентного и мыслящего человека, а тем более литератора: прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрасные слова — и никакого дела или даже непрекрасные дела. «И что это за люди,— с досадою говаривал он,— если мысли и намерения, лежащие у них в голове или постоянно болтающиеся у них на языке, не оказывают на их деятель-

ность никакого влияния, не проявляются в их действиях? Это бездушные механизмы, в которые вставлены красивые и блестящие погремушки; это деревянные шкапы, в которых лежат книги с прекрасным содержанием, которое не имеет никакого отношения к шкапам и не оказывает на них никакого действия. Нет, настоящее, действительное убеждение и намерение всегда бывает сильно и деятельно, оно одушевляет и охватывает всего человека, действует на его чувства, движет его волю и служит пружиною, управляющею всеми его действиями. Осуществление на деле действительного убеждения есть естественная, так сказать, инстинктивная потребность, удовлетворить которую убежденный человек стремится с такою же настойчивостью, с какою он удовлетворяет всякую другую естественную потребность. Прекрасные, но бездельные, а только платонические намерения столь же неестественны и бесплодны, как платоническая любовь.

Вот, например, Кокорев, какими он одушевлен прекрасными намерениями и какие либеральные речи произносит,— это тоже убеждения? Будучи откупщиком, громит откупа, будучи учредителем акционерных обществ, громит акционеров за то, что они не строго смотрят за действиями своих учредителей. Вот это полное согласие между словом и делом. А то есть стихотворцы, которые сочиняют и печатают высоконравственные стихотворения, воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ и в то же самое время занимаются ростовщичеством [28] и предаются грязному разврату. Это тоже стихотворное выражение убеждения?!» Эти мысли были любимой темой, которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в печати.

Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог питать уважения к прекраснодушным людям 40-х годов и похожим на них литераторам других годов и его времени. Особенно сердило его то, что подобные люди были высокого мнения о себе, гордились своею бездельною, платоническою любовью к людям, к общему благу и фарисейски презрительно смотрели на толпу, не выражающую даже на словах такой любви. Я уже рассказывал печатно [29] один случай, очень характерный для Добролюбова и очень типичный для его отношения к этим людям. Литераторы и другие почитатели и сверстники Белинского устраивали ежегодно в честь его обеды, на которых прекрасные тосты и прочувственные речи лились такой же

рекой, как и прекрасные вина. На один из этих обедов приглашен был и Добролюбов как сотрудник «Современника»... Чернышевский в душе, вероятно, подтрунивал над этими обедами, над их участниками, над их речами и тостами в честь Белинского, наверное, шутил, острил и хохотал. Добролюбова же картина этих обедов возмущала и бесила; он не мог равнодушно слышать прекрасных, но платонических восхвалений Белинского и внимал им с лихорадочным негодованием, которое нашло себе такой исход: он написал на этот обед сатиру и разослал ее выдающимся участникам обеда. Подобную же проделку устроил Добролюбов, еще будучи студентом Педагогического института. Возмущенный празднованием юбилея Греча, он написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распространять повсюду. Она дошла до институтского начальства, и только полная откровенность и показное раскаяние избавили его от начальственной грозы и беды. К сожалению, этой сатиры нет у меня [30]. Но сатира на празднование в честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокращении [31]. И здесь я не привожу последних двух с половиною строк. В конце стихотворения Добролюбов до того разгорячился, что уже не мог найти достаточно сильных слов для выражения своего негодования, и употребил грубое, бранное выражение,— он же не предназначал своего стихотворения для печати.

НА ТОСТ В ПАМЯТЬ БЕЛИНСКОГО,
6 ИЮНЯ 1858 ГОДА

И мертвый жив он между нами,
И плачет горькими слезами
О поколенье молодом,
Святую веру потерявшем,
Холодном, черством и немом,
Перед борьбой позорно павшем...
Он грозно шел на грозный бой,
С самоотверженной душой
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал.
Исполнен прямоты и силы,
Бесстрашно шел он до могилы
Стезею правды и добра,
В его нещадном отрицанье
Виднелась новая пора,
Пора действительного знанья,
И, умирая, думал он,
Что путь его уже свершен,

Что молодые поколенья
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели наконец дойти.
Но молодые поколенья,
Полны и страха и сомненья,—
Там, где он пал, на месте том
В смущенье рабском суетятся
И им проложенным путем
Умеют только любоваться.
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире поднимал
И думал: «Только! Только этим
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!»
Пока мы трезвы, в нашей лени
Боимся мы великой тени...
Мы согласились уж давно,
Что мы . . . .[32]

Понятно, какое впечатление эта выходка должна была произвести на молодое поколение времени Белинского, сделавшееся теперь уже старшим поколением, на почтенных литераторов, учеников и друзей Белинского, и как они должны были отнестись к мальчишке самоновейшего поколения, который вздумал поучать и даже обличать и бранить их, и в то же время был чуть не первым лицом в редакции журнала, издаваемого их сверстниками, такими же, как и они, учениками и друзьями Белинского. Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, вероятно, поставили решительный ультиматум редакторам «Современника»: выбирайте: или он, или мы, а вместе с ним мы не можем. Как ни старался Некрасов примирить враждующие стороны и предупредить разрыв, но ничего не мог добиться, и сам он, увлеченный личностью Добролюбова, стал на его сторону, чем окончательно оттолкнул от себя старых литературных друзей. Поэтому могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изысканно любезен и преданнически почтителен со старшими литераторами.

Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко выразилась и окончательно установилась дифференцировка как между литераторами, так и вообще между интеллигентными людьми. В прежние, патриархальные времена, времена аркадской невинности или наивности, литераторы и интеллигентные люди составляли почти одну только общую группу, или хоть и несколько, но весьма немного групп, объединявшихся слишком отвлеченною и широкою общностью понятий, интересов, стремлений и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностях не нарушалось за разногласием в конкретных частностях и подробностях, особенно практических, которым даже не придавалось особенного значения. Человек сочиняет и печатается — значит, он наш брат литератор; с ним можно вести знакомство, приятельство и дружбу. Появляется человек интеллигентный; он хоть не литератор, но интересуется литературой и серьезными отвлеченными вопросами; он тоже наш брат и тоже может быть в нашей компании. И вот люди сходились, сближались, дружили, собирались вместе, разговаривали разговоры, вели академические беседы о важных отвлеченных вопросах, ни к чему не обязываясь, ничем не смущаясь, ничего не боясь и никого не остерегаясь,— словом, «не предвидя от сего никаких последствий» [33], как невинные птички. Славянофилы и западники враждовали между собою только академически, и эта вражда не имела практического значения, практической жгучести. Да и они составляли только две подгруппы одной группы; противоположную группу составляли только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенковский, Греч да Булгарин.

Но в начале 60-х годов в моральной и общественной атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у литераторов и интеллигентных людей открылись глаза на многое, чего они прежде совсем не замечали,— подобно тому как первозданные люди, прежде не замечавшие, что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали и увидели свою наготу. Члены прежних больших приятельских групп увидели, что общие вопросы философии, этики и эстетики почему-то теряют первенствующее значение, а на место их выступают, даже, может быть, не гласно и не открыто, «проклятые» вопросы внутренней политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления их об этих улучшениях весьма различны. Приятели

литераторы и интеллигенты вдруг почувствовали, что разговоры разговариваются не для одного времяпрепровождения, а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствующий известным разговорам как будто принимает некоторое обязательство действовать согласно с этим разговором, что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что от иных разговоров благоразумнее совсем устраниться. Одновременно с этим и в окружающей внешней, но властной среде произошла соответствующая перемена. В этой среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может служить не только для развлечения и увеселения, но и для чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показалось, как будто печать не только развлекает читателей, но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы из чтения выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. Это стремление, действительное или только подозреваемое, послужило поводом к тому, что за печатью стали наблюдать не только с одной технической, цензурной стороны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, что было неуловимо для цензуры, но уловимо для особо призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных литераторов и целых органов печати. И, таким образом, в понятиях указанной сферы печать разделена была на два сорта: на овец и козлищ; и один сорт признан был не имеющим права претендовать попасть под сень того, что называется покровительством печати или даже терпимостью ее; что одной части печати нужно покровительствовать и поощрять ее, а другой нет,— что, в свою очередь, имело влияние на дифференцировку как писателей, так и читателей.

Вследствие указанных перемен прежние большие и общие группы литераторов и интеллигентов распались, и из них образовались более частные, но более определенные и резкие группы, более требовательные и строгие относительно своих членов. И это распадение произошло совершенно естественно, без всяких личных враждебных поводов. Каждому пришлось пересмотреть свои отношения к окружающим, свои знакомства с новой точки зрения, более специальной и определенной. При этом не один мог прийти к такому заключению, что от некоторых сношений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них

нет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений; лучше уйти от греха, чтобы не давать повода судить о себе по таким рискованным знакомствам.

Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный пример такого естественного раскола, такой резкой дифференцировки. Зимою конца 1860 и начала 1861 года у Чернышевского собиралось по вечерам многочисленное и очень разнообразное общество: старые и молодые литераторы, старые и молодые профессора университета, старые академики, профессора Военной академии, сделавшиеся впоследствии очень высокопоставленными лицами, офицеры генерального штаба, молодые и старые врачи и другие интеллигентные лица. Они все мирно и весело проводили время в приятных академических беседах и непринужденных разговорах; хорошо помню, что однажды был даже продолжительный разговор и спор о Краледворской рукописи [34]. Сам хозяин беззаботно острил и шутил, хохотал и веселился, кажется, больше всех. Весною же и летом 1861 года все это отрезалось, как ножом. Почти вся компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной, интимной компании, и Добролюбов был тут решительно ни при чем; его даже в Петербурге не было в это время, и потому никак нельзя было сказать, что он отпугнул эту компанию. Зимою конца 1861 года к Чернышевскому в гости не являлись уже профессора — ни штатские, ни военные, не являлись ни старые литераторы, ни академики, ни офицеры генерального штаба, за исключением одного или двух, да и то польского происхождения. Обширный круг знакомых и приятелей Чернышевского сузился в тесный кружок, в котором были только молодые, начинающие литераторы, а из старых — только издатели «Современника» да несколько интересовавшихся литературой интеллигентных лиц.

Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилизма, хотя кличка эта еще не был пущена в ход, и все принимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой болезнью или же чтобы противодействовать этой заразе и истребить ее.

Чернышевский в своих письмах к Добролюбову за границу много писал ему об этой «изумительной», как он выражался, перемене [35], происшедшей в русском обществе в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением признавался, что он не может понять и представить себе, что это за перемена, как она произошла и чем вызвана. Но,

возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и понял.

Добролюбов пробыл за границей больше года; но здоровье его не только не поправилось, а еще ухудшилось. Он ехал туда, чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но он ничего не мог забыть и не отдохнул. Он продолжал много работать и писать для «Современника», что, конечно, постоянно напоминало ему о русских делах и растравляло его раны. Большую часть времени за границей, конец 1860 года, и всю первую половину 1861 года, он провел в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журнальной работы, он изучал политические движения объединявшейся тогда Италии и написал около десяти печатных листов об итальянских делах [36]. Но итальянские дела не до такой степени увлекали его, чтобы из-за них он мог хоть на минуту забыть об отечественных делах, и в его статьях об итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность») заметны даже довольно прозрачные кивания на домашние дела [37], и он как бы хотел сказать при отрадных явлениях: «Вот если бы и у нас так!», а при безотрадных: «Точь-в-точь как у нас!»

Его болезненное состояние, поддерживаемое нравственными муками недовольства и негодования, еще более ухудшалось вследствие материальных забот. Он должен был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге двух младших братьев; его постоянно мучила мысль, что он не заработает столько денег, чтобы покрыть все расходы, и он должен будет прибегать к неприятным авансам из кассы «Современника». Под влиянием этого опасения он, с одной стороны, много и усиленно работал, а с другой стороны — соблюдал большую экономию и отказывал себе во многом, что для больного человека было, конечно, небезвредно. У меня сохранилась памятная книжечка Добролюбова [38], составлявшая его приходо-расходный журнал, веденный во время путешествия за границей. Оказывается, что он аккуратно, точно ответственный кассир, записывал все, даже мелочные, расходы, каждую истраченную копейку. В книжке есть, например, такие записи: «В Праге — бифштекс и черносецкое вино — 60 крейцеров; шарманщику — 2 крейц. В Теплице Lesezimmer entrée * — 15 крейц. В Интерлакене — нищей

* Вход в читальный зал (*нем.*, *фр.*).— *Ред.*

девочке — два раза по 10 сантимов; певицам на пароходе — 30 сант., девочке за ягоды — 10 сант.». Тут же записывался и приход, и через известные промежутки выводился остаток, как у настоящего, форменного кассира. Очевидно, это делалось с тою целью, чтобы во всякое время знать состояние своих финансов, чтобы как-нибудь не сделать перерасхода и не выйти из бюджета,— забота очень беспокойная, особенно для больного человека.

Говорят,— хотя я сам не слышал от него об этом,— будто в Италии у него начинался роман [39], будто он влюбился в какую-то итальянку, ухаживал за нею и даже думал жениться на ней. Но почему-то роман кончился ничем, итальянская сирена не удержала его в Италии; и он рвался домой, несмотря на убеждения друзей остаться за границей подольше и серьезно лечиться. На все их уговоры он отвечал одно: «У вас там черт знает что такое делается, какие безобразия творятся: вы же сами пишете о каких-то зловещих «переменах». Нужно быть на месте и что-нибудь делать; нельзя же сидеть сложа руки и любоваться отечественными безобразиями из прекрасного далека». Кроме того, он рвался домой еще и потому, что считал необходимым сменить Чернышевского, на котором лежала вся тяжесть работы по «Современнику», и дать ему возможность хоть немного отдохнуть. И он возвратился через Одессу в июле 1861 года, побывав по дороге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, а даже ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть в Одессе, ввиду предстоящего ему трудного путешествия на лошадях до Харькова. Но он не послушался доктора, помчался в Петербург и прибыл в августе. По приезде в Петербург он увидел и понял изумительную перемену, происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые встретили его нерадостными новостями. Цензура, и до того строгая, стала еще строже, и притом особенно была нетерпима в одном определенном направлении — именно против усмотренной в воздухе заразы нигилизма, хотя это слово еще не было произнесено и не стало лозунгом и боевым кличем, каким оно сделалось уже в следующем году [40]. Действию этой заразы были приписываемы даже такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими зданиями [41], студенческие волнения и всякие другие волнения. Постоянная мучительница Добролюбова — рус-

ская самодовольная печать — приготовила для него новую муку; она с своим обличительным отделом тоже выступила в поход против нигилистической язвы, которою, по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь «Современник», и во главе этого похода стояли со знаменем и с лозунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние. Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколько градусов, и, таким образом, его в два кнута истязали две болезни: моральная и физическая. Но он крепился, бодрился и работал не покладая рук. По его возвращении Чернышевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, причем тоже раздражали его и бесили — конечно, против воли и против всякого желания — сотрудники «Современника», в том числе и я грешный.

Однажды, придя к нему, я застал его за чтением корректуры моей рецензии о логике Гегеля, к которой я пристегнул и логику какого-то Поморцева[42]. Едва поздоровавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. «Ужасно хорошую рецензию вы написали,— заговорил он,— и как многое провели в ней?! Не могли вы найти что-нибудь получше и поучительнее?! Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного, а вы еще приплели какую-то дрянь Поморцева, которого трогать не стоило... А кроме того, фразерство-то какое,— и он прочитал несколько фраз из рецензии,— чистейшая риторика!» Переконфуженный и смущенный, я сказал: «Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем бросить». Эти слова еще больше рассердили его, и он резко заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швырять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще хуже этого». И рецензия действительно была напечатана без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбова я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное вообще заключение, что ему портили кровь не одни только мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную

чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные, зловещие слухи, часто неверные или по крайней мере преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С.-Петербург, что ему запрещен будет въезд в столицу или даже он будет арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянье воскликнул: «Что же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря безнадежному положению он оставлен был в покое.

Умер Добролюбов 17 ноября 1861 года.

Так угас этот блестящий литературный светоч, так сгорел огнем физических и нравственных страданий этот постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; умирая, он с полным правом мог сказать своему другу:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен.
. . . .
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!

Друг пошел тою же стезею, и кончил так же, сгорел тем же, но медленным и потому еще более мучительным, убийственным огнем.

⟨1901⟩

А. Н. ПЫПИН

МОИ ЗАМЕТКИ

Отрывки

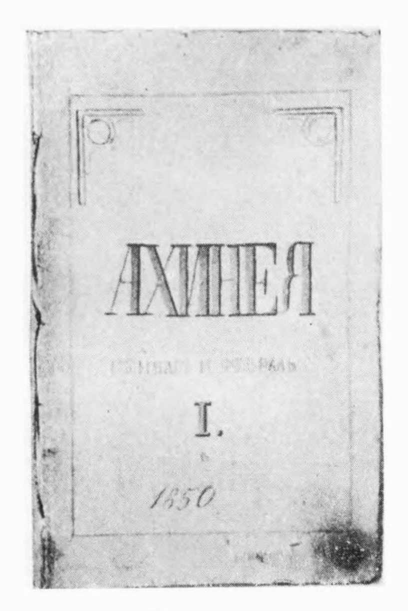
... *В октябре 1903 года* ⟨...⟩ Но еще более сильную вражду в кружке старых друзей, и всего больше, кажется, самого Тургенева, возбудил Добролюбов.



Н. А. Добролюбов. Нижний Новгород. 1854 г. С дагерротипа.



Володя и Ваня, братья Н. А. Добролюбова. Петербург. Фотография А. Эйхова. 1861 г.

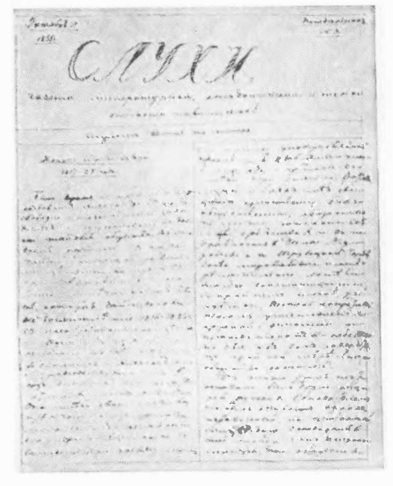


АХИНЕЯ

I.

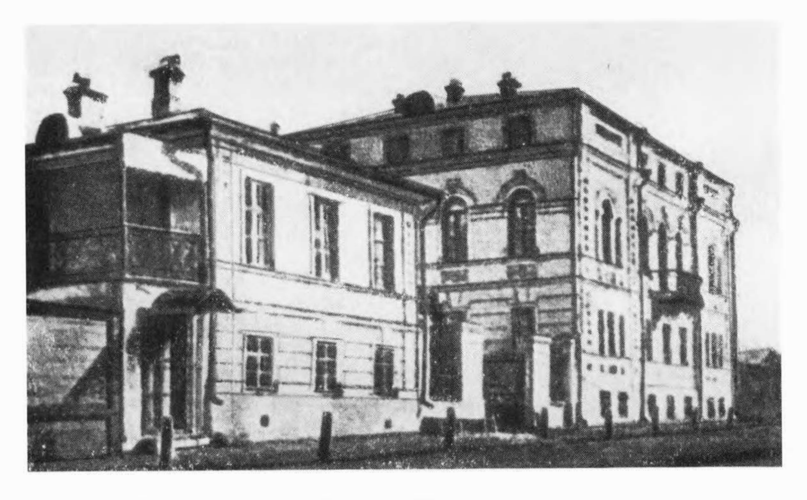
1850

«Ахинея». Рукописный семинарский журнал, выпускавшийся Н. А. Добролюбовым Обложка.



СЛУХИ

«Слухи». Нелегальная рукописная газета, выпускавшаяся Н. А. Добролюбовым в Главном педагогическом институте.



Дом А. И. Добролюбова в Нижнем Новгороде. С фотографии 1870-х годов.

Его Превосходительству

Господину Директору Главного Педагогического Института

Ивану Ивановичу Давыдову

Ученика Высшего Отделения Нижегородской Духовной Семинарии Николая Добролюбова

покорнейшее прошение

Желая продолжать свое образование в Главном Педагогическом Институте, покорнейше прошу допустить меня к приемному испытанию.

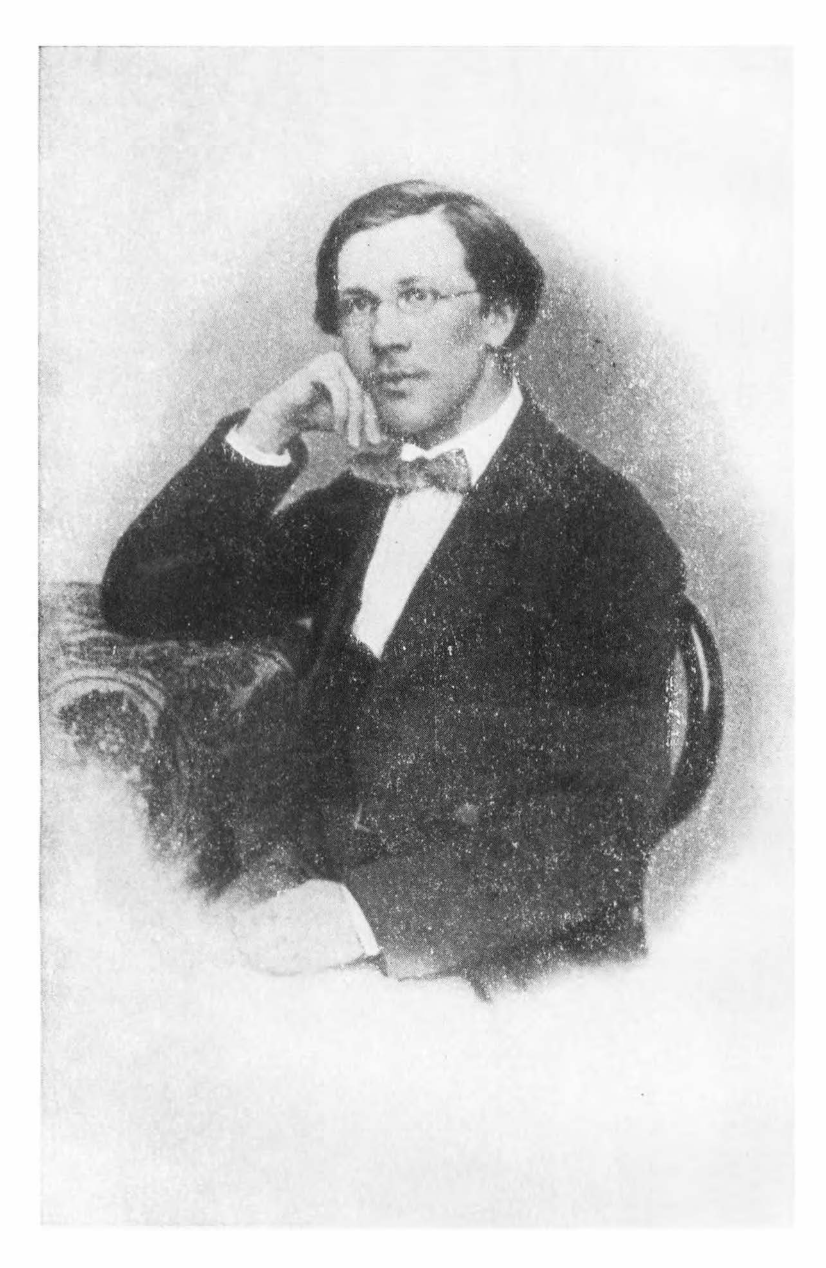
Документы свои [illegible] [illegible] [illegible] представлены [illegible] [illegible]. [illegible] ученик Высшего Отделения Нижегородской Духовной Семинарии Николай Добролюбов руку приложил.

Августа [illegible]

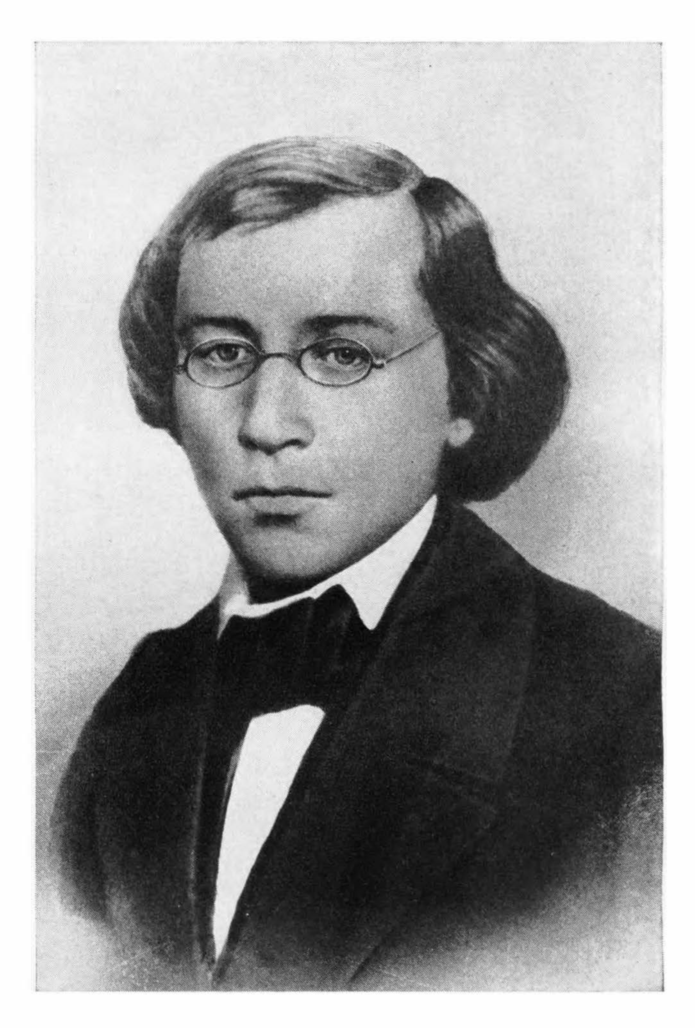
Заявление Н. А. Добролюбова о приеме в Главный педагогический институт от 14 августа 1853 г.



Петербургский университет. В правой части здания (северной) располагался Главный педагогический институт. Литография В. Ф. Тимма. 1853 г.



Н. А. Добролюбов. Петербург.
Фотография Кулиша. 1857 г.



Н. Г. Чернышевский.
Фотография В. Я. Лауфферта. 1859 г.

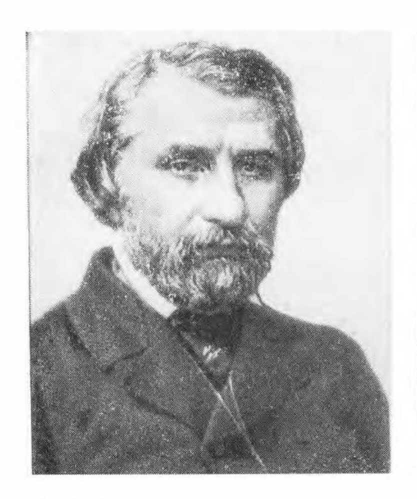


Журнал «Современник». 1859 г.



Н. А. Некрасов. 1861 г.

Группа сотрудников журнала «Современник»: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой и Д. В. Григорович. Фотография С. Л. Левицкого. 1856 г.



И. С. Тургенев.
Литография
П. Ф. Бореля. 1859 г.



Ф. М. Достоевский. Литография
П. Ф. Бореля 1862 г.
по фотографии 1861 г.

Дом на Литейном проспекте, где помещалась
редакция «Современника».



А. Н. Островский. Литография 1859 г. по фотографии А. И. Деньера конца 1850-х годов.



И. А. Гончаров. Литография П. Ф. Бореля. 1859 г.

Дом на набережной Фонтанки, где Н. А. Добролюбов жил с середины ноября 1857 г. до конца июня 1858 г.



А. Я. Панаева.
Акварель неизвестного художника. 1850-е годы.



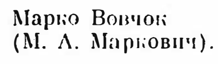
П. И. Вейнберг. 1902 г.



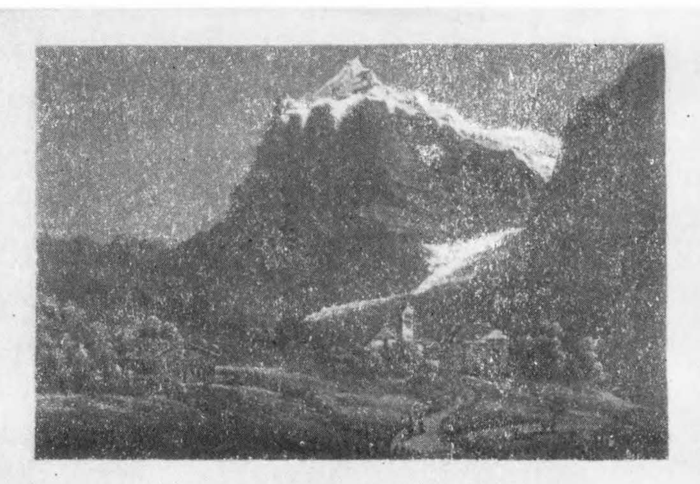
М. А. Антонович.
1890-е годы.



А. Н. Пыпин. С офорта
Я. Андреева. 1905 г.



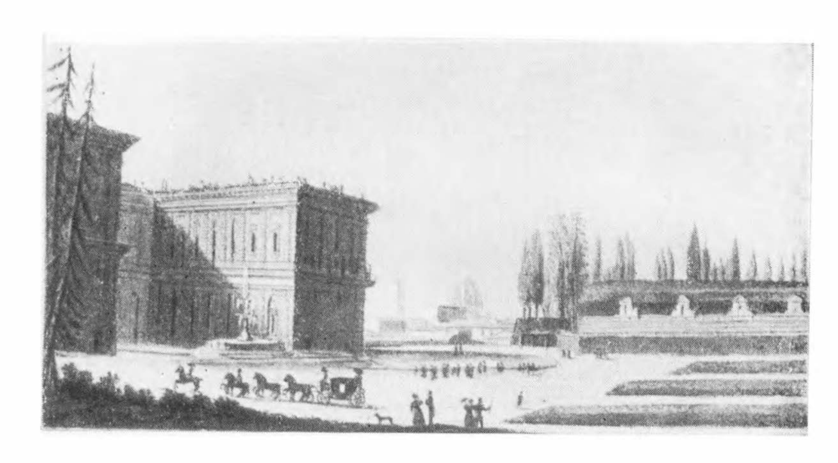
Марко Вовчок
(М. А. Маркович).



7/19 июля
1860.

Милая тетенька Фавста Васильевна и милый мой брат Михаил Иванович! Надеюсь, что вы перестанете на меня сердиться, узнавши, в каком положении был я весь последний год. Всякого рода хлопоты и работы до того меня уходили, что я был сам не свой целую осень и зиму. Грудь болела, кашель душил меня всегда так, что только стон стоял в комнате. Я постоянно был расстроен и болен. Письмо ваше, милый мой Михаил Иванович, с известием о смерти Андрея, получил я в самую скверную минуту: оно подновило больную горькую память о ...

Письмо Н. А. Добролюбова из-за границы. Июль 1860 г.



Флоренция.

Н. А. Добролюбов.
Неаполь.
Фотография
Ж. Грилле. 1861 г.



А. И. Герцен.
Гравюра (на стали)
М. Леммеля 1858 г.
по фотографии 1857 г.



Н. В. Шелгунов.
Начало 1880-х годов.



И. И. Панаев.
Литография П. Ф. Бореля.



Н. Я. Николадзе.



В. А. Обручев.

А. С. Васильева.



Н. А. Добролюбов. Париж. Фотография
Мюльньера. 1860 г.

Скажу, впрочем, раньше, когда и как я в первый раз узнал Добролюбова. ⟨...⟩

В числе товарищей, которых приводили к Чернышевскому знакомиться его бывшие ученики в Саратовской гимназии, они привели, между прочим, и Добролюбова [1]. Здесь и увидел я его в первый раз. Это был довольно высокий, несколько худощавый юноша в студенческом мундире Педагогического института, очень сдержанный, мало мешавшийся в разговор, но, видимо, очень наблюдательный. Сближение было весьма удобно в простой домашней обстановке за чайным столом и в дружеской беседе. Молодые студенты передавали, конечно, Чернышевскому подробности своего институтского быта, и первая статья Добролюбова, авторство которого на этот раз тщательно скрывалось, была посвящена именно Педагогическому институту [2] по поводу его годичного отчета.

Чернышевский, конечно, тотчас понял сильный талант Добролюбова и после первой статьи воздерживал его от литературного труда до окончания курса, когда бы он мог приобрести известную независимость. Ввиду этого окончания курса первой заботой было обеспечить Добролюбову возможность остаться в Петербурге, где бы только могла идти его дальнейшая работа,— так как студенты института по окончании курса обязывались на несколько лет службой в качестве учителей гимназии, обыкновенно в провинции, откуда нелегко было потом вырваться. По окончании курса действительно для Добролюбова устроена была несколько фиктивная учительская служба в ведомстве кадетских корпусов [3].

Вскоре потом мне случилось сделать с Добролюбовым маленькое путешествие. Вероятно, это было в 1856 году, а может быть, и в 1857-м. Я отправлялся на лето в Саратов, он ехал в Нижний, к своим. Не помню, были ли еще тогда жив его отец или уже теперь легли на него все домашние заботы... Мы проехали, конечно, а третьем классе железной дороги до Твери; там перешли на пароход и проплыли вместе до Нижнего. Кроме нас, был еще несколько знакомый юноша [4], которого Добролюбов, вероятно, видывал в нашей семье. Всю дорогу, конечно, шли разговоры, и разные эпизоды пути не раз вызывали у Добролюбова стихотворные экспромты, которые я и просил его вписывать в мою записную книжку, на память этого препровождения времени. Вероятно, она у меня цела [5].

В Петербурге мы видывались нередко,— всего чаще у Чернышевских, с которыми я жил тогда вместе; встречались изредка у Некрасова. Случалось мне бывать у него, помню, в небольшой квартире, в доме у Аничкова моста [6], по другую сторону Фонтанки. Квартира была очень скромная, почти бедная, по студенческому образцу. Позднее для него устроили другую квартиру в том же доме, где жил Некрасов; [7] это было опять небольшое помещение, имевшее то удобство, что оно было рядом, разделяясь от Некрасова одной общей черной лестницей, и Добролюбову можно было обойтись без кухмистерских обедов, потому что он обедал у Некрасова. У него замечали уже болезненность, конечно, большую непрактичность — при той страстной ревности к работе, которая его тогда и после увлекала, несмотря на все убеждения близких людей, опасавшихся слишком большого утомления. Действительно, эта ревность к работе была у Добролюбова необычайна. Приведу один пример. В те годы произошел один случай, который очень занял тогда общественное мнение и стал предметом толков,— случай, описанный в статье Добролюбова: «Пассаж в истории русской словесности» [8]. Это был публичный диспут между гг. Перозио и Смирновым по общественно-практическому вопросу,— диспут, где суперарбитром был уже очень известный тогда Е. И. Ламанский и где, в его заключительной речи, была сказана знаменитая фраза: «Мы не созрели». Диспут был событием, как едва ли не первый пример публичного обсуждения по хотя бы частному, но все-таки общественному вопросу. Сценой диспута была одна зала в «Пассаже», куда собралось множество народа. Диспут должен был, несомненно, заинтересовать и печать; предполагалось, что о нем будет упомянуто и в «Современнике». В данную минуту для журнала это было уже поздно — последние дни месяца перед выходом книжки. Диспут происходил вечером. На другое утро Добролюбов приходит к Чернышевскому поговорить об этом; он находил, что этого случая не надо бы пропустить в «Современнике»; Чернышевский соглашался, но думал, что это надо будет отложить до следующей книжки, так как теперь уже поздно будет писать статью. Но, к удивлению Чернышевского, оказалось, что статья уже написана: она могла быть напечатанной в той же очередной книжке журнала. Позднее она помещена была в собрании его сочинений (в IV т.), где заняла двадцать страниц сжатой печати. Для людей пишущих понятно, какой гро-

мадный труд был сделан в одну ночь. Статья написана с начала до конца с обычной живостью и остроумием и без малейшего признака утомления.

Как я уже упоминал, я потом в течение двух лет отсутствовал из Петербурга[9] и снова увидел Добролюбова уже в 1860 году. Неутомимая деятельность была все та же, но уже близилась болезнь, которая скоро окончательно надломила его силы... Возвращусь к началу его деятельности. Выше упомянуто, что Добролюбов возбудил к себе весьма неблагоприятное, даже прямо враждебное отношение в старых друзьях Некрасова из прежнего кружка «Современника». Я отчасти уже говорил об этом. Добавлю несколько подробностей...

Добролюбов вступал в литературу, только что оставив товарищескую студенческую среду. Эта среда, кроме него, не представляла никаких особенных талантов, но в ней господствовало большое возбуждение, которое питалось именно вопросами принципиальными. В эту среду проникали все основные интересы, какими волновалось общество, и молодой кружок волновался ими тем более. Добролюбов в особенности много читал, живо увлекался тем, что было общественным вопросом, и когда он вошел в литературный круг, ему хорошо знакомы были и общие черты тогдашнего литературного брожения и частные особенности тех деятелей, с которыми он встретился теперь лицом к лицу. По давнему складу его личного характера он видел в литературе великое дело, которое ставило требования общественные, которые были и требованиями нравственными. Таким образом, и писатель, именно писатель крупный, пользующийся известностью и бóльшим или меньшим влиянием на общество через свои произведения, подлежал этим требованиям тем в большей степени, чем больше было его значение в литературе. Он знал, что в наших условиях литература была единственным поприщем, где могло сказываться общественное мнение, и его страстное отношение к общественному интересу было именно тем основанием, которое придало его литературной критике яркий публицистический тон. Эта черта, конечно, давно была отмечена, но не следует думать (как это бывало у некоторых позднейших историков), будто бы только в этом и заключалась критика Добролюбова; напротив, у него был не только большой художественный вкус, но и вообще высокое представление о произведениях художества, напоминающее даже то, как судила

о произведениях искусства старая, гегельянская эстетика. В художественном произведении, заслуживающем этого имени, составляющем плод поэтического творчества, заключалась поэтическая истина, и в особенности такие произведения Добролюбов избирал предметом своих изучений: истинный художник правдив, его произведения верно отражают жизнь, а потому и дают материал для изучения самой жизни с ее материальной и нравственной стороны. Достаточно несколько вникнуть в его статьи подобного рода, например о Тургеневе, Островском, Достоевском, Гончарове, чтобы видеть, до какой степени действительно он погружался в эти художественные картины; он верил в них, как в действительность, и на их основании он определял эту действительность и искал путей к ее улучшению. Чрезвычайно впечатлительный, хотя обыкновенно сурово-сдержанный, всегда наблюдательный, он чутко и тревожно переживал годы Крымской войны и последущее время, и у него рано развился тот критический анализ, с каким он впоследствии относился к событиям нашей общественной жизни и который издавна отстранил его от тех оптимистических самообольщений, которым в те годы наше общество предавалось нередко сверх всякой меры. Громкие, самодовольные и всего чаще фальшивые фразы возбуждали в нем желчное негодование или язвительную насмешку... Очевидно, этот характер с самого начала, по существу, представлял нечто совсем непохожее на господствующий тон в кружке друзей Некрасова. Люди старшего поколения были часто люди лично хорошие, питали взгляды наиболее просвещенных людей того времени, видели недостатки настоящего, ожидали и надеялись благотворной реформы в будущем, но большею частью люди пассивные, потому что они, с своей стороны, бывали уже утомлены испытаниями, которые выпадали и на их долю, но в настоящее время не помышлявшие о борьбе, люди, более или менее благополучные и благодушные, встречавшие те или другие явления современности,— хотя бы в них сказывался иногда серьезный общественный смысл,— как любопытный анекдот... Но то, к чему равнодушно относились они, нередко могло поднимать в душе Добролюбова желчное негодование. По-видимому, с первых встреч обнаруживалось взаимное непонимание.

ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?

(**Обломовъ**, романъ *И. А. Гончарова*. «Отеч. Записки» 1859 г. № I—IV).

> Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души умѣлъ бы сказать намъ это всемогущее слово «впередъ»? Вѣки проходятъ за вѣками, полмилліона сидней, увальней и болвановъ дремлетъ непробудно, и рѣдко рождается на Руси мужъ, умѣющій произнести его, это всемогущее слово...
>
> *Гоголь.*

Десять лѣтъ ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его появленія въ печати, о немъ говорили, какъ о произведеніи необыкновенномъ. Къ чтенію его приступили съ самыми обширными ожиданіями. Между тѣмъ первая часть романа, написанная еще въ 1849 г. и чуждая текущихъ интересовъ настоящей минуты, многимъ показалась скучною. Въ это же время появилось «Дворянское Гнѣздо», и всѣ были увлечены поэтическимъ, въ высшей степени симпатичнымъ талантомъ его автора. «Обломовъ» остался для многихъ въ сторонѣ; многіе даже чувствовали утомленіе отъ необычайно-тонкаго и глубокаго психическаго анализа, проникающаго весь романъ г. Гончарова. Та публика, которая любитъ внѣшнюю занимательность дѣйствія, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самаго конца ея герой все продолжаетъ лежать на томъ же диванѣ, на которомъ застаетъ его начало первой главы. Тѣ читате-

Статья Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» «Современник», 1859, № 5

Н. Д. НОВИЦКИЙ

ИЗ ДАЛЕКОГО МИНУВШЕГО

(*Посвящается А. Н. Пыпину с предоставлением права раздрания сей рукописи в клочки*)

Отрывок

Darüber ist längst Gras gewachsen *.

...Немногое, как видите, мой дорогой Александр Николаевич, я рассказал Вам про Чернышевского. Немногое расскажу и про Добролюбова, образ которого в моем воображении не только наяву, но даже,— Вы поверите ли тому? — во сне никогда не являлся без образа Чернышевского, как и наоборот!.. Да и многое ли можно рассказать про этих двух людей, живших не столько внешнею, сколько внутреннею жизнью, ставивших благо общественное важнейшею целью своего существования и, в отплату за то, страшившихся не только того, чтобы жизнь, но чтобы и сама смерть-то не разыграла «какой-нибудь обидной шутки» над ними?! «Боюсь,— умирая, говорит Добролюбов,—

Чтоб над холодным трупом
Не пролилось горячих слез,
Чтоб кто-нибудь в усердье глупом
На гроб цветов мне не принес,—
Чтоб все, чего я ждал так жадно
И так напрасно, я живой,
Не улыбнулося отрадно
Над гробовой моей доской» [1].

Впервые я и встретился и познакомился с Добролюбовым у Чернышевского. Это было вскоре за появлением первых статей Добролюбова, которые, сразу же обратив на себя внимание, вначале весьма многими приписывались перу Чернышевского.

Я не разделял такого мнения, почему прямо и обратился к Николаю Гавриловичу за разъяснением.

Николай Гаврилович тотчас же открыл мне этот секрет, который, впрочем, весьма недолгое время оставался секретом и для публики, несмотря даже на то, что, за исключением немногих, да и то позднейших статей, под-

* Все это давно быльем поросло (*нем.*).— *Ред.*

писывающихся: «Н.—бов», прочие статьи Добролюбова печатались им без подписи. Да оно и понятно. Несмотря на полную принципиальную солидарность мировоззрений Чернышевского и Добролюбова, своеобразность и оригинальность последнего были слишком велики, чтобы понимающая читающая публика могла долго оставаться в недоумении и не заметить в статьях Добролюбова — хотя и талантливую, но все же не Чернышевского, а чью-то другую руку, которую она и не замедлила разыскать. С своей стороны, такое недоумение публики я готов объяснять не столько даже отсутствием или малою развитостью в ней литературных вкусов и чутья, сколько нежданностью появления пред нею, да притом рядом с одним, уже существовавшим, другого таланта, который вдруг будто с неба свалился, что в истории литератур почти никогда не бывает, но что в данном случае, однако, было,— так как Добролюбов, несмотря на свое incognito, вступал на литературное поле так, как вступают в свои владения владетели, в правах которых никто не сомневается.

Мне редко удавалось в моей жизни встречать людей более деликатных, во всем сдержанных, несмотря на всю страстность и восприимчивость своей глубоко поэтической натуры, более скромных, несмотря на громадный ум и чувство самой гордой независимости, и в то же время более нежно добрых без малейший сентиментальности, чем Н. А. Добролюбов, который как по всем приемам, так и по манере, с какими он держал себя везде и со всеми, скорее заставлял предполагать в нем сына какой-либо традиционно интеллигентной, высоко аристократической семьи, чем сына бедного священника. Самый искренний демократ по убеждениям и нравам, человек этот по душе и сердцу был аристократом, но не в вульгарном, а в настоящем значении этого слова. Довольно хорошего роста, не крепкого, но статного сложения, с густыми, слегка вьющимися темно-каштановыми волосами, с умными, добрыми глазами, проницательно смотрящими чрез очки, с спокойными — я сказал бы даже — элегантными — движениями и речью, Добролюбов был не столько красивою, сколько в высшей мере симпатическою, сразу же располагающею к себе личностью,— настолько же умственно, нравственно и физически похожею на Базарова [2], в лице которого будто бы Тургенев хотел изобразить ее, насколько сам Тургенев походил,— ну, на кого бы примерно? — ну, да хотя бы на Поль де Кока, Клюшникова, бывших и нынеш-

них редакторов «Московских ведомостей» [3], или, пожалуй, даже на редактора «Гражданина» [4]. Откровенно говоря, я и не упомянул бы о этой параллели, проводимой между Добролюбовым и Базаровым, не проводись она — несмотря на всю свою бессмысленность, пошлость и оскорбительность для памяти как Добролюбова, так даже и самого Тургенева — и по сию пору разными литературными идиотами или маклаками и не повторяйся она вслед за ними разными воронами и галками, которыми и всегда-то кишело, а уже ныне особенно, наше огалделое так называемое общество...

От общества и общественной жизни, делами которых Добролюбов, понятно, очень интересовался, он держался вообще далеко. Но это не по нелюдимости или застенчивости, которых у него вовсе не было в натуре, а скорее по увлечению, с каким он отдавался литературным занятиям, составлявшим его призвание, а также — по причине той тяжкой, денной и ночной, почти беспрерывной работе, которую он, подобно Чернышевскому, на себе нес. Ведь работал он не над одними своими произведениями, которые к тому же нередко по требованиям цензуры, то сокращавшей, безобразившей, то даже вовсе не допускавшей их, приходилось ему по многу раз переделывать, что невообразимо мучило, изводило его, но еще по редакции над массою произведений и других. А при такой работе до сближения ли с обществом было ему?! Не могу сказать, чтобы такая работа была результатом эксплуатации Добролюбова редакциею «Современника», так как по поводу этого, несмотря на близость наших отношений, я не слыхал никогда от него даже намека на жалобу; но — будь эта работа даже и добровольною, тем не менее она, жестоко подкапывая его организм, настолько заполняла его, что у него еле-еле оставалась, как говорится,— пара минут, чтобы перевести дух, подумать о своих делах или своем слабом здоровье, повидаться и побеседовать с приятелями. Помнится, мне удалось как-то раза два подряд потащить Николая Александровича в театр да раз на прогулку за город, а Некрасову повлечь его с собой на обед в английский клуб, так, боже мой! — сколько шуток и смеху у всех нас, начиная с самого Добролюбова, вызвали эти выезды его, которые Николай Гаврилович, заливаясь своим звонким хохотом, называл: событиями, неопровержимо свидетельствующими о дурных наклонностях Добролюбова к рассеянной светской жизни, а сам Доб-

ролюбов объяснял отсутствием в нем силы противления соблазнам, расставляемым противу него, подобно сетям, злоумышленными людьми...

Нелегко и не вдруг сближался он и с людьми, но, раз уверившись в них и сблизившись с ними, привязывался к ним со всею искренностью, оставаясь так же неизменно верным им, как и своим идеалам.

— Что вы никогда не заглянете ко мне? — сказал мне раз Добролюбов — месяца этак через три после нашего знакомства, прощаясь со мною на углу Невского и Владимирской, докуда мы дошли с ним, возвращаясь по домам после одного из вечеров у Чернышевского.— Будь я свободнее, я и сам давно зашел бы к вам. Не визитами же, в самом деле, считаться нам! А вы все-таки более можете располагать временем, чем я...

Вскоре я и зашел к нему. Он жил тогда на Моховой,— не помню, в чьем доме, но неподалеку только от Пантелеймоновской[5], занимая небольшую, чистенькую и светлую квартирку au rez-de-chaussée *, вместе с мальчиком-братом Володею, которого он любил и ласкал, как самая нежная мать, и с дядею, тоже Добролюбовым, не помню уже родным или двоюродным. Заходил, конечно, и он ко мне, но я чаще, а особенно с осени 59 года, когда по окончании академического курса я приобрел возможность более свободно располагать моим временем. Кроме Чернышевского, встречались мы иногда у К. Д. Кавелина и еще реже у некоторых холостых наших приятелей, как, например, у Сераковского и у других. Посещали мы, хотя все это изредка, и театр, и концерты, бывшие в университетской зале, в которых всегда с такою милою готовностью участвовали знаменитейшие из певцов и певиц итальянской оперы, и некоторые собрания в «Пассаже»... Были мы вместе на знаменитом по своему комизму диспуте Погодина с Костомаровым[6] и раз — право, уже совсем не помню, по какой побудительной причине — на одной из лекций Сухомлинова, на которой почему-то присутствовал и тогдашний попечитель Петербургского учебного округа, нынешний граф Делянов. О лекции этой я, пожалуй, и не вспомнил бы, не случись тут маленький индицент, крепко засевший в моей памяти.

Когда по окончании лекции все бывшие на ней густою толпою шли по тесному университетскому коридору, то

---

* В нижнем этаже (*фр.*).— *Ред.*

Делянов, тогда сильно еще либеральничавший, идя во главе толпы, обернулся как-то назад и, увидав за спиною его шедшего Добролюбова, с восклицанием «А! Да и вы тут?» — протянул ему, как старому знакомому, руку[7] и вступил с ним в разговор, в конце которого заявил надежду о скором оставлении им места попечителя. «И знаете ли,— добавил он, приостанавливаясь при этом,— оставляю свой пост не только без сожаления, но даже с радостью!..» — «Чтобы, так сказать, еще более преувеличить в вас это последнее чувство, остается только предположить, что с таким же точно, пожалуй, чувством и с вами расстанутся округ, университет и литература»,— заметил ему на это Добролюбов. Разумеется, при этих словах все тут близко стоявшие разразились хохотом, которым разразился и сам Делянов, шутливо грозя Добролюбову пальцем и говоря: «Все такой же, как был и в институте, неугомонный язычок!..»

Приведу, кстати, здесь уже и другой инцидент, более, впрочем, интересный, чем рассказанный, и которому я был случайным свидетелем.

Как-то раз утром был я у Добролюбова. Толковали мы по обыкновению о многом и, между прочим, о нелепых прицепках цензуры, рассказывая про которые, Николай Александрович показал мне корректурный лист того места перевода «Reisebilder» *, где Гейне, восхищенный знаменитою Дрезденскою мадонною, восклицает, обращаясь к ней: «О чудесная дева Мария!» Так цензор, находя такое восклицание неуместным, зачеркнул его, проектируя заменить: «О чудесная дева *Анна*?!»[8]

Перешли мы затем к только что тогда напечатанному добролюбовскому «Темному царству», как в эту минуту раздается звонок и в дверях появляется,— кто бы вы думали? — сам А. Н. Островский!![9] Я тут в первый да, к сожалению, и в последний раз в моей жизни видел Островского, произведшего на меня при этом самое приятное впечатление.

Конечно, я теперь не могу уже ни в подробностях, ни тем более дословно передать разговора его с Добролюбовым, длившегося, полагаю, более часу, но я отлично сохраняю в памяти ту горячую, неподдельную благодарность, какую он выражал Добролюбову за его «Темное царство», говоря, что он был — *первый* и *единственный*

---

* «Путевых картин» (*нем.*).— *Ред*,

критик, не только вполне понявший и оценивший его «писательство», как назвал Островский свои произведения, но еще и *проливающий* свет на избранный им путь...

— Ну, знаете ли, Николай Александрович,— обратился я к нему, когда уехал Островский,— я столько же радуюсь оценке, сделанной Островским вашему «Темному царству», как он сам доволен им, если только, конечно, слова его искренни, в чем, кажется, едва ли может быть сомнение?!

— Да, оно не хотелось бы, говоря по правде, сомневаться в том и мне,— заметил на это Добролюбов,— да только как тут поймешь и разберешь всех этих литературных генералов, которые, поверьте, хуже во сто крат ваших Бетрищевых[10], до того, они все щепетильны и готовы видеть в каждом слове честной критики посягательство на их имя, на славу!!

Ровесники почти по летам, мы чем далее, тем более сближались — не по профессии, конечно, а по общности взглядов на жизнь вообще, а на нашу, русскую, в особенности, и отношения наши, установившиеся на этой почве, не прервались и после разлуки нашей, последовавшей в 60 году, когда я уехал в далекую провинцию, а он — за границу, где оставался почти год. «Товарищ! Жди, придет она, пора пленительного счастья»,— говаривали мы, бывало, готовясь к далекой и долгой разлуке, порешая лет этак чрез пять обязательно свидеться, чтобы проверить себя, свои наблюдения и заметки, сосчитаться с собственными силами...

* * *

Добролюбов уезжал из Петербурга ранее меня; а потому, собираясь провожать его, я, уходя от него за день до его отъезда, после беседы, затянувшейся за полночь, даже и не прощался с ним. Совершенно, однако, не зависящие от меня обстоятельства воспрепятствовали мне поехать на проводы его, что до того как-то болезненно досадовало и огорчало меня, что я написал даже вскоре после его отъезда письмо к нему по этому поводу; точно какое-то темное чувство говорило мне, что более нам уже не свидеться никогда! Говорю: темное, так как положительных данных к тому не было. Здоровье Добролюбова, особенно часто начавшего похварывать по весне 59 года, вообще было не из крепких. Необходимость не только

отдыха, но даже и леченья где-либо в теплом климате, за границею, признавалась как докторами, так и друзьями его, настойчиво уговаривавшими его, а особенно в виду некоторого неглижерства с его стороны о своем здоровье, послушаться указаний первых. Но из всего этого далеко еще было до предположений о серьезной опасности, грозившей уже его жизни,— тем более что он, поправившись летом, и сам, видимо, не думал о ней, почему не без долгих колебаний и даже почти нехотя решился наконец на заграничную поездку.

На мое письмецо я, к великой моей радости, в ноябре, когда уже находился в провинции, в г. Е ⟨лисаветграде⟩, получил от него ответ. Ответ этот, как равно и два письмеца Чернышевского, к прискорбию, погибли вместе с саком, где они находились, при одном из моих бесконечных переездов. Но я, чуть-чуть только не дословно, помню это письмо Добролюбова. Оно начиналось с упрека, делаемого мне им за «галантно-московские» объяснения, как он называл мое письмо по поводу обстоятельств, воспрепятствовавших мне провожать его и какие он признавал излишними при отношениях, установившихся между нами. Далее, сказав несколько слов о своем здоровье, на которое он, впрочем, не особенно жалуется, он переходит затем прямо к впечатлениям, навеянным на него тогдашнею только что освободившеюся Италиею. Впечатления эти невеселы. Добролюбов негодует на положение в Италии вещей, при котором власть, видимо, окончательно утверждается не в руках людей, стоявших всегда во главе движения и создавших освобождение и объединение своей родины, а в руках разных «политиканствующих постепеновцев»; причем он резко отзывается и о Кавуре, и о Рикározоли[11], и о парламенте, который называет «говорильнею»[12],— словцо, услышанное мною тогда от Добролюбова *впервые*, повторенное им затем в одной из статей его и которое, подобно тургеневскому «нигилизму», быстро впоследствии было облюбовано нашими всяческими дубоголовыми перевертнями-публицистами, и по сей час с наслаждением пускающими его в оборот в их передовицах и разных критических якобы рассуждениях, а в сущности пошлейших измышлениях и болтовне по поводу политических дел на Западе. В конце письма Добролюбов выражает желание поскорее, по возврате на родину, повидаться со мной, но ни слова не говорит ни о времени препровождения им за границей, ни о том, когда предполагает оттуда вернуться.

Со времени получения мною письма этого прошло около восьми месяцев, в течение которых я хотя по письмам из Петербурга и знал о том, что Добролюбов находится еще за границею, но от него не имел никаких уже более известий, часто недоумевая: уж не случилось ли с ним там, чего доброго, какой-либо беды?! Но вот, летом 61 года, я возвращаюсь как-то домой после одной из отлучек, которые мне нередко тогда доводилось делать и которые, случалось, длились иногда по четыре и по пяти дней. Представьте же мое изумление и вместе с тем отчаяние, когда я нашел на моем письменном столе визитную карточку с надписью: «Н. А. Добролюбов», на которой его рукою было написано: «Очень, очень хотел повидаться с Вами. Пожалуй и подождал бы, но Ваши говорят, что не могут даже приблизительно определить времени Вашего возврата. При таком положении ждать не могу,— тем более что спешу на выручку «Современнику», находившемуся, по слухам, при последнем издыхании...»

Так больше Добролюбова мне повидать и не довелось.

1890

Н. А. ТАТАРИНОВА-ОСТРОВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывки

— Нашел я тебе хорошего учителя словесности,— сказал папаша,— Добролюбова. Надеюсь, что хоть он приохотит тебя к занятиям. Ты ведь имеешь о нем понятие?

Добролюбов был еще тогда студентом Педагогического института, но уже писал в «Современнике» и становился известным.

После обеда, в сумерки, мамаша лежала на диване у печки в моей комнате. Я стояла около нее и с чем-то приставала. «Отстань, глупости, надоела...» — отвечала она мне, но уж таким тоном, что вот-вот сейчас уступит. Дверь отворилась, и вошел довольно высокий, худой молодой человек с впалой грудью, с узкими плечами. «Это — Добролюбов» — сообразила я.

— Извините,— сказал он,— я, кажется, вам помешал.

— А? Кто это? — спросила мамаша.— Может быть, часы мои впереди...

Мамаша опомнилась от полудремоты, встала, прошептала:

— Allumez les chandelles (bougies *, мысленно поправила я по воспоминанию о гувернантках).

Мамаша вышла из комнаты. Через несколько минут она воротилась, приглаженная и прибранная. Степан нес за ней столик, свечку и рабочий ящик. Она уселась оберегать меня от молодого учителя. Я поставила свечи на классный стол и уселась. Добролюбов подошел к столу своей неслышной походкой и сел против меня.

«Какой он нехороший,— подумала я.— Нос — хуже моего, такой толстый и мягкий, вот уж «удобосъедаемый мышами», как говорит дядя, Александр Николаевич Бекетов. И губы толстые, совсем без изгибов, точно два круглых кусочка мяса, и лицо такое серо-зеленое, волосы жидкие, прямые».

Добролюбов подумал немножко, посмотрел на меня через очки и заговорил. «Как он смотрит,— подумала я,— па молодого не похож». Когда я теперь припоминаю выражение его взгляда, я нахожу, что это замечание было довольно верно. Его небольшие, не помню,— серые или карие — глаза смотрели совершенно спокойно, как редко смотрят глаза у молодых людей.

— Мы с вами будем заниматься словесностью,— сказал он,— вы, вероятно, уже имеете некоторое понятие о русских писателях?

У меня по обыкновению язык прилип к гортани от робости. 〈. . .〉 Мамаша уж давно волновалась. Наконец она не выдержала: «Скажи же что-нибудь». Я окончательно пропала и уж не была в состоянии произнести ни одного звука. В таком роде продолжался весь урок. Добролюбов, должно быть, совсем не знал до того времени молоденьких девочек, по крайней мере до такой степени застенчивых девочек,— он смотрел на меня с некоторым удивлением и, казалось, не мог понять, отчего я не хочу говорить. Когда он ушел, мамаша, конечно, накинулась на меня. «Как тебе не стыдно молчать как истукан? Он, я думаю, тебя за дуру принял! Ты уж не маленькая! Я за тебя краснела!»

* Зажгите свечи (*фр.*).— *Ред.*

Хотя я в разное время училась у Добролюбова две зимы с половиной, но немного могу рассказать об нем. Первый год относилась я к нему совершенно по-детски, только бы написать и прочитать все заданное, чтобы он отцу не пожаловался. Конфузилась я его больше других учителей — он меня запугал новой для меня манерой учить. Первое время урок наш начинался таким образом: «Вы прочитали, что я вас просил?» — «Прочитала».— «Не можете ли вы мне сказать, на какие мысли вас это навело?» Я молчу. Он подождет, подождет, сделает вопрос-другой, я отвечу — «да, да, нет». После нескольких неудачных попыток он перестал меня допрашивать, а стал сам объяснять и к следующему уроку велит написать, что он говорил: «Если найдете возможным, прибавьте, что вы сами об этом думаете».

— Я не буду вам толковать о художественных красотах и т. п.,— говорил он,— обо всем этом и без меня вы будете много слышать и читать. Я постараюсь выяснить, какая сторона жизни выразилась в таком-то произведении, какие мысли высказал такой-то писатель, были ли вообще у него какие-нибудь мысли.

Он, бывало, ни за что не скажет: «талант, гений, поэт», а непременно: «способность, очень большая способность, то, что называют поэтом». Ко многим авторам, ко многому, о чем я до сих пор слышала только похвалы, он относился насмешливо. Я слушала внимательно, записывала к следующему уроку его слова и даже иногда решалась прибавлять своего и острить по его примеру.

— Странно,— говорил он,— по тому, что вы пишете, видно, что вы многое понимаете. Отчего же вы высказываться стесняетесь? Я не могу по себе судить, я никогда не был застенчив, но, говорят, застенчивость происходит от самолюбия... Вы к тому-то отнеслись слишком строго,— замечал он иногда,— то, что теперь кажется смешным, в свое время имело известное значение. Может быть, я несколько виноват в вашем ироническом взгляде на вещи,— и усмехнется.

Папаша иногда приходил во время урока.

— Послушайте, Николай Александрович,— говорил он,— вы что-то говорите с ней как с взрослой. Понимает ли она вас?

— Вот посмотрите, что Наталья Александровна написала; вы увидите, что я объясняю достаточно ясно.

— Да, недурно,—только орфографические ошибки есть.

— Я уж советовал повторить грамматику.

— И как намазано! Вы бы заставляли ее переписывать, если скверно написано.

— У меня у самого дурная рука, я не имею права требовать от других каллиграфии.

— Я вижу, что вы считаете ее большой девицей. Она совсем девчонка. Обращайтесь с ней как с девчонкой, лучше будет.

По окончании урока папаша скажет: «Куда же вы? Останьтесь чай пить. Мы с вами потолкуем». Я не слушала тогда, об чем они толковали. Помню только, что отец горячился по обыкновению, а Добролюбов сидел смирно, попивал чай, возражал тихим, ровным голосом и спокойно взглядывал из-за своих очков. Дольше восьми часов он никогда не оставался в ту первую зиму. «Ведь я еще ребенком считаюсь,— объяснял он со своей усмешечкой,— в девять часов я обязан быть в институте, а туда идти далеко».

— С вами,— говорил ему отец,— хоть я и часто не согласен, не могу спорить. Вы со своей точки зрения доказываете логически, а вот с вашим товарищем, Щегловым, я решительно не могу говорить — он меня из себя выводит.

Добролюбов засмеялся.

Щеглов, также студент Педагогического института, давал мне уроки истории и географии. Его рекомендовал нам Добролюбов. Оригинальные были эти уроки. Географией мы с ним занимались кое-как, изредка — она его не интересовала. Он налегал на историю, но также по-своему: древнюю, среднюю, новую, до революции мы пролетели на рысях, а на революции засели. Я, по лени и зная его снисходительность, уроков почти не учила. Он спросит меня наскоро, подскажет, что я не знаю, и — скорее за проповедь: «Какая прекрасная эпоха! Какие то были люди! Какие характеры! Какие широкие взгляды!» У меня был учебник Смарагдова,— он всю главу о революции перечеркнул. Где стояло: «ужасные преступления», «эти изверги», он зачеркивал и надписывал: «ожесточение после долгого гнета», «люди, увлеченные до крайности, но последовательные и честные со своей точки зрения». Два урока сряду доказывал он мне, что Робеспьер был фанатик, а не кровожадный злодей. Сидел он со мной не полтора часа по условию, а два, три. Степан раз пять приходил звать чай кушать. Наконец папаша закричит из

столовой: «Дмитрий Федорович, будет вам! Идите чай пить». Он вскочит: «Ах! Извините! Я вас задержал!»

За чаем он непременно затеет спор с отцом, большей частью о коммунизме. Он был ярый коммунист. Папаша, бывало, кричит на него так, что чашки прыгают:

— Да помилуйте! То, о чем вы говорите, было говорено, переговорено и опровергнуто!.. Ведь это совершенный вздор!.. Как вы не понимаете того, что ясно как день?! Я не буду больше с вами спорить — никакого терпения нет!

— Нет, Александр Николаевич, мне хочется вам доказать...

Раз папаша хватил:

— Прекратите, сделайте милость, этот разговор. У меня был дурак родственник, который мне и без того надоел подобной чепухой.

Мамаша пришла в ужас:

— Александр! Как тебе не стыдно!

Щеглов добродушно засмеялся и опять заспорил, и отец опять закричал.

* * *

⟨1859 год⟩. Четверг, вечером. У нас в гостиной и зале зажжены стенные лампы, приготовлены карточные столы, мамаша надела чепец — у нас по четвергам назначенные дни, ждут гостей. Мы с Ноэми́ надели шелковые платья, тюлевые воротнички с розовыми бантами, тюлевые подрукавники с буфами в виде двух колес, с бантами на каждом колесе. Я уже изображаю совсем большую девицу, я уж и волосы зачесала на взбивки. Только все еще очень я тонка, на девочку похожа и потому набиваю себя юбками, кроме кринолина. «Ты точно барабан»,— замечает мамаша, и я боюсь, как бы меня не заставили переодеться.

Собиралось у нас разнокалиберное общество: родственники, Островский, конечно Добролюбов, изредка симбирский помещик, вдовец, приехавший в Петербург для воспитания детей и тоскующий о родине, профессор Редкин, товарищ отца по Дерптскому университету, брат Поль Касторский, профессор Кавелин, Цертель, теперешний муж певицы Лавровской, Павел Васильевич Анненков, издатель Пушкина, и др. Кавелин и Редкин были по преимуществу папашины гости. Он их всегда уводил в кабинет,

и мы издали слышали только шум их споров. Тогда уж приготовлялось освобождение крестьян, и они все об нем толковали. Добролюбов пробирался в кабинет, если его не сажали в карты. Но говорил он, кажется, мало, больше слушал. По крайней мере я помню, что редко слышался его голос...

* * *

Вот подошел ко мне господин, с небольшими выпуклыми глазами, с толстыми красными губами, еще не старый, хотя уж с брюшком и с легкой проседью в темных волосах. Это Анненков. Он наш старый знакомый еще по Симбирску,— у него именье в Симбирской губернии. Он не пропускал ни одного четверга... «Считаю своей обязанностью всегда присутствовать на ваших всенощных, милейший Александр Николаевич»,— говорил он. Он прозвал наши вечера всенощными за обилие посещавших нас старух.

Я не любила, когда Павел Васильевич обращал на меня внимание,— очень уж он меня конфузил своей притворно добродушной манерой, своими шутками и особенно громким голосом. Иногда от конфузливости скажешь какую-нибудь глупость, а он во всеуслышанье: «la relève!» («прости, не знаю, как перевести»).

* * *

Приблизительно одинаково проходили все четверги,— несколько карточных столов, папаша с избранными в кабинете, мы — на полукруглом диване в углу залы. Помню, только раз в карты не играли, и общество не разделялось — все слушали. Писемский читал у нас отрывки из своего романа «Тысяча душ», который тогда печатался. Он читал приезд Калиновича в Петербург и жизнь его с Настенькой в Петербурге.

После чтения поднялись толки, из которых у меня в памяти осталось только одно: «Послушайте,— сказал отец,— ведь ваш Калинович просто подлец. Вы Белявина как будто унижаете перед ним, а тот, как бы то ни было, все-таки лучше его».

— Калинович живой человек,— отвечал Писемский,— а тот — мертвечина.

Учиться я еще не кончила. Училась я языкам у Ноэми, истории и географии — у отца, так как он нашел, что

«от Щеглова толка нет». Из учителей остался один Добролюбов. Он уже тогда окончил курс и становился литературной силой. Мы с Ноэми давно заметили, что Анненков «ne se démène pas» * при нем. Павел Васильевич заочно отзывался с сожалением об этом юноше не без дарования, но который бог знает до чего дойдет. При нем же он больше помалчивал, не произносил своих неудобопонимаемых фраз, не испускал восклицаний притворного восторга. «Гербель ne l'adore pas prècisèment»**,— смеялись мы. Гербель при Добролюбове совсем умолкал, только садился помолодцеватее, точно ему нипочем. Мы в тот год не получали «Современника», Гербель нам давал его. Принесет он иной раз книжку и скажет с горькой улыбкой:

— Добролюбов опять разбранил мои стихи. По крайней мере обидеть это меня не может, потому что он никого не щадит. И бранит-то бездоказательно,— одна голая насмешка...

— Бедный! — скажет потом мамаша.— Сам же на себя насмешки приносит!

Михаил Николаевич Островский попробовал было раз поучать Добролюбова. Помню я, как они стояли у камина. Мы смотрели на них издали. «Посмотрите, посмотрите, Ноэми, он состроил „sa mine d'importance!"»***. Михаил Николаевич стоял, опираясь головой на белую руку, и что-то проповедовал. Добролюбов выслушал его, потом возразил. Островский опять заораторствовал, тот еще возразил. Нам не слышно было, об чем они говорили. Мы только видели, что Островский все более и более горячился, потирал лоб, возвышал голос, убедительным жестом дотрагивался до рукава противника, а Добролюбов стоял все в той же позе, неловко прислонившись к камину, немного сгорбившись и вытянув худую шею. Голос его был тих и ровен, даже тише и ровнее обыкновенного,— он, кажется, просто скучал и продолжал спор из учтивости. С тех пор я не помню, чтобы Михаил Николаевич с ним разговаривал. Любонька говорила о Добролюбове: «Он такой неприятный! С ним разговаривать нельзя, не знаешь что сказать. Il ne se laisse pas entraîner dans la conversation» ****.

* Не раскрывается (*фр.*).— *Ред.*

** Не особенно обожает (*фр.*).— *Ред.*

*** Значительную мину (*фр.*).— *Ред.*

**** Он не дает себя увлечь разговором (*фр.*).— *Ред.*

Мамаша его статей не читала, конечно, но находила, что уж очень он много о себе думает, все писатели, по его, не годятся.

Ей давно надоело присутствовать при моих уроках, но иногда она все-таки являлась и большей частью — вышивает-вышивает и приляжет и задремлет под шумок. Раз как-то — она еще бодрствовала — Добролюбов объяснял мне недостатки кого-то из авторитетов, она вдруг вознегодовала:

— Если вам ничего не нравится, вы бы сами лучше написали.

Он вскинул на нее свои очки и сказал, улыбаясь:

— На такое предложение, ей-богу, не знаю, что и отвечать.

Отец был также в классной:

— Помилуй, матушка, вот я сапог шить не умею, а имею же право сказать, что сапожник мне сшил плохие сапоги.

Впрочем, и отец заметил ему раз:

— Напрасно вы ей все это говорите, она вас еще не может понимать, как должно, и приучается только к бестолковому фрондерству.

— Беда небольшая,— отвечал он,— на недостатки моего преподавания найдется достаточный противовес в разговорах других и книгах...

Отец придет в класс, послушает и поднимет спор, и обо мне они забудут. С отцом Николай Александрович всегда спорил всерьез. Он, видимо, уважал его, и папаша его любил — обнимет его, бывало, и скажет:

— Ну, пойдемте чай пить... Никогда мы с вами согласиться не можем.

Между ними была симпатия, основанная, как мне припоминается, на некотором сходстве натур. Оба были люди совершенно искренние. Оба не терпели фразерства, рисовки, мелочности, хотя выражалась у них эта нетерпимость различно. Отец если в ком заметит фальшивое и мелочное чувствейце, не выдержит, обличит, пристыдит, а Добролюбов только посмотрит на такого человека совсем-совсем равнодушно, ничего не скажет, не удостоит,— мало ли дряни на свете, всех не переучишь.

Разговоров их я не слушала — глупая я еще девчонка была, мало что понимала и мало чем интересовалась. Помню только, раз папаша заговорил с ним о какой-то его статье:

— Уж очень вы жуете да пережевываете — скучно это.

— Кто же вам велит читать? Ведь я не для вас и пишу, а для тех, кто ровно ничего не знает,— согласитесь, что таких у нас много.

Помню еще одно.

— Пишешь,— сказал раз Добролюбов,— только потому, что ничего другого делать нельзя.

Раз папаша просмотрел мои тетради и заметил:

— Послушайте, ведь она все с ваших слов пишет, ведь тут своего ничего нет.

Добролюбов улыбнулся.

— Может быть, я сумел убедить Наталью Александровну в правильности своих рассуждений,— пошутил он.— Мне кажется,— заговорил он серьезно,— сначала достаточно выучиться выражать чужое, чтобы со временем уметь выражать свое, когда оно наживется.

— Да, это прекрасно. Но можно задавать ей иногда сюжеты, которые ей было бы под силу самой обдумывать. Отчего вы ей не задаете хоть описания какие-нибудь?

— Да я сам-то уж очень этих описаний не любил в семинарии. Так по воспоминанию других не заставлю их писать. Впрочем, извольте, я попрошу вас к будущему уроку написать что-нибудь в этом роде. Что бы такое? Ну, хоть описание города и деревни.

Очень меня раздосадовал этот сюжет. Чего я напишу? Ведь это не француз,— тому стоило бы описать: les champs fleuris, des bois ombragés, les bons laboureurs и сравнить с ville poudreuse, passants affairés et soucieux * — и дело в шляпе. А Добролюбов на смех подымет. Придумала я наконец другое и мигом накатала. Написала я от лица помещика, который, соскучившись летом в деревне, для развлечения поехал в город и там соскучился, потому что город оказался пустым, в клубе партии не нашлось и ⟨в⟩ гостинице мухи заели.

— Покажи-ка мне твое сочинение,— сказал папаша.

Я подала.

— Что за чепуха? Что-то о мухах да о картах. Тебе совсем не то задали.

Добролюбову же сочинение понравилось.

---

* Цветущие поля, уединение тенистых лесов, добросовестные работники... пыльный город, прохожие, занятые и озабоченные (*фр.*).— *Ред.*

— Вот с какой точки зрения вы взялись за сюжет,— сказал он с довольной улыбкой.

«Какая точка зрения? — подумала я.— Я ни о какой точке зрения не помышляла, а просто припомнила, что слышала в Симбирске».

— Что это за игра квинтич? — спросил он, прочитав далее.— Никогда не слыхал.

— Я не знаю,— у нас все в квинтич играют.

— Это интересно, надо справиться. Неужели до сих пор люди еще живут так! — сказал он, окончив чтение и поправив неизбежные орфографические ошибки.

— А знаете, у вас есть способность к изложению.

Я посмотрела на него с удивлением. Вот тебе раз! Папаша побранил, а этот хвалит.

— Я советовал бы вам писать,— прибавил он полушутя-полусерьезно.

— Как писать?

— Писать для печати...

Я была ошеломлена.

— Я вам говорю без шуток, у вас есть способности... Вот тут вы бы могли еще другие ваши наблюдения прибавить. Ведь вы живали в деревне?

— Летом — да.

— А зимой?

— Только одну зиму, когда папаша был сослан.

Добролюбов встрепенулся.

— Разве Александр Николаевич был сослан? А я не знал. Не знаете, за что?

— Из-за доноса губернатора и предводителя.

— Вот как! Я и не знал!

Он точно обрадовался. Папаша вошел в классную.

— Что? Вздор она вам написала? Совсем не то, что вы задали?

— Правда, не то, но сочинение мне понравилось.

— Неужели? Чем же?

— Наблюдательность есть. А вот что мне Наталья Александровна сказала, что вы не избегли участи многих, сосланы были. Интересно, за что?

Папаша стал рассказывать.

— Однако пора вас отпустить,— вспомнил Добролюбов,— только надо вам еще сочинение задать. Попробуйте описать какой-нибудь характер, может быть вам и удастся.

— Так вам, в самом деле, понравилось, что она написала? — сказал папаша.— Странно! А я ее побранил.

— Добролюбов не шутя хвалит твое сочинение,— сказал мне отец на другой день.— Только ты не очень гордись. Он и подсмеивается немножко, зовет тебя женским Щедриным.

Я и не думала гордиться. Какой я ему еще характер опишу? Вот смерть-то! Наконец придумала я описать нашего врага, Островского, и описала, постаралась, и вышло бестолково. Мамаша была в классе, когда я подала свою сатиру, и по некоторым признакам узнала, кто описывается.

— Очень глупо! Совсем не похоже.

— А вы таки узнали? — спросил Добролюбов.— Вот видите,— стал он мне объяснять,— вы обращали внимание на частные мелочи; надо выбирать более крупные черты характера. Если не секрет, кого вы описывали?

— Островского.

— Очень глупо,— повторила опять мамаша.

— Вы были не совсем справедливы. Он почему-то вам не нравится, автор же должен быть беспристрастен, некоторые даже уверяют, будто он должен любить всякое лицо, какое бы он ни описывал. Героя ли, негодяя ли... Между прочим,— прибавил он усмехаясь,— вы упрекаете его в черствости сердца, а мне кажется, что у Михаила Николаевича, напротив, сердце очень нежное. Мы как-то говорили с ним о его брате, он не шутя его русским Шекспиром считает. Это ли не братская любовь?

«Так вот о чем они тогда спорили у камина»,— сообразила я.

Вот и все, что я могу припомнить о Добролюбове в то время. Еще я запишу одно обстоятельство, чтобы дать понятие о его тогдашнем стесненном положении, несмотря на возникающую известность. Осенью отец получил от него записку[1] следующего содержания: «Любезный Александр Николаевич, хотя я Вас знаю менее многих других, я почему-то решаюсь к Вам одному обратиться с просьбой об одолжении. Не можете ли Вы мне дать взаймы сколько-нибудь? У меня нет теплого пальто на зиму, а сделать не на что...»

Под конец зимы он отказался от других уроков за недостатком времени. Его заменил Милюков.

* * *

Саша непременно пожелала еще учиться у Добролюбова,— я у него училась, так ей не хотелось от меня отстать. Тетушка возразила: «Для чего это? Литература — роскошь. Прежде надо изучить необходимое», но все-таки попросила папашу добыть Добролюбова. «Едва ли он согласится,— отвечал отец.— У него много литературной работы, и уроки он теперь дает только сыну Кавелина, и то, кажется, по дружбе. Впрочем, я попробую».

— Добролюбов согласился,— сказал он на другой день,— пишет, что рад возобновить со мной знакомство. Должно быть, ему хочется узнавать от меня новости по редакционной комиссии.

Я также пожелала учиться у Добролюбова. Он уж тогда был настолько известен, что мог заинтересовать и девчонок. Я сообщила свое желание отцу.

— И прекрасно,— одобрил он.

— Только я писать не буду.

— Как хочешь. Ты не маленькая, принуждать я тебя не стану, а не мешало бы тебе усовершенствоваться и в слоге и даже в орфографии. Вообще тебе надо бы многим заняться, да я тебя совсем забросил. Некогда мне теперь.

— Кажется, вам нечего жаловаться,— вступилась тетушка,— образование она получила солидное. А вот как сами-то ленивы и учительница безумствует, немного пользы выйдет. Поневоле пришлось сделать coup d'État * и увезти.

Когда Добролюбов пришел на первый урок и мы с Сашей уселись рядом за большой стол, а он сел напротив, я принялась его рассматривать.

«Он мало изменился,— думала я,— крошечку только пополнел, цвет лица как будто стал поровнее, почище, и баки выросли, два жидкие клочочка волос; волосы на голове аккуратнее подстрижены и приглажены, и одет он не в старенький студенческий сюртучок, а в хорошее платье, сшитое, должно быть, у дорогого портного,— видно по фасону. А фигура у него все такая же — узкие плечи, вдавленная грудь, круглая спина,— и взгляд тот же, внимательный и безучастный; те же глаза, умные

* Государственный переворот (*фр.*).— *Ред.*

и невыразительные, именно невыразительные, потому что они смотрят только умно, но всегда одинаково холодно и спокойно».

— Меня просили заниматься с вами не одной русской словесностью,— заговорил он,— но и всеобщей. Хотя древний период истории всякой словесности всегда скучноват для неспециалистов, но начала обойти нельзя. Я постараюсь не утомлять вас подробностями и перейти поскорее к более живому и интересному времени. Вам,— прибавил он, обращаясь ко мне,— помню, я толковал обо многом, что для вас было совершенно не нужно. Тогда еще собственное ученье свежо в голове было, так и передавалось без разбору то, чем сам занимался.

Начал он, как сейчас помню, с «Наля и Дамаянти», в переводе Жуковского, проговорил часа полтора. Саша сидела вся красная и надутая — она конфузилась знаменитости. Тетушка несколько раз влетала в комнату. Под конец урока она уселась в сторонке.

Добролюбов кончил и сказал Саше:

— Попробуйте записать к следующему уроку, что вы запомнили из того, что я говорил вам сегодня... А вы,— обратился он ко мне,— так и не будете ничего писать?

— Нет.

— Отчего же? Я сколько помню, вы писали без особенного труда. Не надумаетесь ли? Не напишете ли также?

Он встал.

— Ну что? Как вы нашли? — затараторила тетушка.

— То есть что же именно я нашел?

— Как вы нашли — она не очень отстала?

— Я теперь еще не могу судить, пока я только один говорил.

— Вы, пожалуйста, заставляйте ее говорить, не давайте ей распускаться, уходить в молчанье. У нее общий недостаток русских — paresse d'esprit *.

Саша вся вспыхнула и сделала свирепое лицо. Добролюбов улыбнулся:

— Если Александра Федоровна желает учиться, то, вероятно, победит в себе умственную лень.

— С этой тетушкой просто страм! — воскликнула Саша, когда мы остались одни.

— Что тебе? Пусть ее болтает.

---

* Умственная лень (*фр.*).— *Ред.*

— Да ведь стыдно, я думаю. И она будет всякий раз приходить в класс и впутываться...

Действительно, тетушка часто приходила к нам во время уроков, часто впутывалась, делала замечания. Добролюбова она, кажется, забавляла. Он слушал ее и отвечал ей со сдержанной усмешкой, а Саша краснела и гневалась.

— Все отрицать и разрушать легко,— кипятилась как-то раз тетушка.— Теперь все охотники разрушать, только созидать никто не умеет.

— Для нас в настоящем случае,— отвечал, улыбаясь, Добролюбов,— нет надобности ни разрушать, ни созидать. Наше дело только оценивать.

— Вы не оцениваете, а обесцениваете!.. Еще успеют они в жизни разочароваться во многом, незачем заранее уничтожать всякий престиж.

— Я не думаю, чтобы мои суждения влияли так разрушительно. Вот с Натальей Александровной я занимался гораздо дольше, чем с Александрой Федоровной... Разве я вас разочаровал в жизни? — обратился он ко мне.— Впрочем, ведь тогда у вас было противоядие от моих опасных теорий: кроме меня, вам поэт Гербель преподавал словесность.

«Господи! Вот далось! — подумала я.— И этот туда же!»

— Ваша тетушка,— сказал Добролюбов Саше,— недовольна моим сегодняшним преподаванием; так на этот раз не записывайте моих слов, а лучше попробуйте написать что-нибудь из головы.

Саша так испугалась такой темы, что против обыкновения заговорила с ним:

— Об чем же писать?

— Об чем хотите. Можете написать ваши мысли, наблюдения... А вы, Наталья Александровна, не напишете ли также?

— Нет, мне не хочется.

— Странно это! Обыкновенно, у кого есть способность к чему-нибудь, у того бывает и охота, а у вас способность есть, а охоты нет; зароете вы свой талант в землю, как говорится,— прибавил он тем тоном, каким он часто говорил: не то шуточным, не то серьезным.

В другой раз он застал меня за письмом к Ноэми. Я доканчивала четвертую страницу, не заметила, как он вошел, и вздрогнула, когда он заговорил:

— Ведь вот вы письма пишете же, а другое писать не хотите.

— Письма — другое дело, гораздо легче.

Он помолчал, точно призадумался...

— А для меня так вот письмо труднее всего. Мне приходится писать большей частью к своим. Общего между нами мало, интересы слишком различны. Так иной раз придумываешь, придумываешь, что бы им сказать.

Так и не удалось ему втянуть меня в сочинительство. А Сашу он сочинениями просто в отчаяние приводил. С первого же раза она стала в тупик, посидела над тетрадкой, погрызла перо и сказала мне отрывисто и нахмурившись:

— Не знаешь ли, как это писать? Мне никогда таких сочинений не задавали.

С тех пор я всегда ей подсказывала и как надо писать. Только иногда, чтобы я не зазналась, она замечала: «Ну, это ты, кажется, врешь», или: «Кажется, ты какие-то глупости мне насказала». Вообще она у Добролюбова немногому научилась. Она была приготовлена гораздо хуже меня.

* * *

Однако пора возвратиться к Добролюбову и досказать то немногое, что я помню об нем.

Вышло «Накануне» Тургенева. Поднялись толки о романе. Папаша говорил:

— Роман хорош и умен, как все тургеневское, только полно, накануне ли мы? Впрочем, ему лучше знать, он наблюдательнее меня.

Павел Васильевич Анненков закидывал голову назад, встряхивал волосами и восклицал:

— Глубоко! Необычайно глубоко!

Любонька допрашивала Михаила Николаевича:

— Не правда ли, Берсеньев гораздо симпатичнее Инсарова? Как можно было предпочесть Инсарова! Вообще я эту Елену не понимаю.

Островский изрекал:

— Елена, как все женские характеры у Тургенева, в психологическом отношении безукоризненна, но мне такие женщины не нравятся.

— Как они много потеряли,— подсмеивались мы с Сашей.

Саше больше нравилось «Дворянское гнездо».

— Лиза такая милая. Помнишь, как она у Лаврецкого в гостях стоит у пруда и Лаврецкий думает: как ты мило стоишь над моим прудом. Я когда в первый раз прочитала — пришла в восторг, но я тогда такая глупая была — сейчас попросила мамашу купить мне белый пояс, как у Лизы.

Коля в качестве будущего артиста негодовал, что Елена не умела оценить Шубина:

— Не может быть привлекательна натура без художественного чутья.

Мамаша бранила Елену:

— Мерзкая, бессердечная! Бедную мать бросила!

Тетушка находила, что «этот Инсаров противный со своим картузом с ушами», и негодовала за сцену между ним и Еленой после болезни:

— Она просто навязалась ему!

Я уже говорила, что я была девушка своего времени и не из тех, что куда-то стремились, что было накануне нового... И потому, конечно, я всего более восхищалась любовью Инсарова и Елены. Я завидовала Елене не потому, что ее милый готовится к великому делу и что она собирается помогать ему,— я завидовала другому. «Вот,— думала я,—против них было больше препятствий, а не задумалась же она; и я бы не задумалась, знала бы, что делать...»

Раз во время урока Добролюбова раздался по дому голос дядюшки, Владимира Николаевича.

— Это Владимир Николаевич, кажется? — спросил Добролюбов.

— Да.

— Мне бы очень хотелось с ним повидаться. У меня дело до него есть. Ведь мы, люди пишущие, только и думаем, как бы вашего дядюшку надуть,— прибавил он улыбаясь.

Зашел в классную папаша. Николай Александрович повторил ему свое желание:

— Видите, я написал статью о «Накануне», а Владимир Николаевич уж очень много вычеркнул.

— Я его позову сюда. Ну, а что? Как вам нравится «Накануне»?

— Прелесть! — отвечал он с непривычным ему восторгом.

— Хорошо-то хорошо, только герой не совсем ясен.

— Моделей у него для таких людей перед глазами не было. Но зато — новая, свежая мысль! И девушка эта как хороша! И как умно, что он не воротил ее в Россию после смерти мужа. Что бы она стала делать дома?.. И закалил же он их! — прибавил он с довольным смехом.— Даже художественности не понимают. А как хорошо их пребывание в Венеции!

Никогда не видала я Добролюбова таким — у него лицо стало добрее и точно моложе, и голос стал другой. Но вот вбежал в комнату Владимир Николаевич:

— А! Милейший Николай Александрович, здравствуйте! Читал, батюшка, вашу статью — переделать надо многое.

Добролюбов сделался опять прежним, спокойным и подсмеивающимся:

— Владимир Николаевич, вы уж очень меня притесняете. И что вам тут показалось предосудительным? Ведь я хвалю, говорю, что у нас благоустроено государство...

— Нет, голубчик, не надуете. Уже мне все ваши писания вот где сидят!

Дядюшка указал на шею. Однако он кончил тем, что обещался перечитать статью, и, как известно, она была пропущена без искажений [2]. Как я торжествовала, когда прочитала ее.

— Вот тетушке надо показать, что он пишет о той сцене,— говорила я Саше.

Тетушка также прочла статью и решила, что «теперь все навыворот, все вверх ногами ходят».

В тот же год появилась также «Первая любовь» Тургенева. Добролюбову она не понравилась. «Французский роман»,— отозвался он.

Папаша заспорил.

— Я с вами согласен,— сказал он,— что это хорошо написано. Он писать умеет. Но время ли теперь заниматься такими пустяками, особенно ему?

* * *

Мы с Сашей и с тетушкой сидели в гостиной, мамаши дома нет. В кабинете Добролюбов. Вот он простился с папашей, выходит в гостиную; тетушка поймала его

по дороге и спросила об чем-то насчет уроков. Звонок. Степан бежит к отцу с докладом. Тетушка кого-то ждала и потому остановила Степана. «Кто это?» — «Милютин-с».— «Милютин! — воскликнул Добролюбов.— Интересно его посмотреть».

Тетушка сидит на кушетке около двери. Николай Александрович стоял перед ней. Мы с Сашей сидим у окна. Вот Добролюбов посторонился и стал около нас. Как сейчас его вижу — он, по обыкновению сгорбившись и вытянув шею, смотрит исподлобья через очки на входящего Милютина. Милютин поклонился и идет прямо, не оборачиваясь.

⟨189?⟩

В. И. МОДЕСТОВ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИЧНОСТИ И ВЗГЛЯД НА ПИСАТЕЛЯ

Отрывок

...Имя Добролюбова мне не чуждое имя. С покойным я был не только знаком, но и жил в стенах одного учебного заведения. Я был на первом курсе Главного педагогического института, когда Добролюбов был на четвертом. Его высокая фигура с бледным, не очень красивым, но умным лицом, с очками на глазах была одною из первых, на которую было обращено наше внимание, то есть внимание молодых людей, поступивших в институт в августе 1856 года. Добролюбов был самым выдающимся членом того кружка в институте, который давал в заведении господствующий тон и руководил, так сказать, общественным мнением заведения. Он выдавался не только своими способностями и познаниями, мера которых всегда бывает известна товарищам, но и тем, что писал в «Современнике» — в журнале, пользовавшемся тогда как среди учащейся молодежи, так и в обществе наибольшим сочувствием. Лучшие профессора, как, например, покойный Срезневский, его отличали и оказывали ему знаки особого внимания. Это также поднимало Добролюбова в глазах студентов всех курсов и прибавляло ему веса в кружке его ближайших друзей и товарищей.

Воспоминания из времени юности нам всегда приятны, и потому я позволю себе продолжить их, насколько они касаются Добролюбова. Кружок, в котором играл первенствующую роль Добролюбов, жил и действовал вдали от нас, студентов первого курса, но он не хотел отказаться от распространения и на нас своего влияния. Уже на первых порах к нам стали проникать из него кое-какие произведения печати, которые не водились в книжной торговле Петербурга, и рукописные переводы иностранных сочинений совершенно нового для нас содержания [1]. Затем мало-помалу стали устанавливаться между нами и кружком, к которому принадлежал Добролюбов, и личные связи. Не со всеми, однако, студентами нашего курса кружок Добролюбова входил в сношения, чтобы провести свое влияние: нет, нас было всего три-четыре человека, которых он считал годными к восприятию идей, им исповедуемых. Сам Добролюбов, впрочем, постоянно держался от нас на некоторой дистанции; всего больше старался сблизиться с нами его интимный друг, а потом самый злой враг, некто Щеглов, человек, отличавшийся самыми крайними воззрениями в области политики, философии и религии, впоследствии, однако, перешедший к совершенно противоположным крайностям. Идеалом его в политике было время Конвента, в философии он проповедовал материализм самой чистой воды, религию, разумеется, отвергал в самом ее корне, совершенно не признавал искусства и во всех случаях выражал суждения самые смелые, самые решительные, никаких возражений не выносил и считал их признаком глупости или по меньшей мере недозрелости. Мне особенно много доставалось от него за признание важности поэзии и искусства, к которым он чувствовал какую-то дикую ненависть. Натура Добролюбова, разошедшегося с ним перед выходом из института окончательно, была несравненно нежнее, и в его словах ни в то время, ни после я не замечал той резкости суждений о важных вопросах, какою отличался его беспощадный товарищ, упрекавший его в неблагодарности и уверявший нас, что он все время студенчества «тянул Добролюбова за уши и дрессировал, как собаку».

Добролюбов окончил курс в институте летом 1857 года. Как казеннокоштный студент, он должен был бы поступить учителем в гимназию, по назначению от начальства, но он, по-видимому без большого труда, нашел возможность

остаться в Петербурге и не поступил учителем в гимназию, а определился преподавателем русского языка в Первый кадетский корпус[2]. От преподавательства он скоро отказался, так как не оно было целью его стремлений, и предался всецело журнальной деятельности. Начавши писать в «Современнике» еще в последний год своего студенчества, он посвятил все свои силы этому журналу и скоро сделался одним из самых необходимых и заметных его сотрудников. Публика начинала уже на первых шагах его журнальной деятельности, видимо, интересоваться Лайбовым (обыкновенный псевдоним Добролюбова), а в глазах студентов Педагогического института он был уже большим литератором. Каждая статья его, разумеется, читалась нами прежде всего по получении книжки «Современника» и, само собой разумеется, всегда находима была прекрасною. Я читал его статьи также с интересом, наравне со всеми товарищами гордился тем, что такой талантливый человек вышел на свет из стен нашего института, но к особенно горячим почитателям его не принадлежал. Это обнаружилось и при первой встрече моей с ним, по выходе его из института.

Встреча эта произошла ровно через год после того, как он оставил наше заведение,— произошла в Старой Руссе, летом 1858 года. Перед отправлением туда Добролюбов попросил у меня через одного из своих ближайших друзей, так же как и он умершего в ранней молодости, Н. М. Михайловского, нескольких сведений, касающихся проезда в Старую Руссу и лучшего способа там устроиться на лето. Через полмесяца после него приехал и я в Старую Руссу и в первый же день встретился в вокзале минеральных вод с своим сокашником. Был я у него несколько раз и на квартире, довольно неудобной вообще и в частности для занятий. Добролюбов писал тогда свои статьи о только что вышедшей в то время книге Устрялова «История царствования Петра Великого». Статей этих у него вышло три, которые и были помещены в июньской, июльской и августовской книжках «Современника» 1858 года[3]. Иногда случалось так, что он, не желая бросать работы, продолжал писать в моем присутствии, следя по конспекту, написанному на длинной бумажной ленте, которая была у него намотана на указательный палец левой руки и разматывалась по мере движения статьи. Писал он с быстротою движения пера, которая меня поражала. Строки, одна за другой, так и унизывали бумагу, словно

он писал что-нибудь твердо заученное. При мне он одну из своих статей отправлял на почту, налепивши на большой конверт восемь марок, но при этом посылалась не вся статья, а лишь дополнение к раньше посланному. Сообщаю эти подробности только потому, что они у меня ясно сохранились в памяти. Когда же Добролюбов был свободен, то мы вступали в разговор, который, при всем моем признании его сильного превосходства предо мной, тотчас же превращался в спор, и спорили мы, сколько помнится, немало.

Я сказал, что не принадлежал к особенно горячим почитателям Добролюбова. Дело вот в чем. Добролюбов, при всем своем, несомненно, большом уме, обличал в себе представителя известного журнального кружка, с решительными мнениями в известном духе и с значительною долею нетерпимости к другим мнениям. Кружковые же интересы мне были чужды и тогда, как были всегда чужды и впоследствии, вплоть до настоящей минуты. И действительно, я никогда не считал себя солидарным в *мнениях* ни с одним литературным или другим каким-либо кружком, хотя и признавал по временам необходимость солидарности в *действиях.* Добролюбов выступал предо мной как резкий представитель мнений «Современника». Но я, как, впрочем, и мои ближайшие товарищи, читая с удовольствием «Современник», так же охотно читал и «Русский вестник», в котором тогда действовали выдающиеся литературные и публицистические силы (между прочим, покойный Кудрявцев)[4]. Несколько презрительный тон Добролюбова в отношении к «Русскому вестнику» мне не нравился, и я, как умел, отстаивал права этого журнала на уважение, а это не нравилось Добролюбову, который как бы видел в этом недостаток энтузиазма к «Современнику» — вместе, конечно, с недостатком моего политического понимания. Чтобы убедить меня, насколько «Современник» превосходит «Русский вестник», он сделал однажды такое сравнение. Представьте себе, говорил он, человека, который лежит в луже и не может из нее выкарабкаться. «Русский вестник» хочет его оттуда вытащить, как и «Современник»; но в то время как «Русский вестник» тащит завязнувшего в луже человека понемножку и бог весть, когда он его вытащит, подходит «Современник» и прямо ставит его на ноги. Сравнение это мне показалось очень любопытным, но вместе с тем и чересчур самоуверенным. Поэтому я заметил Добролюбову: хоро-

шо, если «Современник» поставит завязнувшего человека на ноги; а если у него не хватит сил вытащить его разом и человек, вытянутый до половины, снова шлепнется в грязь, то что вы на это скажете? Добролюбов, по-видимому, не ожидал этого возражения и, сколько помнится, ничего мне не ответил, а если и ответил, то что-нибудь столь незначительное, что спор на эту тему должен был совсем прекратиться. Разговор этот, который я по возвращении в Петербург передал своим ближайшим товарищам, был, кажется, последним серьезным разговором между мною и Добролюбовым. Поздней осенью или зимой того же года, то есть несколько месяцев спустя после нашего старорусского свидания, я как-то зашел к Добролюбову, жившему тогда на Малой Итальянской улице [5]. Зашел я к нему часа в три пополудни и был немало удивлен, что Добролюбов только что встал и умывался. Мы разговаривали через перегородку о каких-то пустяках. Одевшись, он заявил мне, что ему нужно ехать в книжный магазин Давыдова, где была тогда контора «Современника». Мы вместе вышли, доехали до магазина Давыдова и расстались. С тех пор мы уже больше не видались. В конце 1861 года Добролюбова уже не стало...

⟨1885⟩

П. И. ВЕЙНБЕРГ

⟨ВОСПОМИНАНИЯ О ДОБРОЛЮБОВЕ⟩

⟨Репортерское изложение⟩

Отрывок

П. И. Вейнберг предупредил, что запас воспоминаний его о Добролюбове не отличается полнотой: ему пришлось встретиться с Добролюбовым всего несколько раз.

Первое знакомство автора воспоминаний произошло на обеде, который был дан сотрудниками «Современника» знаменитому актеру Мартынову [1]. Такие обеды были в то время редкостью, и это чествование таланта небольшим кружком Некрасова произвело на П. И. Вейнберга неизгладимое впечатление. Стихи Некрасова «Свободная семья людей свободных» [2] вызвали прямо взрыв восторга, теперь уже, быть может, и непонятного. За этим-то обе-

дом Некрасов и познакомил Вейнберга с Добролюбовым.

Внешность Добролюбова производила поразительное впечатление. Особенно поражали глаза Добролюбова. Глаза эти были чрезвычайно холодные для малознакомых или несимпатичных людей; можно сказать, в них чувствовался ледяной холод. Но те же глаза при желании могли принимать оттенок замечательной мягкости и проникновенности; казалось, что они заглядывают прямо в душу собеседника.

Разговор был о Гейне, некоторые стихотворения которого были уже в то время переведены П. И. Вейнбергом. К крайнему удивлению последнего, Добролюбов обнаружил гораздо больше любви к лирическим произведениям Гейне [3], чем к социально-публицистическим. То же отрицание социально-политической тенденции сказалось впоследствии у Добролюбова при суждении о «Тысяче душ» Писемского [4].

Это обстоятельство как нельзя лучше опровергает довольно распространенное мнение относительно Добролюбова, будто бы совершенно отрицавшего чувство. ⟨...⟩

Во второй раз П. И. Вейнберг встретил Добролюбова у Некрасова. Добролюбов был чем-то раздражен и очень недружелюбно отозвался о Писемском [5].

Затем больной Добролюбов уехал за границу, пробыл там полгода [6] и приехал обратно, уже обреченным на смерть.

Незадолго перед концом П. И. навестил Добролюбова. Он лежал на диване бледный, совершенно истомленный; в ногах его сидела Головачева-Панаева. Вся фигура больного выражала полное уныние и покорность судьбе. На вопрос: «Как вы себя чувствуете?» Добролюбов отвечал: «Да, мне теперь хорошо, а скоро, быть может, будет и совсем хорошо».

В соседней комнате Вейнберг застал Некрасова, и у этого по наружности черствого человека стояли слезы в глазах.

Скоро Добролюбов и умер.

Когда через три дня после похорон Вейнберг встретил Чернышевского и спросил о похоронах, Чернышевский ответил: «Когда умер Шиллер, Гете долго не допускал никого к себе и не позволял упоминать имени Шиллера; прошу и я вас не упоминать при мне имени Добролюбова».

Речь свою П. И. Вейнберг закончил эффектной характеристикой духовного облика Добролюбова, и эта характеристика вызвала гром рукоплесканий многочисленной аудитории.

Декабрь 1901

В. Н. НИКИТИН

ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывок

...Вдруг вошел без доклада высокий плотный серьезный молодой человек в очках, без усов, но с бородою, как немецкие пасторы. Они поздоровались на ты, и хозяин представил меня гостю[1], который тоже подал мне руку, но сосредоточенное, грустное выражение лица его, резкий, как мне показалось, голос смутили меня. Он спросил меня, где я воспитывался. Я ответил — в баталионе.

— Ба, так мы с вами ведь земляки,— почти весело продолжал он.— А есть у вас в Нижнем родители, родственники?

Я назвал крестного.

— Да ведь мы с вами, значит, детьми играли в церковном саду после обедни, когда ваш отец беседовал с моим отцом. Припоминаете?

— Вы, стало быть, сын протоиерея Покровской церкви?

— Ну да, да. Итак, бывшие: я — семинарист, а вы — кантонист, вот где встретились. Так будемте вместе сбирать в наше ополчение, по примеру нашего предка Минина. Я охотно занялся бы вашим произведением, да жаль — уезжаю послезавтра за границу.

— Не беспокойтесь, пожалуйста,— вмешался хозяин,— я не обижу его.

Вошел пожилой высокий господин с французскою бородкою, истомленным, добрым лицом и сиплым голосом. Оба встали и поздоровались с ним, как младшие со старшим,— почтительно. Хозяин извинился перед ним, что не успел одеться, сказал ему про меня и показал письмо Костомарова, а земляк просил его оказать мне внимание,

как товарищу его детства. Оба называли его Николаем Алексеевичем.

— Пиши, пиши, братец, хорошенько, поддержим,— протяжно заговорил пожилой, потрепав меня по плечу.— Ты из народа — говори нам его устами правду про его радости и печали.

— А вы читали стихотворения Некрасова? — спросил меня Добролюбов.

— Некоторые в «Современнике» читал.

— Так вот он, сам поэт, перед вами.

Я выпучил глаза и замер от охватившего меня волнения, ибо в канцелярии все его превозносили, и я его представлял себе неземным существом.

— Если ты читал только некоторые, так дайте ему, Николай Гаврилович, все. Прочитай, братец, и скажи: может ли народ понимать их?

Добролюбов достал тем временем из шкафа три книги, завернул их в газету и подал мне.

— Прочитайте, пожалуйста, внимательно,— внушал мне Чернышевский,— чтобы в вашей памяти сохранились изображенные поэтом картины и лица. Рукописью вашею я непременно займусь, а вы недели через три зайдите ко мне, утром же, в праздник: на досуге побеседуем.

Я встал, раскланялся всем, они подали мне руки, и я ушел в величайшем восторге, что в одно утро удостоился лицезреть и говорить с четырьмя светилами тогдашней литературы [2].

⟨1906?⟩

А. В. НИКИТЕНКО

ДНЕВНИК

Отрывок

24 июля (5 августа) 1860 г. ...После полудня мы отправились в Лаутербруннен вместе с В. П. Валуа, Н. А. Добролюбовым (сотрудник «Современника») и еще одним русским гвардейским офицером. Дорога ведет в ущелье между Абенбергом и Брейтлау к Юнгфрау, которая из моего окна кажется на расстоянии всего двух верст, не более. На самом же деле к ней надо ехать верст три-

дцать. Ущелье извивается между гигантскими гранитными скалами самых разнообразных и величественных форм. На дне его бежит, яростно скачет, шумит и пенится небольшой поток Лучина. Мы вторглись, так сказать, в самую середину Альп и наслаждались видами, которых описать, конечно, нет никакой возможности. Но вот издали, вправо, показался Штаубах, который с подоблачной высоты несется вниз по черному граниту и, разбиваясь о него, обращается в одну серебряную пыль. За ним другой водопад, а прямо впереди — белая Юнгфрау, которая, несмотря на проеханное расстояние, кажется все такою же отдаленною, как из моего окна. Мы оставили коляску у гостиницы и сами пошли к Штаубаху. По дороге встречный пастух затрубил в исполинский рог, звуки которого подхватило эхо и в бесконечных перекатах рассыпало по горам. Это была одна из самых приятных прогулок, тем более что ей благоприятствовал теплый и светлый день.

МАРКО ВОВЧОК (М. А. МАРКОВИЧ)

ПИСЬМО К Б. А. МАРКОВИЧУ

Отрывок

⟨Богуслав, Киевск. губ.⟩ 10 сентября 1887 г.

...Знакомство с Добролюбовым было тоже не долгое, но воспоминаний оставило много, и я могла бы многое рассказать о нем, хотя видались мы всего какой-нибудь месяц или два. Он обращал меня, что называется, в свою веру и много говорил — говорил о всем и всех. Предупреждаю, что отзывы его о многих, которые пользуются «симпатиями русской публики», были более чем непочтительны. Особенно горько и язвительно осмеивал он Тургенева. Много говорили о Некрасове, Чернышевском. Одним словом, открыл мне глаза на многое и многих. Если Николай Григ. ⟨Гаврилович⟩ желает, я постараюсь припомнить все, изложить на бумаге, хотя скоро этого сделать не могу. Очень жаль, что он сам не написал мне, чего он желает и когда, то есть к какому сроку.

А. П. ПЯТКОВСКИЙ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ

(*Биографический очерк*)

Отрывок

Умыкали бурку крутые горки.
Народная пословица

...Отличительными качествами критических статей Добролюбова служат: необыкновенная ясность и простота его критической теории, прямая постановка вопросов и замечательная последовательность в развитии своих воззрений. Стойкость воззрений этого писателя была, в самом деле, изумительна и в житейских делах выражалась иногда невольной досадой на людей, не одаренных такой же силой и точностью соображения. Добролюбов не любил в разговорах распространяться о вещах, которые представлялись слишком ясными его собственному сознанию, и вследствие этого он соблюдал строгое молчание, когда беседа начинала вертеться на таких истертых осях, а иногда даже прерывал нить разговора каким-нибудь судорожным движением или замечанием. Так, например, с год тому назад, в доме одного из хороших знакомых Добролюбова, поздно вечером зашла речь о каких-то очень избитых, давно решенных и перерешенных вопросах. Собеседники вступили в горячий спор; кружок оживился. Но покуда шел этот спор, Добролюбов, бывший тут же и сидевший все время молча, тишком пробрался в прихожую и стал надевать шубу. Один его приятель, заинтересованный разговором, вышел к нему и попросил его подождать немного, надеясь с ним вместе отправиться домой.

— Дослушаем разговор,— сказал он Добролюбову.

— Как вам не стыдно,— ответил тот с нервной, лихорадочной дрожью,— говорить о таком вздоре, переливать из пустого в порожнее. Хороши люди, которым нужно еще убеждаться в таких вещах.

За это многие обвиняли его в нетерпимости чужих мнений.

Были также люди, обвинявшие Добролюбова в сухости сердца, в неумении отдаваться сердечному влечению, в излишней рассудочности, подавляющей все непосредственные порывы страсти. Такой упрек совершенно несправедлив. Два раза отдавал он свое сердце женщинам [1], и в обоих случаях, не впадая в сентиментальность, явился

честным и искренно любящим человеком. Уже в Италии, под ее знойным солнцем и вечно голубым небом, заговорило во второй раз чувство молодого человека. При своей сосредоточенности и нежелании выставлять напоказ свои душевные тайны Добролюбов не любил даже и с близкими людьми заговаривать о подобных вещах. Но на этот раз в письме к своему родственнику, живущему в Петербурге, он обмолвился — да и то в простом хозяйственном вопросе; спросил родственника: сколько стоит приблизительно прожить безбедно с семьей в Петербурге? [2] На этом вопросе Добролюбова поймал по возвращении его из-за границы один его близкий знакомый. Дело таким образом объяснилось. Живя в Италии, Николай Александрович близко сошелся с одной итальянкой и хотел даже жениться на ней. Но родители ее спросили жениха: намерен ли он остаться в Италии или отправиться опять в свои родные снега? Добролюбов ответил, что он не может покинуть родину, которой должен посвятить все свои силы; родители же сказали, что им страшно отпустить свою дочь в такую даль... Подумав немного, Добролюбов согласился с ними, но, как честный человек, он не пожелал изменить своему призванию.

В дополнение к этой черте его характера мы можем еще прибавить, что природная мягкость и доброта сердца часто вредили ему в житейских делах. Так, например, по чрезвычайной совестливости в отношении к своим знакомым, по боязни оскорбить их малейшим образом он до самого своего отъезда за границу не мог отделаться от некоторых частных уроков, прямо ему невыгодных,— не мог этого сделать только потому, что папеньки и маменьки усердно просили его о продолжении занятий; а он считал обидным для них — отказаться.

23 ноября ⟨1861⟩

Д. П. СИЛЬЧЕВСКИЙ

К БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Отрывки

...Привожу ниже несколько новых данных из последнего периода жизни этого в высшей степени замечательного деятеля — данных, записанных мною в 1888—

1889 годах у покойной А. Я. Панаевой-Головачевой и не попавших в ее «Воспоминания», напечатанные в «Историческом вестнике» (1889, № 1—11). Панаева-Головачева была, подобно Чернышевскому и Некрасову, близким другом Добролюбова ⟨...⟩. Из рассказов покойной А. Я. Панаевой-Головачевой оказывается, что Добролюбов, находясь в Италии, едва не женился на одной молодой итальянке, жившей со своими родителями в Мессине. Она приняла его предложение, когда он находился в Мессине (в половине июня 1861 г.). Родители молодой девушки были тоже согласны, но они потребовали, чтобы он подвергся медицинскому осмотру со стороны одного известного местного врача, пользовавшегося репутацией знаменитого диагноста, так как состояние здоровья Добролюбова казалось родителям сомнительным. Осмотрев Добролюбова, врач категорически объявил родителям молодой итальянки, что Добролюбову осталось прожить только несколько месяцев. Родители красавицы итальянки передали Добролюбову слова врача и этим мотивировали свой решительный отказ в руке дочери. (Надо еще добавить, что в случае если бы здоровье Добролюбова оказалось даже вполне удовлетворительным, то тогда Добролюбов, женясь, должен был бы, по требованию родителей и их дочери, навсегда остаться в Италии и уже не возвращаться в Россию, на что он соглашался, продолжая свою литературную деятельность.) Добролюбов после этой неудачи, услышав, так сказать, свой смертный приговор, поспешил вернуться на родину и повидаться перед смертью с любимыми им сестрами (в Нижнем) и друзьями. Вернулся он в Россию морем, но уже в Одессе (13-го июля) у него хлынула горлом кровь. Заехав к сестрам в Нижний, Добролюбов вернулся в Петербург уже совсем больным и не мог более оправиться. Притом же он знал, что дни его сочтены: диагнозу мессинского доктора он поверил, хотя рассказал об этом одной Панаевой... Его политическая деятельность в Италии в 1861 году[1] (когда итальянцы, руководимые Мадзини и Гарибальди, стремились к окончательному объединению и захвату Рима и Италии) у нас и доныне остается неизвестной.

За несколько дней до смерти, по рассказу Панаевой, он просил ее не пускать к нему даже своих близких друзей: Чернышевского и Некрасова («Им будет тяжело видеть меня умирающим»,— сказал он), просил остаться только одну Панаеву и, уже находясь почти в агонии,

прочестал ей то восьмистишие («Милый друг, я умираю оттого, что был я честен»), которое служит достойным эпиграфом к его сочинениям. Эти восемь стихов были обращены им к Панаевой, но она, сообщая об этом мне, просила до ее смерти никому об этом не говорить (о том же просила она в 1861 г. и Н. Г. Чернышевского), что мною и было свято исполнено.

⟨*Ноябрь 1901*⟩

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

ДЕТСКИЕ И ЮНЫЕ ГОДЫ

Воспоминания 1845—1864 годов

ЮНЫЕ ГОДЫ

Отрывок

...Я, вернувшись с гулянья, был несколько изумлен новой «конспирацией», застав двери в наше зальце снова припертыми; толкавшаяся около них детвора таинственно и шепотом сообщила мне, что «там» сидит новый гость, только что приехавший товарищ дяди Александра.

— «Бов»? — спросил я.

— Он, он самый!.. Только не велено нам туда входить.

Я припал глазами к дверной щели, чувствуя, что никак не мог бы решиться на «безумный» шаг — отворить дверь и лично предстать перед очи этого, еще невиданного мною, «самого настоящего» писателя. На мое счастье, новый гость сидел как раз против моего наблюдательного поста, и я мог совершенно ясно разглядеть его молодое, серьезное, энергичное лицо и мягкие, глядевшие из-за очков глаза, которые, казалось мне, иногда пристально как будто обращались к двери, замечали мое присутствие за нею и любовно улыбались мне. Увы! Мое созерцание продолжалось только несколько минут. Я застал уже конец визита. «Бов» поднялся, протянул руку отцу[1], расцеловался с дядей Александром и распрощался... навсегда.

Никому из нас и, наверное, ему самому не могла в те минуты явиться страшная мысль, что это свидание — последнее и что эта, такая молодая, необычайно даровитая сила, едва только успевшая размахнуть свои могучие

духовные крылья, была уже отмечена неумолимой судьбой... Его живой образ промелькнул передо мной поистине «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». В то время я даже не мог и предчувствовать, что не пройдет и трех лет, как его духовный облик навсегда запечатлеется в моей душе, как одно из дорогих воспоминаний моей юности. В описываемое же здесь время я знал его только, так сказать, понаслышке, из рассказов о нем дяди Александра или из разговоров о его статьях молодежи и, наконец, из того, что я встречал его псевдоним «Бов» в получавшихся в нашей библиотеке книжках «Современника» под «серьезными» статьями, в которые я в то время еще не дерзал заглядывать, а главным образом по разговорам, которые часто велись в последнее время у нас дома и в гимназии по поводу его статей о воспитании и в особенности о розгах [2].

Не могу удержаться, чтобы не упомянуть здесь, кстати, об одном трогательном эпизоде. Как-то в начале зимы этого года, уже поздним вечером, когда отец что-то писал за письменным столом, я сидел за учебником, а матушка что-то чинила, присев сбоку, к нам неожиданно вошел молодой, хороший знакомый нашей семьи, учитель семинарии. Он был бледен и сильно взволнован.

— Ужасное известие! — проговорил он.

— Какое? Что с вами? — быстро вставая, проговорил отец.

— Не слыхали еще? Умер... «Бов»!..

— Уже? Боже мой, как скоро! Мне еще недавно писал о нем брат Александр, что, как только он уехал лечиться за границу, его болезнь начала развиваться необыкновенно быстро...

Отец стал передавать учителю содержание писем, а он стоял, беспомощно опустив руки, в то время как глаза его были полны слез. Я невольно смотрел в его лицо, и мне казалось, что он сейчас разрыдается. Заметив мой взгляд, он протянул руку и, приглаживая мои волосы, сказал: «Помни: умер писатель, каких немного, которому вы обязаны тем, что уже больше не могут вас ни сечь, ни мучить. Не забывай его! Вырастешь — узнаешь об нем не это только...»

— Святая душа! — проговорила матушка, крестясь и вытирая слезы.

⟨1910?⟩

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

В. А. ДОБРОЛЮБОВ

ПАМЯТИ БРАТА

Сознание проявилось у меня очень рано, и личность моего брата, оставившая особенное впечатление во мне, выделяется несравненно яснее, чем личность отца и матери. Тихий, молчаливый, как казалось мне, робкий, с каким-то особенным выражением в лице, останавливавшем на нем мой взгляд, он и теперь представляется мне сидящим где-нибудь в углу, углубившись в книгу. Он никогда не играл с детьми, будучи ребенком, тихо двигался, как бы желая остаться незамеченным, являясь для меня каким-то особенным существом, внушавшим удивление, влекшим меня к себе и в то же время сдерживавшим проявление моего чувства.

Однажды ночью я был разбужен голосом отца, бранившим кого-то. Соскочив с постели, я тихо подошел к отворенной двери комнаты, желая узнать, на кого так рассердился отец. Я увидел в маленькой комнате стоявшего с книгой в руке брата и отца с лампадкой в руке, указывавшего на образ и бранившего его [1]. Лицо брата произвело на меня такое впечатление, что мне стало невыразимо его жалко, я убежал, лег в постель и долго не мог заснуть, не понимая, что мог сделать брат, чтобы так рассердить отца. Впоследствии я узнал, что все свечи на ночь запирались, так как брат вставал с постели, когда все

засыпали, и читал ночью. Не имея свечи, брат взял от образа лампадку и при ее свете углубился в чтение. Брат был очень религиозен, и проповедь отца должна была произвести на него удручающее впечатление.

Затем воспоминания о нем прерываются до его приезда в Нижний Новгород. Несмотря на то, что он был в то время уже «большим» [2], он остался таким же тихим, спокойным, добрым, каким и был, что меня крайне удивляло, но перед отъездом его случилась у меня ссора с моим младшим братом, на которого я замахнулся ножом перед обедом, и наказание, последовавшее от брата Николая, поразило меня. Он взял у меня нож, затем вилку, отодвинул мой прибор дальше от прибора брата Ивана и сказал, чтобы мне отнюдь не давали ничего острого в руки, запирали бы от меня все, чем я мог бы повредить не только Ване, который моложе меня на два года, но и всем живущим со мной. Мясо брат сам мне нарезал, предоставив мне есть ложкою. Помню, что мне было не до обеда: спокойствие брата, постигшее меня наказание, затронувшее мое самолюбие, подействовали на меня сильнее, чем лишение обеда, запирание в чулан и даже розги, так как голод, лишение свободы, физическая боль занимают исключительно внимание ребенка, на которого причиненные страдания производят несравненно сильнейшее впечатление, чем совершенный им проступок, раздражают его, отнимая возможность сознать свою вину. Я сознал, что мой брат прав, что я виноват, мне было совестно перед меньшим братом, родными, и я был необычайно счастлив, когда на другой день я сидел за столом и мне были опять положены вилка и ножик. Этот случай произвел на меня впечатление настолько сильное, что я смотрел на брата Николая как на свою совесть, думая потом всегда, как он отнесется к моему поступку.

Осенью 1857 года я приехал в Петербург; [3] брат жил тогда на углу Бассейной и Литейной, в доме Краевского, во дворе, в квартире, состоявшей из двух комнат и передней. Через площадку лестницы мы ходили к И. И. Панаеву, с которым обедали, и к Н. А. Некрасову. В нашей квартире царила полная тишина; у нас никто не бывал. Единственное исключение составил для меня день майского парада, когда к моему брату влетел рано утром офицер в красивом мундире, со шпорами, горячо приветствовал брата, громко говорил, смеялся. Говорили потом, что это был Всеволод Крестовский.

Иногда я видел брата озабоченным; он всегда в таком состоянии куда-то уезжал, долго иногда не возвращался, но по возвращении я опять его видел таким же спокойным, как и всегда. Сколько я помню из разговоров у И. И. Панаева и Н. А. Некрасова, мой брат ездил к цензору и отстаивал написанное им или сотрудниками «Современника». Благодаря убедительности брата, его такту, уму, обаянию его личности мы читаем его статьи такими, какими они вышли из-под его пера[4]. В начале октября 1861 года, по воспоминаниям А. Я. Головачевой, перед его смертью ему не удалось отстоять вычеркнутых мест в статье сотрудника «Современника», что повлияло на его расшатанный организм.

Из дома Краевского мы переехали на Моховую улицу, в дом № 7 [5], где у нас было три комнаты (в 1859 г.). Я поступил в гимназию. Знания брата облегчали мое ученье: на все вопросы я получал самые ясные, обстоятельные ответы, и, сколько я помню, мне было совестно, что я сам не мог понять того, что в объяснении брата было так ясно. Меня поражали книги, брошюры, газеты на неизвестных мне языках своим разнообразием. Брат мой знал латинский, старогреческий, новогреческий, на котором получал газету; санскритский, немецкий, английский *, французский,— хотя он стеснялся или не желал говорить на них,— итальянский и все славянские наречия. Я слышал, что он изучал язык в совершенстве в течение не более трех месяцев. Припоминаю я один случай с ним. Встретился он на улице, идя со мной, с каким-то господином, приветствовавшим его на французском языке и начавшим на нем разговор. Брат отвечал ему по-русски, а тот говорил по-французски. Это продолжалось минут десять по крайней мере, и расстались они со словами «au revoir», с одной стороны, и «до свидания» — с другой.

На мое замечание: «Какой странный господин!» брат сказал: «Да, никак не мог понять, что я не желаю говорить по-французски, что русскому свой язык дороже чужих, на которых говорят только по необходимости».

Брат обладал, сколько я могу судить, необыкновенной, исключительной памятью. Я видел его читающим, но никогда не видел книги на его письменном столе, ко-

---

* Что видно из его статьи «Роберт Оуэн и его попытки общественных реформ», написанной в 1859 году, когда ему было 23 года.

гда он писал. Прочитанная книга ставилась в шкаф или возвращалась по принадлежности.

На этой квартире у меня осталось в памяти посещение какого-то молодого человека, говорившего очень громко и заявившего брату, что бога нет,— что меня поразило. Не имея возможности привести разговор, я помню, что брат, начав говорить, все более и более смущал посетителя и довел его наконец до того, что он покраснел, сконфузился, как провинившийся школьник, ничего не возражая. Долго говорил брат тихо, спокойно, а молодой человек сидел с опущенной головой, возбудив во мне к себе жалость, как получивший чрезмерно строгое наказание.

Сколько помню, брат уехал за границу из квартиры на Моховой. После его отъезда мой дядя[6] В. И. Добролюбов *, бывший потом управляющим отделением Государственного банка в Каменец-Подольске, я и мой брат Иван переехали на Баскову улицу[7] в дом Юргенса, выходящий также и на Литейную улицу (теперь дом духовного ведомства). Квартира была в четвертом этаже, состояла из четырех комнат, передней и кухни. Сюда брат приехал из-за границы. Его посетил здесь два раза попечитель учебного округа, впоследствии министр народного просвещения граф Делянов [8],— и я немало был удивлен тем же спокойным, достойным отношением к нему брата, как и ко всем прочим. Посещал брата Н. Г. Чернышевский довольно часто. Если кто посещал брата, то эти посещения были, вероятно, в то время, когда я был в гимназии.

Поездка за границу не принесла пользы брату, и он по возвращении чувствовал себя все хуже и хуже, что и я заметил. Вероятно, сознавая свое положение, брат не обращался к докторам и только в последнее время, вследствие настойчивых просьб А. Я. Панаевой, Н. А. Некрасова и Н. Г. Чернышевского, обратился к С. П. Боткину. Помню я посещения и ассистента Боткина — П. И. Бокова.

Мой брат никогда никому не жаловался, никогда не было слышно ни стонов, ни охов; он переносил свою болезнь молча, продолжая работать, не показывая вида, что силы оставляют его. Когда я, поднимаясь с ним по

---

* Он составил банковскую бухгалтерию, до сих пор остающуюся, кажется, единственным руководством.

лестнице, спросил его, отчего он так тихо идет, останавливается, тяжело дышит и у него выступил пот, брат, кротко улыбаясь, сказал: «Это оттого, что я вырос такой большой». Он был высокого роста. Со дня приезда брата из-за границы он все время писал, и я не знаю, когда он спал. Когда я вставал — брат был за работой, приходил из гимназии — тоже; после обеда, во время которого он ел очень мало, если совсем не отказывался от него, чем повергал в слезы кухарку, не знавшую чем и как угодить ему, он писал весь вечер, и я, идя спать, оставлял его за работой; когда я просыпался ночью, я видел свет в его комнате. Подойдя тихонько к двери его комнаты, я видел его пишущим.

Когда дядя сказал брату, что работа убьет его, он ответил: «Меня страшит не смерть, а неуверенность, что я успею возвратить «Современнику» деньги, взятые для лечения и поездки за границу; мне нельзя терять и минуты».

Так таял мой брат молча, никому не жалуясь, никого не тревожа, ничем не затрудняя, не ища ни у кого утешения, не обманывая себя.

Меня с братом Ваней не пускали уже к нему. А. Я. Панаева бывала ежедневно, облегчая, чем могла, его положение. Накануне его смерти А. Я. Панаева сказала, что брат хочет нас видеть, и привела к нему меня и брата Ивана. Брат лежал на спине, худой, с впавшими глазами, не могший уже говорить, видимо страшно страдавший. Когда он приласкал нас, я его поцеловал и разрыдался. Нас увели, тотчас одели, и А. Я. Панаева увезла нас к себе. На мой вопрос, зачем нас разлучили с братом, зачем оставили его одного, А. Я. Панаева ответила, что на это было желание брата, требовавшего отдыха. После я узнал, что брат, чувствуя приближение смерти, просил А. Я. Панаеву увезти нас, чтобы избавить от впечатления приближающейся его кончины. Он просил всех, даже А. Я. Панаеву, оставить его одного, чтобы не причинять никому скорби, и ей много нужно было такта, уверений с ее стороны, чтобы брат успокоился и ее присутствие не волновало его.

На похороны собралось много народу. Сколько я помню, вся Литейная, от дома Юргенса по направлению к Неве, была занята экипажами, извозчиками. На могиле говорили речи. Особенно горячо говорил Н. Г. Чернышевский, не заметивший даже, несмотря на довольно

сильный мороз, что его енотовая шуба распахнулась и грудь его была совсем открыта.

Совершилось то, что он выразил в стихах:

Пускай умру — печали мало...

После смерти моего брата Н. Г. Чернышевский читал лекцию в зале «Пассажа»[9] о литературной деятельности моего брата и значении его для русского общества. Бывшие на лекции почитатели моего брата говорили, что Н. Г. Чернышевский вдруг чем-то раздражился и прервал лекцию следующими словами: «Что я вам говорю о Николае Александровиче Добролюбове! Разве вы понимаете, цените его? Вот пройдет пятьдесят лет — тогда будут читать, воспринимать его идеи и понимать его!» Эти слова вызвали в то время сожаление и неудовольствие. Вызов, брошенный Н. Г. Чернышевским русскому обществу, сочли за оскорбление.

Причины этого раздражения Н. Г. Чернышевского я не узнал в то время. Теперь я объясняю его раздражение тем, что между собравшимися почитателями моего брата, его ценившими, понимавшими и любившими как деятеля и человека, была кучка его врагов, которых он выставлял на суд общества во всей их неприглядности, которые узнавали себя в его сочинениях, хотя он их и не называл, и эта кучка не упустила случая выражать чем-нибудь свое неудовольствие на слова лектора, а следовательно, к памяти моего брата, которого Н. Г. Чернышевский любил от всего сердца, как самого лучшего друга. Возмутившись непочтением к памяти того, кто был для него дороже всех, пошлостью, ограниченностью и наглостью презренной кучки людей, Н. Г. Чернышевский, забыв огромное большинство слушателей, почитавших моего брата, бросил свой вызов всему обществу.

Распространение сочинений брата, все большая потребность в его живом, образном, честном слове, отзывы, появившиеся в различных органах печати по случаю сорокалетия со дня его смерти,— неоспоримое доказательство справедливости слов Н. Г. Чернышевского.

(1901)

Л. Н. САМСОНОВ

ПЕРЕЖИТОЕ
МЕЧТЫ И РАССКАЗЫ РУССКОГО АКТЕРА. 1860—1878

Отрывок

...В библиотеке Шейта мне сказали, что меня спрашивал Добролюбов. Я невыразимо обрадовался: мы были с ним хороши в Педагогическом институте. Я никогда не жил такою полною жизнью, как в этой «клетке». Тогда там были светлые головы...

В настоящую минуту Добролюбов был для меня благою вестью с «того мира». Последнее время в Петербурге мы с ним не видались, потеряли один другого из виду. Он кончил двумя годами раньше. Я знал о его жизни только по статьям *—бова.* И — что таить? — мне было бы больно и завидно его видеть. Хотел я через него хлопотать о напечатании одной пьесы... Нет, бог с ним! Так мы и не встречались года два.

Он мне обрадовался. Он почти год был за границею и уже с неделю в Харькове, в ожидании мальпоста[1]. Я не узнал его: меня поразило его изнеможенное лицо и беспрерывный кашель. Глаза все те же. Когда они глядели сверх очков, они как будто говорили: «Бедные, как мне вас жаль!»

Мы вспомнили прошлое, товарищей. Много смеялись, припоминая с Добролюбовым одну сцену. Директор считал меня за хорошего студента. Раз он увидал, что я хожу по рекреационной зале под руку с Добролюбовым.

— Ну, вам теперь зададут,— проговорил Добролюбов.

Через минуту явился в камеру инспектор.

— Вы давно знакомы с Добролюбовым? — спросил он с испугом.

— Давно.

— До института?

— Да.

— Что вы?! Меня прислал Иван Иванович, бросьте его! Вы мещанин, вас Иван Иваныч принял в институт... а вы— с Добролюбовым! Пожалуйста, бросьте, бросьте его.

Я просидел у Добролюбова за полночь. Он занимал нумерок в Харьковской гостинице. На полу лежал раскрытый чемодан с книгами, на столе какая-то рукопись, валялась бездна картинок (итальянские и швейцарские

виды), стояла бутылка с молоком... Я все горячился, кричал.

— Зачем вы так кипятитесь? — говорил он своим неспешным, ровным голосом.

И мне становилось стыдно и досадно: в самом деле, что я ору?

— Сами виноваты — взглянули на грязь в розовые очки...

Он подарил мне свою карточку, снятую в Неаполе, и обещал опубликовать выкинутую со мною театральную штучку. (См. «Современник», 1861, август, Внутреннее обозрение.)

— Я теперь поправился,— говорил он, между прочим.— Не правда ли, лицо здоровое?

— Н-да.

— В Одессе только было худо: хлынула кровь.

— Зачем вы скоро возвращаетесь в Петербург? Работали бы в Италии, в Крыму.

— Нет, пора. Надо.

Он напился молока.

— Знаете, это все — учебные годы. Сколько умерло...

— Помните Тихомирова? — спросил я.

— Что октавой пел?

— Да. Какой могучий был семинарист. В трескучие морозы — пальтишко, подбитое байкой... И вот нет его, чахотка — и баста, у праотцев.

— Правда. А пьесу вашу (он закашлялся), пьесу возьму в Москве у Каткова. Вы не пишите ему, кто я, а то хуже...— И он тихонько засмеялся.— Я хочу спросить у него мнение о —*бове*... Что же вы теперь намерены делать?

— Еду с Рыбаковым в Саратов. Может быть, там примут. Я рад, что отсюда уезжаю. На здешней сцене нельзя думать об искусстве: спектакли во время ярмарок ежедневные, актеров пять-шесть; некогда пообедать, не только роль прочесть. В этой почтовой гоньбе погибнет всякое дарование...

— А что бы вам кинуть сцену? Поедем в Петербург, там найдете кусок хлеба.

— Зачем я поеду? Нет, это решено... Не забывайте меня. Может быть, ваши письма не дадут мне упасть в пропасть...

На другой день он уехал в мальпосте.

Неужели для меня наступит ночь?..

⟨*1880*⟩

К. В. ЛАВРСКИЙ

I

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Отрывок

...«Какой я чести удостоилась,— встретила меня этими словами нянька, которая одна в то время домовничала со мной в доме: семейство еще не возвратилось из Москвы с могилы отца.— Какой я чести удостоилась,— говорила нянька с сияющим лицом,— пришел и поцеловал. «Я, говорит, тебя, нянюшка, помню»; я сказала, что Валерьяна Викторовича еще нет, так он вам велел прийти!» — «Да кто же такой?» — «Да я не знаю, как фамилия-то, вы говорили, что он на всю Расею известен, а меня, ну-ка ты, поцеловал, старуху!» — «Неужели Добролюбов?» — «Он, он, идите к нему, он завтра уедет». Дело в том, что Н. А. Добролюбов был товарищем брата в детстве и, проезжая из-за границы в Петербург, заехал в Нижний повидаться с родными [1] и тем доставил мне случай повидаться, как я был уверен, с великим человеком. Отчасти со слов Ивана Ивановича, отчасти по собственным рассуждениям я в то время считал Добролюбова выше Белинского и, может быть, под влиянием того, что был его согражданин, верил вполне в бессмертность его славы. Я забыл тридцать верст и в ту же минуту отправился к нему; не берусь описывать, что я чувствовал, когда стоял лицом к лицу с автором «Темного царства», с творцом знаменитого «Свистка», мутившего покой всей русской литературы. Совершенно ничего нельзя было найти в его наружности, что бы напоминало в нем резкого, колкого критика и сатирика; в манерах, в голосе, из лица, уже говорившего о близкой смерти,— виден был человек нервно чувствительный, с чрезвычайно развитым сердцем и как будто придавленный горем. Поговоривши немного о литературе, о том, что он придумал писать (и действительно написал), Добролюбов заметил несколько номеров «Колокола», лежавших на столе, и заговорил

о политике. Наверно могу сказать, что ни в одной его мысли я не думал сомневаться, ни с одним из его положений не думал не соглашаться; передо мной говорил «великий человек», «предводитель нескольких поколений» — и довольно. И странное дело: точно он знал, какие мысли тревожили меня; он говорил о том, что на дело Герцена и К° должно смотреть серьезно, не удовлетворяться либеральными фразами, что у нас много слов, но нет вовсе дела, что это дело, наконец, требует и достойно того, чтобы ему посвятить жизнь и глядеть на него не слегка, но как на задачу жизни. Было очень ясно, что человек говорит с глубоким чувством, без всякого шарлатанства,— и тем были убедительней, или, верней сказать, тем глубже западали мне в душу его слова. И моя серьезность и самостоятельность, еще не проявившись, уже нашли себе дорогу.

Я приехал в Казань на второй курс во многом не таков, как уехал из нее: благодаря встрече с Добролюбовым я ревностно принялся за науку, но... меня побуждала к этому «серьезная задача жизни»; я перестал увлекаться шумной жизнью читальной комнаты, но... потому, что видел в ней непонимание «серьезной задачи жизни», пустяки, на которую напрасно тратили энергию и время...

Ноябрь, 10, 1863
Казань. Казанский госпиталь

II

МЫСЛИ ВСЛУХ

Отрывок

...Пишущий эти строки имел случай встретиться с Добролюбовым незадолго до его смерти; до сих пор мне как-то все не доводилось сделать общим достоянием свои воспоминания об этой встрече. Теперь кстати прибавить эту крупицу к общей массе материалов для его биографии. Это было в конце июля или в начале августа 1861 года. Возвращаясь из-за границы, Добролюбов на несколько дней заезжал повидаться со своими родствен-

никами в Нижний Новгород. Я узнал о его приезде от своей няньки, которая сообщила мне, что «приходил Николай Александрович — спрашивал В. В.» (моего старшего брата, с которым был товарищ по семинарии). Я решил воспользоваться случаем увидеть Добролюбова. Он встретил меня очень приветливо, и я могу засвидетельствовать, что общеизвестный его портрет, приложенный при собрании его сочинений, дает о лице Добролюбова совершенно неверное представление. Живая, подвижная физиономия, что-то ласковое и любящее в светлых глазах, мягкая улыбка — все это делало Добролюбова чрезвычайно привлекательным, несмотря на некрасивый облик его лица. Добролюбов расспрашивал меня немного о Казанском университете и студенчестве, но эту часть разговора я совсем не помню. Помню только, что он скоро перешел к литературным интересам и тотчас же оживился, коснувшись этой темы. Он высказывал свое удивление, что его не понимают даже в «либеральном» лагере прессы. Речь шла о его статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами». «Говорят: как можно нападать на такую светлую личность, как Пирогов? Да ведь Пироговых-то именно и не следует щадить, если они сбиваются с истинного пути. Кому много дано, с того много и спросится. Уж если Пирогов защищает розгу, так чего же ждать от других. Нет, он заслуживал того, чтобы к нему отнестись беспощадно». Не ручаюсь за точность переданных выражений, но мысль была именно эта самая; она и проведена им в статье «От дождя да в воду», появившейся в августовской книжке «Современника» за 1861 год. Добролюбов довольно долго и горячо ее развивал и в заключение как-то решительно сказал: «Нет, надо опять «свистнуть», хорошенько „свистнуть“», и обещал это сделать тотчас по возвращении в Петербург *. На свое здоровье он не жаловался, и я не подозревал, что ему осталось жить лишь несколько месяцев. Но теперь припоминаю, что прозрачность кожи и зловещий румянец щек ясно говорили, что он бесповоротно жертва скоротечной чахотки.

⟨1893⟩

---

* Помнится, в «Свистке» действительно вскоре появилось стихотворение на тему полемики о Пирогове [1].

Е. А. СТЕКЛОВА

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Отрывки

Москва, 23 мая 1889 г.

...Я очень смутно помню свое детство; мне было едва восемь лет, когда брат уехал в Петербург. Затем, когда через несколько лет он приехал на каникулы в нашу семью, после уже смерти матери, я вспоминаю его, и он рисуется в моем представлении серьезным, как-то грустно сосредоточенным, с спокойным и ровным голосом и манерами. Помню, когда мы входили в кабинет отца, всегда видели там — он или читал что-нибудь отцу, или разговаривал с ним. Смутно припоминаю затем похороны отца — на всех нас (детей) легла какая-то бессознательная паника; мы не могли, конечно, ясно сознавать наше горе, но чувствовали что-то тяжелое, угнетающее, какой-то конец нашему мирному детскому житью. Помню, как брат в то время часто обнимал то одного, то другого из нас, как-то утешал, что ⟨-то⟩ говорил. Затем семья наша разъединилась: нас разобрали по разным домам. Через год или около того меня отправили в Симбирск. ⟨...⟩

По приезде из Симбирска в Нижний я увиделась с братом за три месяца до его смерти. Он только что вернулся из-за границы и приехал на несколько дней к нам в Нижний Новгород[1]. Очень мало времени оставалось ему для бесед с нами (сестрами), ибо все наши родные окружили его и всякий просил его к себе. В первый же день приезда своего он позвал меня и старшую сестру Анну пойти с ним на кладбище, где похоронены наши родители. Там бросился он на могилы отца и матери и заплакал, просто громко зарыдал, как ребенок. Всю дорогу оттуда он был грустен, хотя и разговаривал с нами, спрашивал нас, как живется нам, счастливы ли мы и пр. Меня он уговаривал ехать в Петербург, говоря, что мне нужно доучиться, доразвиться, обещал устроить меня там в одном близко знакомом ему хорошем семействе, но, чувствуя, вероятно, что недолго проживет, особенно не настоял на этом. Итак, вот и все.

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывки

Глава XV

...Болезнь Добролюбова.— Его неблагоприятная домашняя обстановка.— Его помещение у Некрасова.— Наем для Добролюбова новой квартиры и его переезд в нее.— Последние дни жизни Добролюбова.— Его кончина и похороны.

...Окончив морские купанья, я поехала в Париж и, по совету докторов, решилась остаться на зиму за границей. Вдруг я получила от Панаева письмо, в котором он извещает меня, что Добролюбов неожиданно вернулся из-за границы[1]. Панаев писал, что на его глаза Добролюбов нисколько не поправился, а даже скорее похудел. Меня очень рассердило, что Добролюбов вернулся к осени в Петербург, тогда как доктор строго запретил ему это делать. Вслед за письмом Панаева я получила и от Добролюбова письмо[2], в котором он писал, что возвратился в Петербург, потому что для его здоровья было совершенно бесполезно долее оставаться за границей, а между тем ему сделалась невыносима его праздная жизнь. «Теперь не время думать о своем здоровье и сидеть сложа руки за границей,— писал он,— когда столько есть дела в Петербурге. Признаюсь Вам, меня огорчило Ваше намерение остаться на зиму за границей; я рассчитывал, что скоро Вас увижу. Но я не такой закоренелый эгоист и порадуюсь, если Вам покойнее будет жить подальше от Петербурга, где точно для Вас слишком много разных волнений, которые так вредно отзываются на Вашу печень. Вернитесь к нам совершенно излечившейся от Вашей болезни. Примитесь-ка за работу; Вас не будут отрывать от нее, как это обыкновенно случалось с Вами в Петербурге. Как напишете повесть, то сейчас пришлите».

Кроме того, Добролюбов описывал в этом письме, как он устроился на новой квартире, уведомлял, что взял к себе своих братьев от учителя и что его дядя поселился у него; затем строил планы — как на следующее лето будет жить с нами на даче.

В половине сентября я получила от Панаева письмо, которое меня очень встревожило и огорчило. Добролю-

бов простудился и расхворался; доктор нашел, что у него очень серьезная болезнь в почках. Я начала подумывать о возвращении в Петербург для того, чтобы, если Добролюбову не будет лучше, по возможности удалить от него заботы о братьях и вообще доставить больному более удобств при его холостой обстановке. Вдруг получаю коротенькое письмо от Добролюбова:

«Если Вам возможно, то вернитесь поскорей в Петербург, Ваше присутствие для меня необходимо. Я никуда не гожусь! Меня раздражает всякая мелочь в моей домашней обстановке. Вы можете видеть, насколько я болен, если придаю значение пустякам. Я убежден, что если Вы приедете, то мне легче будет перенести болезнь. Я не буду распространяться о моей благодарности, если Вы принесете для меня эту жертву. Ответьте мне немедленно, можете ли Вы приехать?»

Я телеграфировала Добролюбову, что скоро приеду [3].

Заграничный поезд прибыл в Петербург поздно вечером. Панаев встретил меня и на мой вопрос о Добролюбове сказал, что он уже три дня не выходит из дому вследствие лихорадки. Я решила навестить его завтра утром, как вдруг он сам явился неожиданно. Мне трудно было скрыть от него тяжелое впечатление, которое он произвел на меня своим болезненным видом. Я, конечно, побранила его за то, что он пришел так поздно, и притом в дождь, тогда как доктор запретил ему выходить.

— Я предчувствовал, что вы меня встретите выговором,— шутливо сказал Добролюбов.— Извольте, я два дня лишних пролежу дома за сегодняшний вечер.

Он был в хорошем расположении духа и просидел у меня до часу. Я заметила, что у него сделался сильный жар, и уговорила его переночевать на половине Некрасова.

Добролюбов спросил меня— очень ли он изменился. Я сочла за лучшее сказать ему правду.

— Вот вы понимаете, как смешно больному человеку врать, что будто он пышет здоровьем. А я был прав, когда говорил перед отъездом за границу, что доктор ошибается — будто у меня нет никакой другой болезни, кроме утомления от усиленных занятий.

— Не надо вам было возвращаться осенью в Петербург. Простудились!..

Добролюбов горько усмехнулся и произнес:

— Простуда! Ну, да об этом теперь нечего говорить! Спохватились лечить меня от моей болезни тогда, когда дали ей время развиться.

На другое утро он по-прежнему пришел ко мне пить чай и уверял меня, что отлично спал и чувствует себя бодрым.

— Вот видите ли,— говорил он,— никаких дурных последствий не произошло, напротив, я сегодня встал, не чувствую лихорадочного озноба; наверно, и к вечеру не будет жара... Примусь писать.

Я вместе с ним пошла посмотреть — какая у него квартира, и нашла, что она никуда не годится для больного человека: мрачная, темная и сырая.

Когда я присмотрелась к его домашней обстановке, то поняла причину его раздражительности. Дядя поминутно донимал его жалобами на племянников, на кухарок, постоянно заводил разговоры о том, какое тягостное бремя взял на себя, заведуя хозяйством, обижался, что Добролюбов не может есть жирный суп и тощую курицу, зажаренную в горьком масле. Я распорядилась присылать Добролюбову обед от нас, и за это дядя его надулся на меня.

Добролюбов по-прежнему, если еще не с удвоенным рвением, заботился о журнале и, не обращая внимания ни на какую погоду, ездил в типографию и к цензорам.

В самых первых числах октября он приехал к нам от цензора в десятом часу вечера, сильно раздраженный тем, что не мог уломать его, чтобы он пропустил вычеркнутые места в чьей-то статье.

Некрасов только что встал после обеденного сна и флегматически заметил:

— Охота вам была в такую скверную погоду ездить к цензору, толковать с ним битый час! Чрез два месяца пошлем к нему новый набор этой статьи, он и позабудет, что уже читал ее, и, наверное, пропустит. Надо послать в типографию сказать, чтобы набрали другую статью.

Добролюбов пристально смотрел на Некрасова, и я заметила, что он раздражается его флегматическим тоном.

— Что же? Мы будем преподносить читателям запоздалые статьи о вопросах, которыми живо интересуется общество?..— спросил Добролюбов.

— Ну, что делать! — возразил Некрасов.

— А небось,— иронически отвечал Добролюбов,—

если бы вы, проголодавшись, пришли в ресторан и заказали себе хороший обед, а вам бы подали подогретые кушанья, то не так бы покойно отнеслись бы к этому. Положим, мое сравнение неудачно, но для вас оно, может быть, в эту минуту будет понятнее.

Некрасов встрепенулся и произнес:

— Было время, что и я так же волновался, как вы!.. Я вовсе не охладел к журналу, а из горького опыта убедился, что надо благоразумнее относиться к подобным вещам. Вот вы волнуетесь, вредите своему здоровью, поскакали к цензору, а из этого никакого толка не вышло.

— Выйдет! — убежденным тоном ответил Добролюбов.— Я сейчас же иначе выражу те места, которые цензор выкинул, и завтра утром опять поеду к нему и не час, а два, три буду сидеть у него и толковать ему, что он, словно пуганая ворона, куста боится!

— Еще более расстроите себя, если цензора не уломаете! Плетью обуха не перешибешь! — заметил Некрасов и начал рассказывать, что в 1848 году проделывали цензоры со статьями и какие курьезные объяснения ему приходилось иметь с ними.

— Однако вы тогда были настолько неблагоразумны, что употребляли все усилия добросовестно исполнять свою обязанность перед читателями «Современника»,— сказал Добролюбов,— как же теперь хотите издавать «Современник» спустя рукава, оправдываясь благоразумием!

— Ну, делайте как знаете! — отвечал Некрасов и пошел одеваться, чтобы ехать в клуб, а Добролюбов уселся за работу.

Уходя, я спросила его, прислать ли ему чай, но он отвечал, что придет ко мне пить чай, как только окончит работу; но не прошло и часа, как человек пришел мне сказать, что Добролюбову нездоровится. Я нашла Добролюбова лежащим на диване; у него был сильный пароксизм лихорадки, и он едва мог проговорить: «Согрейте меня!.. Только, ради бога, не посылайте за доктором!» Я укутала Добролюбова и напоила его горячим чаем; после озноба у него сделался сильный жар. Когда он перестал гореть, то встал на ноги, но так был слаб, что не мог стоять и снова сел, сказав:

— Как же я доберусь до дому?

— Я вас не пущу домой, если бы вы даже и не чувствовали слабости.

— Я охотно останусь у вас ночевать, мне противна моя мрачная квартира, похожая на склеп... Да и я в таком настроении, что не хочется оставаться одному.

Я советовала ему лечь спать, но он просил меня посидеть около него и прибавил:

— Это напоминает мне детство. Я был хворый мальчик и часто страдал бессонницей; мать, бывало, ночью придет посмотреть на меня и, увидя, что я не сплю, сядет около меня, и мы разговариваем.

Добролюбов с чувством начал рассказывать, какая была его мать умная, развитая и добрая женщина, и потеря ее была так для него ужасна, что в первое время ему приходила мысль лишить себя жизни — в таком он был отчаянии.

Чтобы отвлечь Добролюбова от тяжелых воспоминаний, я стала ему рассказывать о Белинском, о котором он и прежде много меня расспрашивал.

В час ночи вернулся Некрасов, и Добролюбов его встретил словами:

— Я думаю, вы никак не ожидали опять найти у себя ночлежника?

— Хорошо сделали, что остались, погода отвратительная! — отвечал Некрасов.

— Поневоле остался: такой был сильный пароксизм лихорадки, что я стоять не могу на ногах. Спасибо, Авдотья Яковлевна согрела меня и даже рассеяла мои мрачные мысли, рассказав мне много интересного о Белинском.

— Жаль, что вы сами не знали этого человека! — сказал Некрасов, сев около дивана, на котором лежал Добролюбов.— Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним, вдвоем, часов до двух ночи беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении — столько было для меня нового в высказанных им мыслях... Вы вот вступили в жизнь и в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я же? — Некрасов махнул рукой и продолжал:— Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду. Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться [4]. Моя

встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше! Я бы был не тем человеком, каким теперь!

Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет.

— Тяжелые минуты он переживает в сегодняшнюю ночь,— тихо заметил мне Добролюбов.

— Есть и хорошая сторона в этих тяжелых минутах для него,— отвечала я.— После них он всегда принимается писать стихи.

— В таком случае пусть он почаще вспоминает о Белинском,— произнес Добролюбов.

Через четверть часа Некрасов пришел к нам и сказал:

— У меня тоже нет сна, давайте пить чай!

Некрасов, ложась спать, распорядился послать рано утром записку к доктору Шипулинскому, чтобы он приехал осмотреть Добролюбова, но при этом сделал бы вид, что посещение случайное.

Шипулинский, выслушав Добролюбова, объявил Некрасову, что дело принимает серьезный оборот, что Добролюбову не встать с постели, так истощен его организм.

Мы решили, что Добролюбову будет удобнее лежать у нас, в большой светлой комнате, нежели в его маленькой квартире. Я распорядилась, чтобы ему принесли халат и туфли.

— Значит, вы намерены оставить меня надолго здесь? — спросил Добролюбов.

— Да, пока вы не поправитесь,— отвечала я.— Разве вам неудобно будет у нас?

— Каких еще удобств можно мне желать,— отвечал Добролюбов, но начал беспокоиться, что может стеснить Некрасова, да и братьев ему не хотелось оставлять одних с дядею [5].

Я успокаивала Добролюбова тем, что его братья могут только ночевать в квартире, а целый день будут находиться у меня.

— Это опять мы все трое очутимся на ваших руках? Для нас-то хорошо, а вам будет много хлопот! — проговорил он.

Силы Добролюбова уже не восстановлялись. Но он продолжал заниматься журналом; просматривал цензорские корректурные листы, читал рукописи. У него было столько силы воли, что он ничего не говорил о своем болезненном состоянии, и ему было неприятно, если кто-

нибудь расспрашивал его о здоровье, но со мной, когда нам случалось оставаться вдвоем, он был откровенен.

— Я, пожалуй, совершенно помирился бы с своим теперешним положением,— говорил Добролюбов,— если бы только имел силы писать; хотя год просидел бы, не выходя из этой комнаты.

Когда я кормила его обедом, он замечал:

— Доставляю вам столько хлопот придумывать для меня разные кушанья, которые переваривал бы мой желудок, а он окончательно отказывается питать мое тело.

Я стала замечать, что для Добролюбова сделалось тягостным присутствие посторонних лиц. Он не принимал участия в общем разговоре, ложился на кушетку и закрывал себе лицо газетой. Я запретила пускать к нему посторонних. Добролюбов догадался об этом и заметил мне:

— Вы угадываете мои мысли; я только что хотел вас просить, чтобы вы никого ко мне не пускали, кроме Чернышевского.

Чернышевский каждый вечер аккуратно приходил посидеть с Добролюбовым, который всегда с нетерпением ждал его прихода и оживлялся, беседуя с ним.

Несмотря на физическую слабость, голова Добролюбова была по-прежнему свежа, и он живо интересовался общественными вопросами, литературой и журналом.

Чернышевский и Добролюбов никогда не говорили друг другу, подобно многим литераторам, о своей взаимной привязанности, но нельзя было не видеть, насколько они искренно любят и уважают один другого. Они никогда не расточали в глаза похвал статьям один другого, но откровенно высказывали о них свое мнение.

Тяжело было смотреть, как с каждым днем Добролюбов физически слабел и угасал; ему даже было трудно сидеть в кресле; он больше лежал на кушетке, но продолжал работать. Раз в последних числах октября Добролюбов принялся читать какую-то толстую рукопись, но от слабости она выпала у него из рук. Он тяжко вздохнул, и этот вздох скорее походил на стон; он закрыл глаза и лежал несколько минут неподвижно, при этом лицо его приняло такое страдальческое выражение, что я не могла удержать слез. Через несколько минут Добролюбов окликнул меня. Я подошла к нему, стараясь принять равнодушный вид. Он пристально посмотрел на меня, покачал с укоризной головой и потом проговорил:

— Почитайте-ка мне рукопись, надо скорей дать юному автору ответ; он, бедный, наверно, измучился, ожидая решения участи своего первого произведения.

Я принялась читать рукопись, а Добролюбов лежал с закрытыми глазами; я думала, что он дремлет, да и не до того ему было, чтобы вникать в чтение, но оказалось, что он следил за чтением и сделал несколько замечаний насчет невыдержанности характера героя романа. Чтение наше было прервано получением письма от сестер Добролюбова из Нижнего. Прочитав письмо, Добролюбов печальным тоном произнес:

— Мои сестры уже взрослые, но вот братья!..

Он тяжко вздохнул и замолчал.

На другой день Добролюбов был задумчив и чем-то сильно встревожен. Когда ему надо было ложиться спать и я хотела уходить, он попросил меня остаться еще ненадолго, говоря, что у него есть до меня большая просьба.

— Только,— прибавил он,— прежде дайте слово не расспрашивать меня ни о чем, как бы ни показалось вам странно мое желание.

Я дала слово.

— Наймите мне новую квартиру и перевезите меня скорей в нее. Я знал, что вы удивитесь! — тоскливо произнес он.

Я отвечала ему, что завтра же утром пойду искать ему квартиру.

— Не подумайте, что мне нехорошо у вас, но так надо!.. Мне стыдно, что я сделался таким привередником, что не могу лежать на своей старой квартире. Мне надо теперь больше света и воздуха. Я об одном попрошу вас, когда вы будете нанимать квартиру для меня, чтобы она была поближе от вас. Я хочу, чтобы мои братья были возле меня.

Я сообщила Панаеву и Некрасову о желании Добролюбова переехать от нас и предупредила их, чтобы они не уговаривали его остаться и не заводили бы даже разговора с ним о новой квартире.

Я объяснила себе желание Добролюбова переехать на квартиру тем, что ему хотелось избавить нас от всех печальных процедур, когда в доме стоит покойник. Хотя ему и не говорили, но он догадался, что у него развилась сахарная болезнь.

Я нашла квартиру через дом от нас, в доме Юргенса; пока ее устраивали, приискивали прислугу и т. п., про-

шла неделя, в продолжение которой Добролюбов ни о чем меня не расспрашивал и был вообще очень молчалив и печален. 1 или 2 ноября вечером я сказала ему, что квартира совершенно готова. Добролюбов испуганно повторил: «Все готово? Значит, я в последний раз переночую у вас?» Он задумался и с тяжким вздохом прибавил: «Завтра утром, часов в одиннадцать, перевезите меня... Только я вас попрошу, чтобы никто со мной не прощался... Вы от меня поблагодарите Панаева и Некрасова... Мне и так будет тяжело».

На другое утро, придя поить Добролюбова утренним чаем, я заметила, что у него опухли глаза от слез. Человек Некрасова сказал мне, что у Добролюбова всю ночь горел огонь и он раза два вставал с постели и сидел подолгу в креслах, положив руки на стол и склонив на них голову.

Добролюбов всегда встречал меня утром, улыбаясь и уверяя, что спал хорошо; но в это утро он встретил меня молча, хлебнул два глотка чаю и лег на диван лицом к стене. Я ждала, когда он сам скажет, что пора уезжать. У меня к одиннадцати часам стояла у подъезда карета, и люди с креслом ждали на лестнице новой квартиры, чтобы внести больного в третий этаж. Но проходил час за часом, а Добролюбов все лежал, не меняя позы.

Некрасов и Панаев советовали мне спросить его, хочет ли он ехать, но я боялась еще сильнее расстроить его. Наступал час его обеда. Я подошла к нему и сказала, что обед подан.

Добролюбов с трудом привстал и удивленно спросил: «Неужели уже четыре часа?» Пересел на кресло к столу, но есть ничего не захотел и опять лег на диван лицом к стене.

Я подумала, что он отложил свой переезд. В девять часов вечера человек Некрасова пришел ко мне и сказал что Добролюбов зовет меня к себе. Я нашла его сидящим на диване; он поддерживал голову руками, облокотившись о колени.

— Ради бога, увезите меня скорей,— умоляющим голосом проговорил он.

Я пошла распорядиться, а через несколько минут человек Некрасова прибежал опять за мной, говоря, что больной беспокоится, что я его не везу.

— Как долго!.. Скорей одевайте меня! — произнес Добролюбов, когда я вошла.

Одевание его состояло в том, чтобы надеть большие теплые сапоги. Я повязала ему горло теплым шарфом. Добролюбов со стоном произнес: «Как мне тяжело», упал лицом в подушку и, качая головой, повторял: «Тяжело, тяжело».

— Зачем вы уезжаете? Останьтесь! — проговорила я.

Добролюбов выпрямился и твердо произнес: «Нет, нет! Надо уехать». Он встал и, несмотря на слабость, пошел в переднюю, потребовал, чтобы скорей подали шубу; но когда ее надели, он не мог перенести ее тяжести, опустился на стул и закрыл глаза. Я и прислуга с минуту стояли перед ним, не зная, что нам делать. Наконец Добролюбов встрепенулся и проговорил: «Едемте».

Его взяли под руки, свели с лестницы и усадили в карету. Я села с ним. Он молчал, пока не подъехали к его новой квартире; на подъезде его хотели посадить в кресло, чтобы нести на лестницу. Он воспротивился этому, говоря: «Взойду сам». Но, конечно, едва мы довели его под руки до первой площадки, как он уже не мог идти далее и безропотно повиновался, когда его усадили в кресло, понесли наверх, донесли до самой кровати, раздели и положили в постель. Он неподвижно лежал несколько минут с закрытыми глазами, потом обвел глазами комнату, посмотрел на меня, кивнул мне головой и слабым голосом проговорил: «Я спать хочу!»

Он спал более часу. Чернышевский и доктор сидели в столовой. Добролюбов более недели как не хотел принимать лекарства и видеть доктора, сказав мне: «Теперь не нуждаюсь ни в докторах, ни в их лекарствах». Когда он проснулся, то улыбнулся мне и проговорил: «Мне теперь легче».

По моей просьбе он выпил немного бульону и потребовал к себе братьев, с которыми начал говорить об их уроках. Когда я ему сказала, что пора спать, и стала прощаться с ним, он спросил меня, в какое время я приду завтра. Я отвечала, что зайду напоить его утренним чаем.

— Так рано? Это было бы очень хорошо, но вам надо отдохнуть, я вас сегодня замучил... Я стал ни на что не похож.

— Ложитесь-ка спать, усните хорошенько,— отвечала я и спросила — не велеть ли человеку лечь в его комнате?

— Зачем! Вы ведь позаботились обо всем, у кровати есть снурок, я позвоню, если что будет мне нужно.

Со дня переезда Добролюбова на квартиру он уже не вставал с постели и не мог более двух минут держать в руках газету, но был спокоен. Чернышевский два раза в день навещал больного [7] и, чтобы он не утомлял себя разговором, оставался не более получаса в его комнате.

С замечательным терпением Добролюбов переносил возраставшую в нем слабость. Нанятый мною лакей говорил мне о кротости его характера: «За здоровым ходить больше хлопот, чем за таким больным!.. Только дивишься на него!»

10 ноября, когда я утром пришла к Добролюбову, то человек, отворив мне дверь, тревожно сказал: «Ах, Авдотья Яковлевна, нашему больному нехорошо, должно быть, он всю ночь не спал; без их звонка я не смел входить к ним, а стоя у дверей, я слышал, что он стонал, а недавно уж два раза спрашивали — не пришли ли вы...»

Добролюбов встретил меня словами:

— Мне вообразилось, что у вас сделался припадок болей в печени и вы сегодня не придете ко мне, а у меня до вас есть опять большая просьба — эта будет последняя... Насилу дождался утра.

Я видела, что он сильно взволнован и что его лицо за ночь страшно изменилось.

— Прислали бы за мной, чем ждать утра!— отвечала я.

— Недоставало только, чтобы я еще ночью не давал вам покою!

— Говорите же, что нужно мне сделать?

— Привезите мне доктора [8], который вылечил горло Некрасова.

Я отвечала, что сейчас поеду за доктором.

— Мне именно и хотелось просить вас, чтобы сами поехали, а то просить его запиской пройдет много времени, да, может быть, он еще и не приедет, а мне нужно его видеть сегодня... непременно сегодня!

Доктора с большой практикой трудно застать дома, так что мне удалось только в четыре часа его видеть. Но этот день у него был приемный, и множество пациентов ждали его возвращения домой.

Добролюбов был прав: если бы я не поехала сама, то доктор не приехал бы, потому что находил бесполезным свой визит; доктору было известно, что Добролюбов доживает последние дни, что его желание — один каприз, о котором он скоро забудет. Но я упросила доктора приехать, и он обещал быть в семь часов.

— Все одни неудачи мне! — заметил Добролюбов, когда я явилась к нему с ответом доктора.— Я надеялся, что вы приедете вместе с ним... Ну, что делать, помучаюсь еще до его приезда...

Доктор приехал в назначенный час, пробыл у Добролюбова с четверть часа и когда вышел от больного, то печально сказал: «Дня два или три разве протянет... Я пропишу рецепт, чтобы не огорчить его... Он меня спрашивал, можно ли ему шампанское и устрицы. Давайте все, что он попросит!»

Когда я вошла с рецептом в руках к Добролюбову, он сидел на постели, сжав свою голову руками. Увидев рецепт, он насмешливо сказал: «Таки прописал лекарство; пожалуйста, не посылайте в аптеку!»

Глаза Добролюбова блестели, и он, нервно улыбаясь, продолжал:

— Я чуть не рассмеялся в глаза доктору, когда он после обычных докторских утешений ответил на мой вопрос, можно ли мне шампанское и устрицы: «Все можно!» Он не понял моего вопроса и не выдержал своей роли. Он вообразил себе, что говорит с больным, у которого голова потеряла способность ясно понимать вещи...

Добролюбов опять схватился за голову и с отчаянием произнес:

— Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать... Ничего! Как зло надсмеялась надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное... Теперь ничего, ничего!

Он упал со стоном на подушки, стиснул зубы, закрыл глаза, и слезы потекли по его впалым щекам.

Я была не в силах смотреть на его страдания и также расплакалась.

Пролежав не более минуты с закрытыми глазами, он открыл их и слабым голосом проговорил:

— Не плачьте!.. Не совладал я с своими расходившимися нервами!.. Перестаньте! Вы стыдите меня за мое малодушие и глупость, которую я сделал!.. Будем по-прежнему тверды... Ни для вас, ни для меня не был неожиданностью исход моей болезни! Встретим конец как следует! Я теперь буду покоен!.. Больше не расстрою вас, и вы постарайтесь по-прежнему быть твердой... Мне легче будет... Позовите ко мне братьев... Не бойтесь... Я овладею собой!

Добролюбов все это говорил с большими перерывами.

Мальчики пришли[9]. Добролюбов спросил, готовы ли у них уроки к завтрашнему дню, пристально глядел на них, потом погладил каждого по голове и с улыбкой произнес:

— Теперь идите кончать свои уроки!

И он закрыл глаза, но скоро опять открыл их и спросил:

— Чернышевский здесь?

— Позвать его? — спросила я.

Добролюбов не вдруг ответил:

— Нет! Ему и мне будет тяжело!.. Желаю от души ему всего хорошего как в его семейной жизни, так и в его литературной деятельности. Я попрошу более никого не впускать ко мне. И вам бы не следовало быть около меня. Я устал, засну!

С этого вечера Добролюбов сделался молчалив; он покорно выпивал бульон, когда я ему подавала, больше лежал с закрытыми глазами; откроет их, поглядит на меня и опять закроет. Но слух у него сделался чрезвычайно тонок; как бы тихо я ни сказала что-нибудь человеку, он все слышал и просил меня не говорить шепотом. За три дня до его смерти я заметила, что он начал не так внятно произносить слова. Я сообщила это доктору, и тот, желая удостовериться, не началась ли уже агония, тихонько вошел в комнату; но только что он приблизился к изголовью, Добролюбов открыл глаза и спросил: «Кто вошел?»

Я должна была солгать, что никого нет...

На другой день не было уже сомнения, что агония началась: умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть ослабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал за мной человека. Желая мне что-то сказать, он произнес несколько слов так невнятно, что я должна была нагнуться близко к нему, и он, печально смотря на меня, спросил:

— Неужели я так уже плохо говорю?.. Можете меня спокойно выслушать?

— Могу,— отвечала я.

— Поручаю вам моих братьев... Не позволяйте им тратить на глупости денег... Проще и дешевле похороните меня.

— Вам трудно говорить, потом доскажете,— заметила я, видя его усилия говорить громче.

— Завтра будет еще трудней,— отвечал он.— Поло-

жите мне руку на голову! Вы для меня делали то, что только могла делать одна моя мать.— И он замолк...

Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати. Он только что выслал меня и человека... Но опять велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку...» Я взяла его руку, она была холодная... Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте... Подите домой! Скоро!»

Это были его последние слова... В два часа ночи он скончался.

В течение двух дней с утра до вечера масса публики перебывала у покойника. В день похорон я в восьмом часу пошла проститься с ним, пока еще никого не было (в девять часов назначен был вынос), но на дворе уже собралось множество народу, на лестнице также едва можно было пройти. Около дома и на улице тоже стояла толпа. Я не поехала на кладбище, потому что чувствовала себя совершенно больной. В девять часов я подошла к окну своей комнаты. Вся улица была запружена народом, хотя для любителей торжественных похорон не на что было поглазеть, потому что не было никаких депутаций, ни венков. Несколько священников явились без приглашения проводить покойника. Простой дубовый гроб, без венков и цветов, понесли на руках, а парные дроги и две-три наемные кареты следовали за процессией.

Панаев вернулся с похорон и хотел мне рассказывать о них, но слезы душили его; он подошел к окну, постоял минуты две, не поворачивая головы, и, наконец, овладев собой, сказал:

— Кладбищенский священник на прощанье сообщил мне и Некрасову, что около могилы Белинского осталось еще одно место для литератора — точно приглашал кого-нибудь из нас поторопиться и занять эту могилу.

Клевета преследовала Добролюбова и после смерти; но сплетни, распускавшиеся его литературными врагами, были так нелепы и пошлы, что не заслуживают упоминаний.

⟨1889⟩

Н. Н. МАЗУРЕНКО

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Отрывок

...Я живо помню мое первое посещение Добролюбова. Жил он тогда в Колокольной улице [1]. Хотя за несколько месяцев перед тем он ездил для поправления здоровья в Крым [2], но пользы от этого было мало. Бледные щеки, впалые глаза и слабый кашель по временам выдавали развитие недуга, который вскоре после того свел его в могилу.

Ждать пришлось не более двух-трех минут.

Познакомившись с Добролюбовым, я напомнил ему его двухдневное пребывание в Харькове, по дороге из Крыма обратно в Петербург. Он оставался там для свидания с школьным товарищем Самсоновым [3], бывшим прежде учителем гимназии, но бросившим педагогическую деятельность для сцены и очутившимся в Харьковской театральной труппе.

Там же, в Харькове, Добролюбова познакомил Самсонов с капитаном генерального штаба Сергеем Ивановичем Турбиным, написавшим, между прочим, очень сценическую вещь «Картинка с натуры» [4]. Самсонов же познакомил Добролюбова с Дмитриевым Иваном Ивановичем, который вскоре после того приехал в Петербург и сначала по протекции Степанова работал в «Искре», а затем, когда Степанов начал издавать «Будильник», сделался в нем главным сотрудником. Дмитриев приехал в Петербург без всяких средств, без копейки денег, но его быстро поставили на ноги сначала Курочкин, потом Степанов. Отношения к работникам пера были далеко не теперешние.

Я передал статью мою Добролюбову, убедительно прося прочесть, если возможно, скорее, так как уезжаю из Петербурга в деревню. Это была драма, написанная мною в Париже.

Дня через три прихожу я снова к Добролюбову. Минуты через две он вышел из кабинета в свою маленькую гостиную с моей рукописью в руках и тотчас, не ожидая вопроса, вычитав этот вопрос в глазах моих, начал говорить о моей драме.

Тихим голосом, не спеша, лаская взором, говорил Добролюбов и, не подбирая, объяснялся в выражениях, не уязвляющих авторского самолюбия.

— Прочел я вашу драму. В ней есть несколько пре-

красных, интересных сцен, но в целом она невозможна. Не говоря уже о том, что вы не только забыли, но,— мягко улыбаясь, добавил Добролюбов,— как будто никогда не слыхали, что у нас существует цензура и что никогда, ни под каким видом не пропустит чего-либо подобного тем мыслям, которые вы высказываете; помимо этого, вы, очевидно, так молоды, так наивны, что ни малейшего понятия об окружающей вас жизни русской не имеете. Все это отражается ярко в вашей драме. Вы, вероятно, долго жили за границею,— закончил Добролюбов.

Сосредоточенно, почти с благоговением слушая Добролюбова, я едва пробормотал: «Да, это верно...» — и задумался.

Наступила пауза.

Вдруг я порывисто схватил со стола мою злосчастную драму и начал рвать ее на куски, что было не легко, так как сшитая тетрадка была толстовата.

— Что вы, зачем это?—успокаивал меня Добролюбов.— Все бы это можно отлично переделать, переработать.— Но в глазах его я прочел, что в душе он меня оправдывал.

Я вскочил, крепко жал руку Добролюбова, горячо и искренно благодарил его и вышел.

Чрез несколько месяцев, принося мелкие статейки, я еще заходил два-три раза к Добролюбову, но старался ограничиваться пятью минутами разговора, замечая его болезненное состояние. Случалось встречать у него Пятковского, Успенского, тогда еще новичков. У Добролюбова же я познакомился с М. А. Антоновичем, который уже пристраивался в то время в «Современнике»; после смерти Добролюбова он получил заведование каким-то отделом [5], а заведование беллетристическим отделом перешло к М. Е. Салтыкову. ⟨...⟩ С Пятковским, который был тогда еще студентом, я познакомился у Добролюбова. Пятковский просил работы, а затем приносил какие-то статейки. У Добролюбова же я встретился с Гайдебуровым, который собирался издавать «Неделю». Кажется, у его жены была библиотека для чтения.

Там же, у Добролюбова, я познакомился с Боборыкиным, когда он принес ему свою драму «Ребенок». Отзыв Добролюбова о «Ребенке» был почти такой же, как и о моей злосчастной драме. После того «Ребенок» [6] был весьма значительно переделан и увидел свет.

⟨*1901*⟩

Н. В. ШЕЛГУНОВ

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Отрывок

...Добролюбов поражал своей сосредоточенной, замкнутой силой, объективным спокойствием, с каким он обыкновенно держал себя при людях, ему мало знакомых. К нему было вполне применимо замечание Гейне о неподвижном взгляде богов. У Добролюбова был именно этот взгляд богов, неподвижно устремленный как бы в беспредметную точку. Но за этим спокойным, неподвижным взглядом скрывалась затаенно-страстная, сильная и цельная натура, а внешняя спокойная бесстрастность и служила именно признаком громадной внутренней силы.

Добролюбов жил в лучшую пору стремлений и надежд русского общества в наступающее светлое будущее. И он верил и он надеялся, и с этой верой и надеждой он умер. Я был у него за три-четыре дня до его смерти, когда он лежал у Некрасова[1]. Это был разгар дела Михайлова, общественного возбуждения, вызванного судом над ним и студенческими историями. Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня, но уже не неподвижным взглядом богов: его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы. 17 ноября Добролюбова не стало.

⟨*1886?*⟩

Н. А. НЕКРАСОВ

ПОСМЕРТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Отрывки

...Но без надежд и упований
Я гордо снес мою печаль.
И без наивных ожиданий
Смотря на жизненную даль,
На битву жизни вышел смело,
И жизнь свободно потекла,
И делал я благое дело
Среди царюющего зла...[1]

Вся литературная деятельность Добролюбова служит подтверждением этих слов. Можно сказать более, не рискуя впасть в преувеличение: их подтверждает вся его жизнь. Он сознательно берег себя для дела; он, как говорится тоже в одном из его стихотворений: «не связал судьбы своей ни единым пристрастьем» [2], устоял «перед соблазном жизни» и остался «полным господином своего сердца»,— все для того, чтобы ничто не мешало ему служить своему призванию, нести себя всецело на жертву долга, как он понимал его.

Вот из какого светлого источника вытекала деятельность Добролюбова, вот почему он спешил так работать, так много успел сделать! Ничто вне этой деятельности не существовало для него, ничто *не должно было существовать*, по его убеждениям. Мы нашли у него недоконченное стихотворение, где замечательны следующие строки:

...Для блага общего назначенный служить,
Я смею чувствовать лишь сердцем гражданина,
Инстинкты юные я должен подавить...[3]

Даже в частной жизни, в ежедневных сношениях с людьми, Добролюбов представлял между нами, русскими, нечто особенное. С детства прививается к нам множество дурных привычек, известных под именем «*уменья жить*». Мы от лени говорим «да» там, где следовало бы отвечать «нет»; улыбаемся, по слабодушию, там, где следовало бы браниться; прикидываемся внимательными к какому-нибудь вздору, на который следовало бы отвечать смехом или даже негодованием. Ничего подобного в Добролюбове не было. Он смеялся в лицо глупцу, резко отворачивался от негодяя, он соглашался только с тем, что не противоречило его убеждениям. Если к этому прибавим, что он не только не заискивал у авторитетов, но даже избегал встреч с ними, да припомним ту независимость, с которою он высказывался печатно, то поймем, почему в литературе его не многие любили. Сила таланта и честной правды, впрочем, начинала уже брать свое: в последнее время чаще и чаще стало слышаться мнение, что этот человек *не без права* стал в главе современного литературного движения. Кто — по крайней мере теперь — не согласится, что нужен был этот резкий, независимый, отрезвляющий, на дело зовущий голос?

О, погоди еще! желанная, святая!
Помедли приходить в наш боязливый круг!
Теперь на твой призыв ответит лишь немая...
. . . .[4]

Уже с предчувствием смерти в груди написал эти строки Добролюбов. Смерть, разумеется, не подождала. Такова уже судьба русского народа: не живучи его лучшие деятели...

Что касается до нас, то мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет границ, и едва ли когда изгладится.

‹Декабрь 1861›

И. И. ПАНАЕВ

ПО ПОВОДУ ПОХОРОН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Отрывки

...Добролюбов окончил курс в бывшем Педагогическом институте в 1857 году. Он начал принимать участие в критических отделах журналов, еще будучи в институте, и одна из его библиографических статей [1], относящихся к этому времени, напечатанная в «Современнике», обратила на себя всеобщее внимание своим здравым взглядом и едкою ирониею. Статья эта наделала шум. Она была прочтена всеми. «Какая умная и ловкая статья!» — восклицали люди, никогда не обращающие никакого внимания на литературу... «Скажите, кто писал эту статью?» — слышались беспрестанные вопросы.

Ум и блестящие способности Добролюбова не могли не обратить на него особенного внимания лучших из его профессоров; и я помню, что на вечере у князя Щербатова, который был в то время попечителем Петербургского ‹учебного› округа, целый вечер шли толки о Добролюбове и о том, какие блестящие надежды подает он.

— Жаль только одно,— заметил кто-то,— он, наверно, не вступит в службу... Журналисты тотчас запутают его в свои сети, и он весь отдастся литературе...

Многие ученые присоединились к этому голосу и, с своей стороны, изъявили также сожаление.

Вышло действительно так. Добролюбов по выходе из института весь отдался литературе. Да и могло ли быть иначе?.. У него была глубокая, истинная, непреодолимая потребность высказаться посредством литературы; он

глубоко чувствовал и сознавал свое призвание. Журналистам нечего было ловить его в свои сети, заманивать его: он сам твердо и сознательно вошел в литературу, как власть имеющий. И с первого же раза занял в ней видное место.

Я увидел в первый раз Добролюбова в 1855 году, но познакомился с ним уже позже, когда он сделался постоянным членом редакции «Современника», перед окончанием своего курса. Мне всегда казалось, что в нем духовная сила преобладала над физической, что его мощный дух заключен был в слишком слабом теле. Он всегда имел вид болезненный, несколько утомленный. Неизлечимая хроническая болезнь, сокрушившая его, начинала, кажется, уже тогда зарождаться в нем. Усиленный труд в институте, усиленный труд после выпуска, обращающийся обыкновенно в потребность у всех людей, слишком жаждущих знания и слишком стремящихся к совершенствованию, тяжкая борьба с гнетущею средою — все это вместе развивало в нем болезнь и быстро вело его к ранней могиле...

После четырехлетней неутомимой и лихорадочной журнальной деятельности он почувствовал истощение сил и, по совету докторов, отправился за границу. За границей он пробыл более года и возвратился в Петербург в половине сентября этого года.

— Что, как вы находите меня? Поправился ли я? — спросил он меня при первой нашей встрече.

— Да, очень,— отвечал я.

А между тем на бледном и вытянувшемся лице его, обросшем бородою, выражалось крайнее истощение сил, предвещавшее близящуюся смерть.

Из-за границы он привез много книг, из чего можно было заметить, что он приготовлялся к труду еще более усидчивому и серьезному.

За месяц до смерти он сказал своему брату-гимназисту: «Мне теперь надо сильно работать, чтобы разделаться с моими долгами». Надобно заметить, что Добролюбов в последнее время много помогал своему семейству и определил двух братьев своих в 3-ю петербургскую гимназию. Отец его, выстроивший перед своею смертию трехэтажный дом в Нижнем Новгороде (о котором, по поводу смерти Добролюбова, упомянуто было в одной газете), очень запутал дела свои именно по случаю этой постройки и оставил после себя долги.

Здоровье Добролюбова после возвращения его из-за границы с каждым днем становилось хуже. Борясь с физическими и нравственными муками, подавляемый самыми тяжелыми и безотрадными впечатлениями, он принялся, однако, за свой обычный журнальный труд и, уже с смертию в груди, ослабевшей рукой дописывал последние строки своей статьи по поводу г. Достоевского «Забитые люди». Доктора объявили в это время его близким, что никакой, самый малейший труд невозможен для него, что ему необходимо совершенное спокойствие физическое и нравственное (возможно ли было для него последнее — доказывает его раздирающий душу дневник) [2] и что дни его уже сочтены.

Добролюбов однажды утром кое-как добрел до Некрасова и уже не мог возвратиться домой. Он пробыл у Некрасова недели две и за неделю до смерти пожелал, чтобы его перенесли домой.

С этой минуты он не вставал с постели и ослабевал с каждым часом; страдания его усиливались: он не спал ночи напролет, метался, просил беспрестанно, чтобы его переворачивали и перекладывали,— в последние дни он не мог пошевельнуться сам и говорил едва слышно; это была мучительная и долгая агония. Он сознавал близость и неизбежность смерти.

Добролюбов скончался 17 ноября.

Друзья покойного объявили в газетах о его смерти и о выносе его тела и в то же время позаботились, чтобы Добролюбов был положен рядом с Белинским.

На похороны, 20 ноября, сошлось человек до двухсот, в числе которых были профессоры университета, журналисты и известные литераторы, за исключением весьма немногих. Гроб несен был на руках от квартиры покойного (на Литейной улице) до самого Волкова кладбища.

Над гробом Добролюбова и над его могилой произнесено было несколько горьких и задушевных слов его друзьями и посторонними лицами и прочтены были отрывки из его дневника... Какая разница между похоронами Белинского и Добролюбова!

Отрывки из дневника Добролюбова яснее и красноречивее всяких слов объясняют, что люди с таким энергическим стремлением к добру и правде, каким был движим Добролюбов, должны чувствовать вдвое сильнее те страшные пытки и страдания, которые суждено испытывать во-

обще всем мыслящим людям. Ни Белинский, ни Добролюбов вследствие этого не могли жить долго. Белинский умер тридцати пяти лет [3], Добролюбов — двадцати шести!

Да и вообще, как известно, всем даровитым русским людям не живется что-то...

Церковный обряд был кончен, слова и речи смолкли, последняя горсть земли брошена в могилу, все разошлись тоскливо, с тяжелою думою.

Смерть соединила Добролюбова с Белинским. Возле благороднейшего литературного деятеля нашего поколения лег благороднейший и талантливейший литературный деятель нового поколения. Белинский дождался достойного гостя...

Новое поколение будет, конечно, благодарнее и памятливее нашего — и не зарастет тропа к этим могилам.

Мир вашему праху, наши братья по мысли и убеждению!..

⟨*Ноябрь 1861*⟩

Н. Я. НИКОЛАДЗЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

Отрывки

...Бывали, впрочем, у нас и дни печали и уныния: едва ли не все студенты точно громом были поражены, когда до нас в середине ноября дошло известие о смерти Н. А. Добролюбова. Не один только Пиотровский залился слезами, узнав о ней. Покойного я знал по статьям. Но меня удивляло, что окружавшее меня студенчество помнило совсем другие его статьи, чем те, которые всего более волновали меня. На меня и на некоторых моих сверстников особенно долговременное влияние имела в конце 1860 года его статья о падении неаполитанского престола [1]. Она художественно описывала сперва непоколебимую прочность королевского трона, покоившегося на сплошном невежестве народа, а потом головокружительную быстроту его падения по мановению руки Гарибальди. Под свежим впечатлением этого изумительного события статью Добролюбова мы поняли в том смысле, что и

русский престол может быть взорван. Точно так же язвительные стихотворения Якова Хама [2], будто бы переведенные то с «австрийского», то с «неаполитанского» языков, нами принимались по их действительному назначению, за безудержное издевательство над нашими порядками и правительственными взглядами. Собственно же критические статьи покойного писателя, признаюсь, гораздо меньше трогали меня, да и Пиотровского, сколько я мог заметить.

Пиотровский был молодой человек, чрезвычайно нервный и впечатлительный ⟨...⟩. Смерть Добролюбова ввергла его в неутешное горе. Линев, тоже очень привязавшийся к нему, в виде утешения напомнил ему, что «Современник» богат талантами: один Чернышевский чего стоит! Но это не утешило опечаленного юноши.

— Чернышевский не заменит Добролюбова,— говорил он,— особенно теперь. Он слишком осторожен, нам же смелость нужна больше всего. Чернышевский ни разу не пришел на наши сходки, хоть и очень ими интересовался и все время про них расспрашивал. Добролюбов же, будь он здоров, не только пришел бы, но и повлек бы нас за собой бог весть куда.

⟨*1923*⟩

Н. В. РЕЙНГАРДТ

I

ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Отрывок

Сегодня исполнилось пятьдесят лет со дня рождения гениального русского критика Н. А. Добролюбова, занявшего одинаковое почетное место в пантеоне русской истории с своим знаменитым предшественником — В. Г. Белинским. Оба они одинаковы по таланту, оба одинаковы по своей искренности, по своему страстному стремлению к правде и справедливости и, наконец, оба одинаковы по преждевременному концу в своей общественной деятельности. ⟨...⟩ В тот момент, когда я пишу эти строки, предо мной пробуждается прошедшее, невозвратимое время, когда приходилось думать о том же, о чем и теперь часто

думаешь, но когда все думы, несмотря на их мрачность, были все-таки окрашены чем-то розовым, что, конечно, было обусловлено юношеским возрастом...

Как теперь помню осеннее сумрачное утро в Петербурге. Это было 20 ноября 1861 года. Ко мне вбежал впопыхах один приятель и сообщил о смерти Добролюбова, случившейся за два дня перед этим. Весть эта была крайней неожиданностью, потому что не было никаких слухов о его болезни.

Похороны должны были быть в этот день на Смоленском кладбище [1], куда мы и отправились. Немного народу мы встретили на похоронах: несколько литераторов и ученых, между которыми помню Некрасова, Панаева, Антоновича, Пыпина, Спасовича, Кавелина и др., несколько студентов и дам. Молодежи было вообще очень мало, что сильно бросилось в глаза.

Умерший лежал в совершенно простом, некрашеном гробу, лицо его было вполне спокойно, как будто бы уснул он.

Когда по окончании отпевания гроб вынесли на паперть, то выступил Некрасов и со сдержанными рыданиями в голосе, со слезами на глазах произнес несколько теплых слов о покойном.

«Вся жизнь его,— говорил поэт,— была посвящена в защиту забитой личности, страдания которой он принимал близко к сердцу...» Дальше я не упомню.

Затем выступил ⟨Н. Г. Чернышевский⟩ [2], который для характеристики покойного прочитал некоторые выдержки из его дневника, несколько стихотворений, между прочим. «Я ваш друзья, хочу быть вашим...» [3] и «Пускай умру — печали мало...». Когда он дошел до того места, где Добролюбов говорит: «Чтоб бескорыстною толпою не шли мои друзья», то при этом с грустной иронией заметил: «Кажется, опасения покойного были напрасны — немного нас тут собралось». Затем, в общих чертах объяснив деятельность Добролюбова, ⟨Чернышевский⟩ с большим чувством произнес так, что слова его до сих пор не исчезли из моей памяти: «Какого человека мы потеряли, ведь это талант был, гений... И в каких молодых летах, ведь ему не было еще двадцати шести лет, в это время другие только начинают учиться...»

На могиле произнесены были речи Антоновичем, Тибленом, которого ⟨Чернышевский⟩ за некоторые резкие выходки против противников Добролюбова просил не-

сколько раз остановиться, одним студентом, указавшим значение Добролюбова в русской литературе, и, наконец, Серно-Соловьевичем, предложившим для увековечения имени покойного поставить на общие средства памятник [4]. Затем могилу засыпали, и мы все разошлись. На душе у всех было как-то жутко.

⟨Январь 1886⟩

II

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ И РАССКАЗАМ РАЗНЫХ ЛИЦ)

Отрывок

...В то время, когда студенты находились в заключении [1], 16 ноября 1861 года умер известный критик 60-х годов Н. А. Добролюбов. О смерти его меня оповестил покойный писатель Н. А. Потехин, и мы уговорились с ним ехать на похороны, на Волково кладбище.

Прибыв 19 ноября утром на кладбище [2], мы застали там очень немного лиц, пришедших проводить знаменитого критика в последнее жилище. Публика состояла по преимуществу из литераторов и ученых, между которыми припоминаю Некрасова, Панаева, Пыпина, Антоновича, Кавелина, Спасовича, Шелгунова; было несколько дам и студентов, малочисленность которых объяснилась тем, что бóльшая часть их была арестована. Умерший Добролюбов лежал в совершенно простом, некрашеном гробе; лицо его мало изменилось, напоминало скорее уснувшего, чем умершего. Когда после отпевания гроб вынесли на паперть, выступил Некрасов и с сдержанными рыданиями в голосе, со слезами на глазах произнес несколько теплых слов о покойном.

«Вся жизнь его,— говорил поэт,— была посвящена в защиту забитой личности, интересы которой принимал он близко к сердцу...» Дальше не упомню. После него вышел из кучки и подошел к гробу гладко выбритый господин и громким, энергическим голосом произнес: «Так как смерть Николая Александровича последовала неожиданно для публики, то ей интересно будет знать, какие причины ускорили ее». Сказав эти слова, он стал читать от-

рывки из дневника Добролюбова, отрывки, общий смысл которых приводил к заключению, что неблагоприятные внешние условия тяжело отражались на болезненной натуре покойного, чем ускорили приближение окончательной трагической развязки. Прочитав отрывки из дневника, означенный господин с большим чувством прочел затем некоторые стихотворения, между прочим: «Я ваш, друзья, хочу быть вашим» и «Пускай умру — печали мало...»; когда дошел до того места, где Добролюбов говорит: «Чтоб бескорыстною толпою за ним не шли мои друзья», то при этих словах с грустной иронией заметил: «Кажется, опасения покойного были напрасны, немного нас тут собралось». Охарактеризовав после всего сказанного им в общих чертах литературную деятельность Добролюбова, оратор затем с необыкновенным чувством произнес: «Какого мы человека потеряли, ведь это был талант. А в каких молодых летах он кончил свою деятельность, ведь ему было всего двадцать шесть лет, в это время другие только учиться начинают».

Стоявший рядом со мной какой-то неизвестный мне господин заметил: «Ну, даром ему это не пройдет[3], достанется же ему...»

— Скажите, пожалуйста,— обратился я к этому господину,— кто этот оратор, верно студент?

— Нет, это Чернышевский,— отвечал тот. Таким образом, в первый раз только на похоронах Добролюбова мне пришлось увидеть Чернышевского, статьями которого, как и значительная часть молодежи того времени, я сильно увлекался.

После речи Чернышевского гроб отнесли к приготовленной могиле, и тут произнесены были речи Антоновичем, Тибленом, которого Чернышевский несколько раз останавливал за резкие выходки против противников Добролюбова. После Тиблена говорил какой-то студент, который в теплых словах охарактеризовал значение Добролюбова, как продолжателя Белинского и Грановского в развитии русского общества; после этого студента говорил Серно-Соловьевич, который предложил для увековечения памяти покойного поставить ему, на общие средства, памятник. После всего этого засыпали могилу и разошлись.

Через несколько дней ходили в публике стихи Михайлова[4] «На смерть Добролюбова», вышедшие из крепости контрабандным путем.

Похороны Добролюбова прошли без всяких последствий. Чернышевскому ничего не досталось, но студента, говорившего на могиле, как носились слухи, будто бы разыскивали, усмотрев в речи неблагонамеренные мысли, хотя таковых в ней не было. Агенты полиции, значит, извратили то, что слышали; надо правду сказать, что полицейские агенты нередко сильно извращают слышанные речи, придавая не тот смысл, в котором они сказаны, и приписывая лицам, которые ничего не говорили.

⟨*1905?*⟩

В. А. ОБРУЧЕВ

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

Отрывки

⟨...⟩ ко мне вошел ⟨...⟩ вновь назначенный на место гр. Шувалова свитский генерал Потапов. Маленький, худенький, лысеющий темноволосый мужчина, с поклоном набок и гримасоподобной улыбкой тоже на сторону, очень любезный ⟨...⟩.

Через несколько дней, кажется 17 ноября,— он опять приехал и сразу спросил:

— Вы Добролюбова знали?

— Знал по журнальной работе.

— Умер он-с.

— Ах, господи, какое несчастие.

Стал расспрашивать об отношениях, и я ему рассказал все, как оно было, про его доброту и внимание ко мне, когда я оставил службу;[1] причем он старался удержать меня от этого шага, говоря, что хорошие люди везде нужны; как старался найти для меня работу, сам привозил мне деньги. Рассказал наконец, как мне было больно увидеть его теперь, по возвращении из-за границы, больным, потерявшим надежду на дальнейшую деятельность и жизнь. Должно быть, моя взволнованная чистосердечная речь с набегавшими на глаза слезами рассеяла подозрения не успевшего еще окаменеть в жандармской практике генерала, потому что в дальнейших допросах имя Добролюбова больше не упоминалось.

Но я не знал, как была принята эта речь, и остался огорченным и взволнованным до глубины души. Весь день ходил по комнате и не мог уснуть. Глубокой ночью не слыша никакого звука в коридоре, я осторожно сполз с постели, стал на колени и долго, страстно молился и плакал, чтоб господь оградил меня от бесчестия, не допустил, чтобы необдуманное, вздорное мое слово могло запятнать светлый образ человека, которого я так горячо любил, послужить поводом к издевательству темных сил над его могилой.

⟨1906?⟩

НЕКРОЛОГИ

НЕКРОЛОГ

В ночи с 16 на 17 сего ноября скончался Николай Александрович Добролюбов. Вынос тела последует в понедельник 20 ноября в половине десятого часа утра из квартиры покойного (на Литейном, дом Юргенса) на Волково кладбище.

Н. Некрасов
И. Панаев
Н. Обручев
Н. Чернышевский

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Николай Александрович Добролюбов родился в Нижнем Новгороде 24 января 1836 года. Отец его, Александр Иванович, был священник нижегородской Никольской церкви. Имя его матери было Зинаида Васильевна.

Александр Иванович и Зинаида Васильевна очень сильно любили друг друга, так что, когда скончалась Зинаида Васильевна (весною 1854 года), муж не мог перенести этой потери: здоровье его быстро разрушилось, и он умер летом того же года[1].

Николай Александрович, способности которого развились очень рано (мы имеем тетрадь его стихотворений [2], писанных в 1849 году, когда ему было тринадцать лет; в числе этих пьес есть переводы из Горация), поступил в четвертый (высший) класс Нижегородского уездного училища, должен был кончить семинарский курс в восемнадцать (обыкновенно кончают курс в двадцать один или двадцать два года) и тогда, как отличный ученик, был бы отправлен на казенный счет в Московскую или Казанскую духовную академию. Но ему очень хотелось ехать в университет. Однако же, по чрезвычайной деликатности характера, он не стал говорить об этом, когда из косвенных расспросов у отца заметил, что родителям было бы не совсем легко уделять хотя рублей по двести в год на его содержание в университете. А между тем оставаться в семинарии стало ему слишком скучно. Чтобы выиграть время, он, пробыв один год в богословском (высшем) классе, поехал в Петербургскую духовную академию, курсы которой начинаются с нечетных годов, между тем как в Казанской и Московской, ближайших к Нижнему Новгороду, они начинаются с четных годов (по которым идут курсы и в Нижегородской семинарии). По приезде в Петербург он увидел возможность поступить также на казенное содержание в Педагогический институт, который казался ему все-таки привлекательнее духовной академии, и сделался студентом института. Это было в августе 1853 года.

Весною следующего года внезапно скончалась его мать, которую он любил чрезвычайно нежно. Эта неожиданная весть страшно поразила его и, по всей вероятности, нанесла первый сильный удар его здоровью. На каникулы (1854) он поехал в Нижний, и на его руках скончался отец, убитый смертью жены (1854 год).

Николай Александрович остался старшим в семействе, которое состояло, кроме него, из пяти сестер и двух братьев. Денежные дела семьи находились в расстройстве. Отец, незадолго перед смертью, построил дом и вошел через это в долги, очень обременительные. Кроме дома, у сирот не было никакого состояния, а доход с дома почти весь поглощался уплатою процентов по займам из строительной комиссии и от частных лиц. Николай Александрович, с обыкновенным своим благородством, хотел пожертвовать всеми личными надеждами, чтобы поддержать сестер и братьев: он решился выйти из Педагогического

института и просить места учителя уездного училища в Нижнем Новгороде. Родные, отцовские знакомые и институтские друзья едва могли соединенными усилиями отклонить его от этого намерения, доказав ему, что скудным жалованьем уездного учителя он не в силах будет содержать семейство, для самых выгод которого необходимо, чтобы он кончил курс в институте. Ему представили также, что три года, остававшиеся ему до окончания курса, сестры и братья его будут безбедно жить — одни у родственников, другие у некоторых из прихожан, уважавших его отца. Так и было сделано. [Через несколько времени Николаю Александровичу и друзьям его отца удалось достичь того, что архиерей *, не хотевший «зачислить» отцовского места за старшею сестрой Николая Александровича **, согласился исполнить это обыкновенное в духовном звании правило, то есть предоставить сироте-дочери получать часть доходов от остающегося праздным отцовского места, а по достижении ею совершеннолетия отдать вакантное место тому, за кого она выйдет.] Но [всего] этого было слишком мало. Родные, взявшие на себя содержание сирот, сами были люди очень небогатые, и Николай Александрович, не щадя себя, приобретал уроками деньги на поддержание сестер и братьев.

[Через несколько времени Николай Александрович принял на себя новую тяжелую обязанность — обязанность борьбы против стеснений и злоупотреблений, существовавших в Педагогическом институте. Личных причин становиться в оппозицию он не имел — ему не делали никаких неприятностей, с ним были внимательны и предупредительны; но его товарищи страдали, и он стал их адвокатом, рискуя быть раздавлен. Он повел дело так благоразумно и твердо, что справедливость жалоб, им представленных, была признана министерством народного просвещения.]

Мы познакомились с Николаем Александровичем летом 1856 года, за год до окончания им курса в Педагогическом институте. Он отдал нам тогда для напечатания в «Современнике» историко-литературную статью о «Собеседнике любителей русского слова»[3] и вскоре потом разбор «Акта Главного педагогического института»[4]. Институтское начальство не должно было знать автора этой рецензии, ко-

* Епископ нижегородский и арзамасский Иеремия.— *Ред.*

** Антониной, позже вышедшей замуж за М. А. Кострова, который и получил за ней наследственный приход.— *Ред.*

торого могло погубить, и она доставила бесчисленные овации тому из сотрудников «Современника», которому была приписана *. Опасно было бы для Николая Александровича даже и совершенно невинное участие в журнале, поместившем эту убийственную рецензию; потому мы просили Николая Александровича отложить до окончания курса сотрудничество в «Современнике», как ни тяжело было для нас на целый год лишать себя помощи такого товарища. Но с начала 1857 года он стал помещать статьи в педагогическом журнале гг. Чумикова и Паульсона[5], [сношения с которыми не составили бы преступления в глазах институтского начальства, если бы и были узнаны им]. По окончании курса он отправился в Нижний — повидаться с сестрами и отдохнуть. Перед отъездом он отдал нам статью «Несколько слов о воспитании», напечатанную в № 5 «Современника» за 1857 год; тотчас по возвращении в Петербург началось его постоянное сотрудничество в «Современнике» (с № 7 в 1857 году), а скоро (с конца 1857 года) он принял в свое заведование отдел критики и библиографии в нашем журнале. [[Читающая публика знает, с каким блеском повел он эту часть журнала.]] Ему еще не было двадцати двух лет в это время.

Он работал чрезвычайно много, но не по каким-нибудь внешним побуждениям, а по непреоборимой страсти к деятельности. Едва ли прошло полгода времени между тою порою, как он стал нашим товарищем, и тем временем, когда мы заметили, что его надобно удерживать от работы. С начала 1858 года не проходило ни одного месяца без того, чтобы несколько раз мы настойчиво не убеждали его работать меньше, беречь себя. Он отшучивался, говорил, что напрасно мы думаем, будто он утомляет себя. Впрочем, он был прав: не труд убивал его,— он работал беспримерно легко,— его убивала гражданская скорбь. Иногда обещался он отдохнуть, но никогда не в силах был удержаться от страстного труда. [Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что его труды могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время...]

Видя, что он не может дать себе отдыха на родине, и думая, что южный климат поможет ему, мы с зимы 1858—1859 года стали убеждать его ехать за границу. Он не хотел. Но следующею зимою он был уже очень хил. Почти насильно мы заставили его ехать за границу весною 1860

* То есть самому Н. Г. Чернышевскому.

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Милый другъ, я умираю,
Оттого, что былъ я честенъ;
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.

Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тѣмъ же стезею.

Н. Добролюбовъ.

ТОМЪ I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ІОСАФАТА ОГРИЗКО.

1862.

Титульный лист первого посмертного издания сочинений Н. А. Добролюбова

года. Через два-три месяца он уже хотел возвратиться. Он никогда не хотел верить, что его здоровье слабо, изнеможение свое он приписывал мимолетным причинам, влияние которых пройдет само собою. С трудом убедили его остаться на зиму за границею. Он нетерпеливо стремился в Россию работать. [|Вдруг, в начале весны, мы получили от него письмо, противоречившее всем прежним: он говорил, что думает навсегда остаться в Италии, и поручал нам устроить его денежные дела так, чтобы этому не было затруднений. Но через месяц он писал, что в Италии делать ему уже ⟨нечего⟩.|] [6]

Он возвратился в начале августа нынешнего года, нисколько не поправившись в здоровье, и тотчас же по приезде должен был начать лечиться. Тут подошли внешние обстоятельства, ускорившие его смерть [7].

После изнурительной болезни он тихо скончался в 2 часа 15 минут утра 17 ноября.

Ему было только двадцать пять лет. Но уже четыре года он стоял во главе русской литературы, [—нет, не только русской литературы,— во главе всего развития русской мысли].

Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби, [но невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих].

⟨*Ноябрь 1861*⟩

А. С. ГИЕРОГЛИФОВ

ПОХОРОНЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

В понедельник 19 ноября хоронили Николая Александровича Добролюбова, автора критических статей в «Современнике», подписанных литерами «Н.—бов». Гг. Некрасов и Чернышевский произнесли по нескольку слов над прахом покойника, и мы заимствуем из них эти крат-

кие данные для очертания характера, деятельности и судьбы Добролюбова.

Бедное детство в доме бедного сельского священника[1], бедное, полуголодное учение, потом четыре года лихорадочного, неутомимого труда и, наконец, год за границей, проведенный в предчувствиях смерти,— вот и вся биография Добролюбова, сказал Н. А. Некрасов. По возвращении нынешней осенью из-за границы Добролюбов попал под самые тяжелые впечатления; опасался во многом за судьбу своих близких и друзей и, таким образом, не имел успокоения даже перед смертью. Жизнь ничего не дала лично Добролюбову, а с самого начала сурово поставила его под страшный гнет той среды и тех обстоятельств, в которых суждено было Добролюбову пройти все двадцать шесть лет своей жизни.

Общество лишилось в Добролюбове деятеля своего развития, писателя, едва ли не сильнейшего из всех, кто действует в настоящие дни на журнальном поприще. Это было сильное и самобытное дарование. Он начал свой литературный труд назад тому пять лет, бывши еще совершенным юношей; но с самой первой статьи его, проникнутой, как и все остальные, глубоким знанием и пониманием русской жизни и самым искренним сочувствием к настоящим и истинным потребностям общества, все, кто принадлежит к читающей и мыслящей части русской публики, увидели в Добролюбове мощного двигателя нашего социального развития. Сочувствие к литературе, понимание искусства и жизни и самая неподкупная оценка литературных произведений, энергия в преследовании своих стремлений соединялись в личности Добролюбова. «Меньше слов и больше дела» — было постоянным девизом его и предсмертным его завещанием своим близким собратам по труду.

В Добролюбове во многом повторился Белинский, насколько это возможно было в четыре года: то же электрическое влияние на читающее общество, та же проницаемость и сила в оценке явлений жизни, та же деятельность и та же чахотка. Добролюбов изумлял определенностью и законченностью своих воззрений,— и в этом мы видим черту его превосходства.

Н. Г. Чернышевский прочитал над гробом покойного несколько страниц из его дневника[2]. Это был ряд фактов, из которых сложилась в уме слушателей верная и раздирающая сердце картина той нравственной пытки, тех нрав-

ственных оскорблений и мучений, которые свели в могилу сильного и смелого защитника добра и правды... Болезнь Добролюбова развилась вследствие безвыходных нравственных страданий, испытываемых им во все время его кратковременной литературной деятельности. Многие, может быть, не поймут этого и не поверят, хотя ряд фактов, записанных самим Добролюбовым для себя, может превосходить своею достоверностью все возможные объяснения и толкования...

Нравственная и умственная сила человека — это обоюдоострое оружие, которое или побеждает... или уничтожает самого бойца. На долю русских сильных талантов выпала эта последняя доля и преследует их исторически: стоит вспомнить, что наиболее сильные из них исчезли в преждевременных могилах. Чем сильнее духовная природа человека, тем быстрее и разрушительнее бывает этот внутренний взрыв его, это самосгорание, если нет ни малейшей возможности пробить хотя один шаг вперед на избранном пути. Честность не дозволяет отступить от своих принципов, святость истины не терпит измены, ренегатства, а собственное падение, собственный разврат, осязание разложения своего чистого, духовного организма хуже смерти для всякой возвышенной, честной натуры. «Добролюбов умер оттого, что был слишком честен»,— заключил г. Чернышевский, и это психологически верно. Когда же даровитые русские люди перестанут умирать преждевременно?!

Добролюбов похоронен на Волковом кладбище, рядом с Белинским; там есть еще и третье свободное место, «но нет еще для него человека в России»,— сказал Н. Г. Чернышевский, бросая последнюю горсть земли на скромную, но славную могилу.

Слова г. Некрасова извлекали слезы; чтение же дневника потрясало присутствующих; без нервной лихорадки его невозможно было слышать никому, кто не отупел от привычки.

На похоронах Добролюбова собралось довольно значительное число порядочных людей из жителей Петербурга, конечно, с весьма немногими исключениями, неизбежными у нас при всяких собраниях. Порядочность присутствующих и сочувствие их к литературным деятелям выразилась, между прочим, одним добрым делом: собрано было по подписке около четырехсот рублей серебром[3] в пользу одного литератора, отправляющегося из Петер-

бурга. Это хорошая тризна по Добролюбове: они были один другому близки.

Мы бросили горсть земли на могилу и венок на гроб нашего собрата; а вы, провинциальный читатель, если вам дорога русская мысль и русское развитие,— хоть подумайте одну минуту над тем, чье общество лишилось деятеля, к которому неприложима наша формула, утешающая нас в других утратах: «такой-то умерший исключается из списков, а на место его назначается такой-то».

21 ноября ⟨1861⟩

А. И. ГЕРЦЕН

КОНЧИНА ДОБРОЛЮБОВА

Опять нам приходится занести в нашу хронику раннюю смерть — энергический писатель, неумолимый диалект и один из замечательнейших публицистов русских, Добролюбов, похоронен на днях на Волковом кладбище, возле своего великого предшественника Белинского. Говорят, что Добролюбову было только двадцать пять лет.

⟨Ноябрь 1861⟩

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ

НЕКРОЛОГ

В ночь с 16 на 17 ноября умер один из замечательнейших русских писателей — Николай Александрович Добролюбов, и смерть его была для всех, кто знал покойного, тяжелым ударом. Совершилось роковое событие: жизнь со всеми своими условиями убила жизнь полезного человека. Друзья Добролюбова давно ожидали его смерти, знали наверное, что болезнь его неизлечима; смерть приближалась заметно, явно глодала больного. Но про-

бил последний час — и всякий, кто был даже совершенно убежден в неминуемой скорой смерти Добролюбова, испугался. Одним честным и неустрашимым деятелем стало меньше.

Николай Александрович Добролюбов был сын священника. Курс образования своего он кончил в бывшем Педагогическом институте, и тотчас после того вступил на литературное поприще. Критические статьи Добролюбова, подписанные «Н.— бов», «Н. Лайбов», «Н.— нов» [1], «Конрад Лилиеншвагер» и др.,— все показывают здоровую, талантливую голову и установившееся, прочное, всегда верное себе воззрение. Он успел проработать только три года [2], и деятельность его была остановлена быстро развившеюся чахоткой. Чтобы избавиться от климатических вредных условий, постоянно раздражавших его впечатлительную натуру, он ездил за границу, в Италию [3]. Там, вместо того чтобы внимательнее заняться своим здоровьем, он весь погрузился в ту кипучую жизнь, которою тогда жила соединявшаяся Италия, познакомился со всеми тамошними деятелями, принимал живое участие в их делах и прениях, несколько раз проехал в Италию из конца в конец и возвратился в Петербург, значительно поправившись [4]. Но здесь несколько ударов очень быстро и гибельно подействовали на его слабый организм и развили в нем неизлечимую болезнь. Эта болезнь быстро свела его в могилу. Он не прожил и двадцати шести лет. Судя по началу его деятельности, Россия могла ожидать от Добролюбова много пользы, потому что он был храбрый, честный боец за правду.

⟨*Ноябрь 1861*⟩

П. И. ВЕЙНБЕРГ

ЧТО НОВОГО В ПЕТЕРБУРГЕ?

⟨Отрывок⟩

...Теперь я проведу вас на Волково кладбище и покажу вам свежую могилу талантливого, умного литератора, умершего в полном цвете жизни, унесшего с собою в могилу прекрасные надежды. Это — могила Николая Александ-

ровича Добролюбова, одного из самых деятельных членов редакции «Современника», известного своими критическими статьями, под которыми он обыкновенно подписывался: «—бов». Покойный только что начинал свое литературное поприще, и начинал так, как не многим удается; можно было не соглашаться со многими его взглядами, находить их крайними и т. д., но нельзя было отрицать в нем присутствие прекрасного ума, сильной энергии и любви к правде, которую он отстаивал во всех ее проявлениях. Память его почтили словом теплого сочувствия все любящие русскую литературу и желающие ей добра.

Да и не на одних приверженцев литературы грустно подействовала смерть Добролюбова: ведь он умер двадцати пяти лет от роду, и с такими прекрасными задатками!..

⟨*Ноябрь 1861*⟩

В. Р. ЗОТОВ

НЕКРОЛОГ

В ночь на 17 ноября умер Николай Александрович Добролюбов, один из даровитейших молодых писателей, сотрудник «Современника», замечательный критик и публицист, редко выставлявший под статьями свое имя[1], но большей частью подписывавшийся «Н.—бов». Всем, конечно, памятны его меткие, бойкие статьи, из которых более других возбудили всеобщее внимание «Темное царство» и «Забитые люди». Николай Александрович страдал грудною болезнью, получил небольшое облегчение нынче летом за границей. Но с возвращением в Петербург припадки болезни возобновились, и она свела его в могилу, в молодых годах, в полном цвете умственных сил. Судьба все еще продолжает быть мачехой русской литературы и губит лучших ее деятелей, не давая им возможности высказаться вполне. С Добролюбовым легли в гроб надежды на преемничество Белинского. В области русской критики покойник начал свое литературное поприще так, как немногие его оканчивают. Самые ошибки и увлечения Николая Александровича проистекали от горячей любви к человечеству и русскому народу, от полного сочувствия его нуждам и невзгодам. Он не был оптимистом, не верил гром-

ким фразам и обещаниям, не смотрел в радужные стекла на события своего времени — но можно ли упрекать его за это?

В понедельник, в день его похорон, несмотря на дурную погоду, густая толпа шла за его гробом, который несли на своих плечах друзья и почитатели покойного от Литейного до Волкова кладбища, где его положили подле Белинского. Были тут и писатели, и офицеры, и студенты, были лица, никогда не знавшие и не видавшие покойного, но которые считали долгом поклониться телу благородного деятеля, добивались, как чести, возможности пронести хоть несколько шагов на плечах своих тяжелый гроб... Над могилой сказали несколько теплых, правдивых слов друзья погибшего. Еще одною горькою утратою, безвременною могилою стало больше на печальном поприще русской литературы, но не отвратит никого от трудов на этом поприще ранняя кончина даровитого труженика: напротив, благородным призывом укрепит она каждого действовать по мере сил своих на развитие и укоренение в массе здравых идей, важных, хотя и неутешительных истин.

Редакции «Современника» предстоит собрать и издать все, что успел высказать и написать Добролюбов. Это будет самый прочный памятник ему в нашей литературе.

⟨Ноябрь 1861⟩

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

НЕКРОЛОГ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Отрывок

...Погребальная процессия была чужда всякой мишуры, всякой пышности. Но простой сосновый гроб несли на руках друзья и знавшие покойника от дома до самого кладбища; за гробом шла длинная вереница провожавших, тянулся длинный ряд экипажей. Процессия двигалась в тишине, без певчих, без наряженных в черные мантии наемников, но грустные лица провожавших ясно говорили, что каждый искренно уважал покойника, каждый сознавал значение утраты... В числе лиц, которые несли гроб и шли за гробом, было много известных ученых и литера-

торов, были знакомые покойного, было много лиц, никогда не видавших Добролюбова и знавших его только по литературным трудам. У писателя талантливого, современного всегда есть друзья, которых он не знает и которые, не видав его при жизни, как близкие, как родные, печально идут за его гробом... Такова сила таланта!.. Добролюбов многих привязывал к себе этою силою, и воспоминание о нем сохранится долго в памяти многих!..

⟨Ноябрь 1861⟩

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

НЕКРОЛОГ

С глубоким прискорбием мы извещаем наших читателей о кончине одного из даровитейших молодых писателей — Николая Александровича Добролюбова, посвящавшего все время усиленным литературным занятиям. Он умер в ночи с 16-го на 17-е число ноября.

В тесном кругу русских писателей утрата эта тем печальнее, что г. Добролюбов принадлежал к числу деятелей, которых ожидала блестящая будущность.

Потеря эта в особенности ощутительна в настоящее время, в которое более чем когда-либо чувствуется необходимость в таких литературных деятелях, каким был г. Добролюбов.

20-го ноября в половине десятого часа утра будет вынос тела его на Волково кладбище из квартиры на Литейной, в доме Юргенса.

⟨18 ноября 1861⟩

N. N.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ

Мы только что возвратились с зрелища очень печального, с похорон человека, расставшегося с жизнью в самом ее цвете, человека, неоспоримо любившего жизнь; в

самом лучшем смысле этого слова. Я говорю о Н. А. Добролюбове, обратившем на себя общее внимание русской читающей публики прекрасными критическими статьями, печатавшимися в «Современнике» начиная с 1857 года. Сын бедного сельского священника[1], воспитанный за казенный счет в стенах упраздненного теперь Педагогического института, Н. А. Добролюбов умер двадцати пяти лет, умер полный жаждою деятельности, искренней любовью к России. Он рано сознал свое призвание и с небольшим двадцати лет выступил на журнальное поприще. Три года его деятельности[2] произвели ряд замечательных статей, вроде «Обломовщины», «Темного царства», «Светлого луча в темном царстве» (по поводу драм Островского) и некоторых других. Кроме того, он в это время заведовал критикою и библиографиею «Современника», значительно обязанного ему своим успехом. Расстроенное здоровье заставило его уехать за границу, где он пробыл около года. Возврат его обозначился превосходною статьею по поводу романов г. Достоевского «Забитые люди». Но злая чахотка свела его наконец в могилу.

К его гробу собрался не особенно многочисленный кружок, состоявший из литераторов, участвующих по преимуществу в «Современнике», студентов, офицеров и нескольких дам. Несмотря на это, гроб Н. А. Добролюбова был донесен этим небольшим кружком от квартиры покойного (на Литейной) до самого Волковского кладбища, долженствовавшего принять последние останки покойного. При выносе тела из церкви гг. Некрасов и Чернышевский сказали несколько слов о значении Н. А. Добролюбова не столько как писателя, а более как человека. Г-н Чернышевский прочел при этом несколько отрывков из найденного дневника Добролюбова и несколько его стихотворений, которые ясно говорили, что на ускорение смерти Н. А. имели сильное влияние некоторые нравственные причины. Над могилою, над засыпанным уже землею Добролюбовым, было произнесено еще несколько дружеских речей, из которых иные указывали на знаменательность смежности его могилы с последним жилищем Белинского.

Тихо и тоскливо разошлась с кладбища небольшая толпа хоронивших, и у каждого, без сомнения, была в уме дума о молодости наших деятелей, сходящих в могилу... Еще жертва смерти, и еще жизнь, подкошенная в самом роскошном ее цветении!

Друзьями покойного собрана уже некоторая сумма

на памятник ему. Редакциею «Современника» будут изданы сочинения и портрет Добролюбова, которому, кроме обычного псевдонима «Н.— бов», принадлежали также подписи «Н.— пов»[3], «Н. Лайбов» и «Конрад Лилиеншвагер».

⟨20 ноября 1861 г.⟩

ДОНЕСЕНИЕ АГЕНТА III ОТДЕЛЕНИЯ О ПОХОРОНАХ ДОБРОЛЮБОВА

Сегодня, в $9^1/_2$ час. утра, был вынос тела умершего 17 числа литератора Добролюбова. В квартиру его, на Литейной, собралось более двухсот человек литераторов, офицеров, студентов, гимназистов и других лиц. Всем бывшим там раздавали его визитные карточки. Гроб несли на руках до самого кладбища, но похороны его были довольно бедные. В кладбищенской церкви, во время отпевания тела, намеревались было говорить речи, но священники этого не позволили. Когда гроб вынесли на паперть, то выступил Некрасов и стал говорить, весьма невнятно, сквозь слезы[1], почти шепотом, о причине смерти Добролюбова, приписываемой им сильному душевному горю вследствие многих неприятностей и неудач, присовокупив, что он умер, к несчастию, слишком рано, мог еще многое совершить, ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать его примеру. Речь Некрасова трудно было расслышать. Потом говорил Чернышевский. Начав с того, что необходимо объявить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг; он разделяется на две части: на внесенное им в оный до отъезда за границу и на записанное после его возвращения. Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти; лиц я называть не буду, а скажу только NN». Тут Чернышевский начал читать статей восемь, приблизительно следующего содержания: «Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) NN и объявил мне, что в моей статье сделано много помарок. Такого-то числа явился ко мне NN и передал, что за мою статью, которая была напечатана там-то, он получил

выговор. Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были беспорядки. Получено уведомление, что беспорядки были в Киеве. Дошли сведения, что некоторые не из «наших» сосланы в Вятку; другие ж — бог знает, что с ними стало. Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству». «Но главная причина его ранней кончины,— присовокупил Чернышевский,— состоит в том, что его лучший друг,— вы знаете, господа, кто! — находится в заточении» [2].

Читая один параграф, Чернышевский забылся и назвал пришедшего к Добролюбову Елисеева (он один из тех, который во всякое время имеет доступ к Чернышевскому). При наименовании его он смутился немного, но тотчас же, обратясь к публике, сказал: «Вы его знаете, это „наш“!»

В заключение Чернышевский прочитал два довольно длинные стихотворения Добролюбова [3], в весьма либеральном духе написанные, из которых первое оканчивалось словами: «Прости, мой друг, я умираю оттого, что честен был», а второе словами: «И делал доброе я дело среди царюющего зла».

Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его. Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собою заметили: «Какие сильные слова; чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют».

20 ноября 1861 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДОБРОЛЮБОВУ

Н. А. НЕКРАСОВ

ДВАДЦАТОЕ НОЯБРЯ 1861 ГОДА

Я покинул кладбище унылое,
Но я мысль мою там позабыл,—
Под землею в гробу приютилася
И глядит на тебя, мертвый друг!

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо через щели гробовые
Проступить не успела вода;

Ты лежишь как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных,
Да сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз,

Да следы наложили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои, плотно сомкнутые,
И на впалые очи твои...

20 ноября 1861 г.

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья

Ты отдал ей; ты честные сердца
Ей покорял. Взывая к жизни новой,
И светлый рай и перлы для венца
Готовил ты любовнице суровой.

Но слишком рано твой ударил час,
И вещее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами...
Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,

Такого сына не рождала ты,
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

1864

М. Л. МИХАЙЛОВ

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

Вечный враг всего живого,
Тупоумен, дик и зол,
Нашу жизнь за мысль и слово
Топчет произвол.

И чем жизнь честней и чище,
Тем нещаднее судьба;
Раздвигайся ты, кладбище,—
Принимай гроба!

Гроб вчера и гроб сегодня,
Завтра гроб... А мы стоим
Средь могил и... «власть господня»,
Как рабы, твердим.

Вот и твой смолк голос честный,
И смежился честный взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.

Жаждой правды изнывая,
В темном царстве лжи и зла
Жизнь зачахла молодая,
Гнета не снесла.

Ты умолк, но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
«Что ж молчит в вас, братья, злоба?
Что любовь молчит?

Иль в любви у вас лишь слезы
Есть для ваших кровных бед?
Или сил и для угрозы
В вашей злобе нет?

Братья, пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный
И открытый бой!»

Мы стоим, не слыша зова,—
И ликуя, зверски зол,
Тризну мысли, тризну слова
Правит произвол.

20 ноября 1861 г.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

* * *

Ты жаждал правды, жаждал света,
Любовью к ближнему согрета
Всегда была душа твоя.

Не суету и наслажденье —
Добру высокое служенье
Считал ты целью бытия.

И, провозвестник жизни новой,
На подвиг трудный и суровый
Ты с юных дней себя обрек...

С горячей верой, с сердцем чистым,
Ты бодро шел путем тернистым,
Тщеславных помыслов далек.

Давно уж нет тебя меж нами,
Но над правдивыми сердцами
Еще ты властвуешь досель.

И, духом падших ободряя,
Горит звездой в ночи — благая,
Тобой указанная цель!

⟨1881⟩

Г. Н. ЖУЛЕВ

В МАСТЕРСКОЙ ФОТОГРАФА
ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

В мастерской сидит старик —
Бледнолиц и тонок,—
С ним ребенок — не велик,
Но смышлен ребенок:
«Дядя, кто это такой
Длинный, точно дудка?»
И на карточку рукой
Указал малютка.
«Биллиардный Ришелье,
Шулер и проныра,
Ростовщик, habitué*
Палкина трактира...
Хоть кого заговорит
И к игре он склонит,
И в огне он не горит
И в воде не тонет...
Пропечатали его
Раз в журнале «Дело»...
Что же он? — Да, ничего...
Не мое, мол, дело!..
Не поделаешь пером
Ничего с пронырой,
Не пробьешь его дубьем —
Где ж пробить сатирой?!»

«Ну, а это кто?» — «Актер,
Падкий к комплиментам;
Он пороги все обтер
Нашим рецензентам.
Им закормлен сонм писак
И шампанским залит,—
И за то его ведь как
Лизоблюды хвалят!..
С драматургами он *свой*:
Сват иль кум любезный,

* Завсегдатай (*фр.*).— *Ред.*

И для каверз их порой
Человек полезный...
И строчилы за родство,
За холопство, что ли,—
Сочиняют для него
Выгодные роли...
Он ведет себя хитро,—
Публику дурача,—
Выдает за серебро
Мельхиор от Кача[1],—
Ну, а публика дурак,
Смысла не имея,
Принимает,— да ведь как,
Этого пигмея?!»

«Это кто?» — «Хм! Журналист,
Каторжный писатель,
Пренахальный публицист
И лихой предатель...
Злой змеею пóвит он
И волчицей вспоен,
Но имеет вес и тон
Этот грязный воин...
И у многих он в чести,
Многим друг короткий,—
Эх! Его держать в частѝ
Надо б за решеткой!..»

«Это кто?» — «Скот из скотов
И домовладелец,—
Бедняков душить готов
Он из-за безделиц...
В храмы льет колокола...
Что ж ему за дело,
Что жилица не пила
И три дня не ела!..
Сам ведь сыт он и здоров,
Денег тьма и платья,—
Что ж ему стон бедняков,
Вопли и проклятья!»

Долго б речь он продолжал,
На портреты глядя,
Но ребенок вдруг сказал:

«Ух, довольно, дядя!..
Гадки люди, вижу я,—
Звери лучше, право!..»

«Нет, не все, душа моя,
Посмотри направо —
Видишь личность: светлый взор,
Нежный и безгрешный...
(Как на этот скотный двор
Ты попал, сердечный?)
Подлость, зло сражал он в прах,
Смел был, бескорыстен,
Он высказывал в статьях
Много едких истин.
Он нередко повторял:
«Все мы люди — братья»,
И к толпе он простирал
Нежные объятья.
Но толпа тупа была,
Хоть в статьи глядела,—
Но его не поняла
Иль понять не смела...
Он пером своим наш сон
Вековой встревожил,—
Век бы жить ему,— но он
Четверти не прожил [2].
Да, для края своего
Не жалел он груди...
После смерти лишь его
Оценили люди...
Бил людское он скотствó
Словом крепче стали;
Мы всегда статьи его
С жадностью читали.
Он вливал тепло и свет,
В нас роил идеи...»

«Дядя, стой! Его портрет
Дай мне поскорее...
Славно быть таким борцом
И известным свету!..»
И с сияющим лицом
Он припал к портрету.

«Бедный!» — молвил он с тоской
И, сложив три пальца,
Сделал крест за упокой
Честного страдальца.

‹1871?›

П. Ф. ЯКУБОВИЧ

* * *

Друзья! В тяжелый миг сомненья
Взгляните пристальней назад:
Какие скорбные виденья
Оттуда с ужасом глядят!
И молят и как будто плачут,
Грозят кистями рук худых...
Что́ их мольбы немые значат?
Кому, за что упреки их?

То — наши братья... Жизнь, свободу,
Все блага лучшие земли
Они родимому народу
С любовью в жертву принесли.
Они погибли, веря страстно,
Что мы пойдем по их стопам
И не дадим пропасть напрасно
Их жертвам, ранам и скорбям!

Когда в постыдный час забвенья
Страдальца-брата тень мелькнет,—
Какая буря возмущенья
Внезапно сердце потрясет!
Святые слезы покаянья
Подступят к горлу... И опять
Кипит душа огнем желанья —
Идти на крестные страданья,
Всю душу родине отдать!

1883

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Аничков — Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. под ред. Е. В. Аничкова, т. 1—9. СПб., изд-во «Деятель», 1911—1912.

Арх. Добр., №... — Найдич Э. Э. Архив Н. А. Добролюбова. Опись. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1952.

Герцен — Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. 1—22. Пг., 1915—Л., 1925.

ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Княжнин, №... — Княжнин В. Н. Архив Н. А. Добролюбова. Описание.— В кн.: «Временник Пушкинского дома. 1913». СПб., 1914.

Летопись... — Рейсер С. А. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., Госкультпросветиздат, 1953.

ЛН — Литературное наследство.

Материалы — Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 гг. Н. Г. Чернышевским, т. I. М., изд-во К. Т. Солдатенкова, 1890.

ПссН — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, в 12-ти томах. М., Гослитиздат, 1948—1953.

ПссТ — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. М—Л., Изд-во АН СССР, 1960—1968.

ПссЧ — Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. и писем в 16-ти томах. М., Гослитиздат, 1939—1951.

Совр. — «Современник».

СсД — Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М.—Л., Гослитиздат, 1961—1964.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив.

Шестидесятые годы — Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940.

В сборник включены воспоминания, статьи и заметки мемуарного характера, посвященные жизни и творческому пути Добролюбова. Только немногие из них, как воспоминания А. Я. Панаевой, Н. Г. Чернышевского и М. А. Антоновича, неоднократно перепечатывались в советское время и более или менее хорошо известны читателю. В 1936 году были впервые опубликованы в «Литературном наследстве» (№ 25—26) воспоминания И. М. Сладкопевцева, Б. И. Сциборского и М. И. Шемановского. Остальной материал в большей своей части не переиздавался в течение многих десятилетий; затерянный на страницах труднодоступных журналов, газет или отдельных изданий, он практически неизвестен в широких кругах. Таковы письма, статьи, заметки и мемуары Д. В. Аверкиева, П. И. Вейнберга, В. И. Глориантова, В. А. Добролюбова, М. А. Кострова, Н. Н. Мазуренко, П. И. Мельникова-Печерского, В. И. Модестова, В. Н. Никитина, Н. Я. Николадзе, А. Н. Пыпина, А. П. Пятковского, А. А. Радопежского, Л. Н. Самсонова, Д. П. Сильчевского и др. Воспоминания Н. А. Татариновой и В. И. Глориантова впервые опубликованы в первом издании наст. сборника. В книге собраны также некрологи Добролюбова, извлеченные из различных газет и журналов, и перепечатано донесение агента III Отделения. В приложении помещены наиболее значительные в художественном отношении стихотворения, посвященные памяти Добролюбова.

Весь материал разбит на несколько разделов. Внутри каждого раздела по возможности соблюдена хронология жизни великого критика.

Включенные в книгу тексты всюду, где это было возможно, сверены с рукописями. При этом в некоторых случаях, по сравнению с другими изданиями, в текст внесены уточнения (это особенно касается воспоминаний М. А. Антоновича и А. П. Златовратского).

Все недописанные в автографах слова даны полностью. Угловые

скобки сохранены лишь в тех случаях, когда раскрытие вызывает хотя бы некоторое сомнение.

Каждая публикация сопровождается датой, указывающей время написания: установленные составителем даты заключены в угловые скобки.

В настоящее 2-е издание сборника в тексты и комментарии введены различные дополнения, исправления и сокращения.

В подготовке рукописи к изданию принимал участие В. Э. Боград.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

М. И. БЛАГООБРАЗОВ

ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 4 ДЕКАБРЯ 1861 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

(Стр. 23—24)

Михаил Иванович Благообразов (1831—1862) — двоюродный брат Добролюбова.

После отъезда Добролюбова в Петербург между ними происходила оживленная переписка. Известно сорок четыре письма Добролюбова к М. Д., М. И. и Ф. В. Благообразовым за 1853—1861 гг. (*СсД*, т. 9) и тридцать пять писем Благообразовых к нему (*Материалы...*) тех же лет; несколько писем Благообразовых не опубликованы (*Княжнин*, № 177, 178). Последнее из сохранившихся писем Добролюбова, написанных незадолго до смерти, обращено к Благообразову.

Печатается по тексту: *ЛН*, 1936, т. 25—26, с. 330, где было опубликовано впервые.

[1] Во время встреч с Чернышевским в Петербурге вскоре после смерти Добролюбова.

[2] Добролюбов Александр Иванович (1812—6 августа 1854) — отец Н. А. Добролюбова. Сын дьякона, в 1832 г. он окончил Нижегородскую духовную семинарию и до 1843 г. преподавал в Нижегородском духовном училище и в училище для детей канцелярских служащих. С 1834 г. и до смерти — настоятель Верхнепосадской Никольской церкви. Опубликовано тридцать писем Добролюбова к отцу и матери (*СсД*, т. 9) и семнадцать писем родителей к сыну (*Материалы...*) за 1853—1854 гг. Некоторые письма А. И. и З. В. Добролюбовых не изданы (*Княжнин*, № 179, 181).

М. А. КОСТРОВ

(Стр. 24—30)

Михаил Алексеевич Костров (1826—1886) был учителем Добролюбова в 1844—1847 гг. до поступления его в духовное училище. В 1848 г. Костров поступил в Московскую духовную академию, а по окончании ее был назначен инспектором Нижегородского духовного училища. В конце 1857 г. он женился на сестре Добролюбова Антонине; став священником, занял место отца Добролюбова.

Двенадцать писем Добролюбова к Кострову 1848—1861 гг. собраны в *СсД* (т. 9), а шестнадцать писем Кострова к Добролюбову 1853—1861 гг. с купюрами опубликованы Н. Г. Чернышевским в *Материалах...*; они свидетельствуют о том, что внутренней близости между корреспондентами никогда не было. Отношения ученика к учителю сменились позднее корректными, хотя и не всегда гладкими, родственными.

I. ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 19 ДЕКАБРЯ 1861 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Впервые (с пропусками) — *Совр.*, 1862, № 1, отд. 1, с. 260—262, в статье Чернышевского «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова».

Печатается по тексту: *Шестидесятые годы*, с. 62, где опубликовано полностью.

[1] Костров занимался с Добролюбовым с 16 сентября 1844 г. до сентября 1847 г., когда Добролюбов поступил в высший класс уездного духовного училища.

[2] Добролюбов перешел из училища в семинарию в сентябре 1848 г.

[3] См. с. 337, коммент. 2 наст. изд.

[4] См. с. 46 наст. изд.

[5] Никакого рекомендательного письма архиерей Иеремия Добролюбову не давал.

[6] Это утверждение содержится в некрологе, напечатанном в «С-Петербургских ведомостях», 1861, 25 ноября, № 263, с. 1441.

[7] Мать Н. А. Добролюбова Зинаида Васильевна Добролюбова (урожд. Покровская) умерла 8 марта 1854 г.

[8] Речь идет о стихотворениях «Памяти отца» и «Благодетель». Первое из них напечатано в *Совр.* (1862, № 1) с большими цензурными купюрами, второе — запрещено цензурой и в журнале обозначен лишь номер его. Текст их см. в *СсД* (т. 8, с. 60 и 42—44).

11. ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. ФЕВРАЛЬ (?) 1862 Г. <НИЖНИЙ НОВГОРОД>

Печатается по тексту: *Шестидесятые годы*, с. 64—66, где было опубликовано впервые.

[1] 25 сентября 1855 г. Добролюбов просил институтское начальство разрешить ему в следующем 1856 г. досрочно сдать выпускные экзамены, а 6 октября дополнительно составил записку о материальном положении семьи (*СсД*, т. 9, с. 495—497). 8 октября конференция института обратилась в Министерство народного просвещения с просьбой удовлетворить прошение Добролюбова. Однако товарищ министра народного просвещения П. А. Вяземский не согласился с мнением конференции института. Считая, что следует дать Добролюбову возможность полностью закончить институтский курс, он обратился с письмами к директору Нижегородского дворянского института И. С. Сперанскому (письмо не издано; *ЦГИА*, ф. 773, оп. 93, № 124339, л. 4) и архиерею Иеремии (Красный архив, 1936, № 2 (75), с. 152—153) с просьбой помочь сиротам. В этих условиях Добролюбов решил продолжать учиться в институте на общих основаниях.

[2] См. с. 357, коммент. 6 наст. изд.

[3] Летом 1850 г. Добролюбов вместе с Д. И. Соколовым, В. В. Лаврским и М. Е. Лебедевым помогал учителю естествознания Л. И. Сахарову в собирании зоологической коллекции. За эту работу ему и его товарищам была объявлена благодарность (Мир божий, 1902, № 6, с. 13—15; Литературный вестник, 1902, № 4, с. 423).

[4] Об этом см.: Егоров Б. Ф. Н. А. Добролюбов — собиратель и исследователь народного творчества Нижегородской губернии. Горький, 1956; Пословицы, поговорки Нижегородской губернии (Записи Н. А. Добролюбова).— В кн.: Пословицы, поговорки и загадки рукописных сборников XVIII—XX вв. М.—Л., 1961, с. 119—138, 263—267.

М. Е. ЛЕБЕДЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

(Стр. 30—36)

Митрофан Ефимович Лебедев один из ближайших друзей Добролюбова по Нижегородской семинарии.

Лебедев выделялся из общей массы семинаристов: он писал стихи, рисовал, занимался скульптурой, увлекался физикой, меха-

никой и естествознанием. В первом и единственном номере семинарского рукописного журнала «Ахинея» Добролюбов поместил обширную разносную рецензию на стихи Лебедева, написанные в духе Бенедиктова. «На Лебедеве сделал я первую пробу моего критического таланта»,— писал впоследствии Добролюбов (*СсД*, т. 8, с. 535). В 1854 г., окончив семинарию, Лебедев стал преподавать в Нижегородском печерском духовном училище. Тогда же Добролюбов характеризовал его: «...славный малый, но — семинарист и ужасный фантазер» (*СсД*, т. 9, с. 160).

В 1856 г. Лебедев сделал изобретение, связанное с ускорением скорострельности ружей и предложил его военному ведомству. Он был вызван в Петербург и определен на службу секретарем правления Сестрорецкого оружейного завода.

И в Петербурге Лебедев поддерживал дружеские отношения с Добролюбовым. В 1857 г. Добролюбов в своем дневнике отметил перемену, происшедшую в Лебедеве: «Митрофан мой не то, что был прежде. Два года тому назад читал я ему стихи «Русскому царю» (П. Л. Лаврова.— *С. Р.*), и он ужасался, теперь он готов и даже стремится читать все, что только может указать ему истину, и просил меня руководить его чтениями» (*СсД*, т. 8, с. 536). Добролюбов давал ему читать «Полярную звезду» и «Тюрьму и ссылку» Герцена, стихи Гейне и ряд других книг.

Во время предсмертной болезни Добролюбова Лебедев ухаживал за ним, как свидетельствует Чернышевский, «с неутомимою заботливостью самого любящего родного брата» (*Материалы*..., с. 95, сн.). Его воспоминания написаны сразу же после смерти Добролюбова по просьбе Чернышевского.

Три письма Лебедева к Добролюбову 1856—1857 гг. опубликованы в изд.: Литературный архив, 1953, т. 4, с. 73—76.

Печатается по тексту: журн. *Совр.*, 1862, № 1, отд. I, с. 266—271, 274, где было опубликовано впервые в статье Чернышевского «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова».

[1] Ректор духовного училища протоиерей И. И. Лебединский. О его взяточничестве пишет и бывший семинарист А. Л. Катанский (Воспоминания старого профессора (с 1847 по 1913 гг.). Пг., 1914, вып. I, с. 14—15).

[2] Сохранившиеся семинарские оценки Добролюбова опубликованы в статье Тихонова «К биографии Добролюбова» (Мир божий, 1897, № 11, отд. 2, с. 24—28).

[3] Об этом см.: Кружков В. С. Н. А. Добролюбов. Жизнь. Деятельность. Мировоззрение. М., 1976, с. 21—32. См. также: *Арх. Добр.*, № 69—72.

[4] Учитель Тентетникова, героя второго тома «Мертвых душ».

[5] Добролюбов выбрал Петербургскую духовную академию самостоятельно и поехал туда в неположенный (нечетный) год, надеясь сразу или вскоре перейти в светское учебное заведение. На экзамены в духовную академию он не явился.

И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

(Стр. 36—46)

Иван Максимович Сладкопевцев (1825—1887) преподавал в Нижегородской духовной семинарии с октября 1851 по октябрь 1852 г. 7 февраля 1852 г. Добролюбов знакомится со Сладкопевцевым и начинает у него бывать.

В «Обзоре бумаг» первого тома *Материалов...* Чернышевским дана характеристика Сладкопевцева, остающаяся в силе и до наших дней. Чернышевский указал, что дружба со Сладкопевцевым укрепляла «в младшем друге добрые чувства, помогая юноше твердо выносить печаль, составлять благоразумные планы. В этом отношении дружба с И. М. Сладкопевцевым, несомненно, была очень полезна для Добролюбова. Но только в этом отношении. На развитие понятий Добролюбова И. М. Сладкопевцев не имел влияния: это ясно из сравнения той части дневника 1852—1853 гг. которая была писана Николаем Александровичем до знакомства с И. М. Сладкопевцевым, и той части, которая написана после отъезда его» (*Материалы...*, с. 660).

Имя Сладкопевцева не раз встречается в дневнике; кроме того, Добролюбов послал своему старшему другу длиннейшее письмо-исповедь. Оно писалось долго: начато было 31 декабря 1852 г., продолжалось 6 и 15 января 1853 г., а заканчивалось 6, 8 и 10 июля, т. е. незадолго до отъезда в Петербург (*СсД*, т. 9, с. 19—28).

Печатается по тексту: *ЛН*, 1936, т. 25—26, с. 318—324, где было опубликовано впервые.

[1] Речь идет о преподавателе семинарии Андрее Егоровиче Востокове.

[2] Курс духовной семинарии состоял в то время из трех двухгодичных классов, которые в быту назывались: «словесность», «философия» и «богословие».

[3] Имеется в виду профессор богословия и инспектор семинарии Паисий (П. Л. Понятовский). В августе или сентябре 1852 г. Добролюбов записал на особом памятном листке «замечательные изречения» своего наставника (см. *СсД*, т. 8, с. 572—573). В дневнике

Добролюбова — ряд записей об этом «педанте, глупце из глупцов», вздорные рассказы которого «суждено выслушивать каждый день по два часа».

[4] Скорее всего речь идет об А. Е. Востокове (см. выше и ср. *СсД*, т. 8, с. 429—430, 442). В «реестрах» читанных Добролюбовым в феврале — марте 1851 г. книг есть строки о том, что свои лекции Востоков «сдул» из «Курса психологии» И. Кедрова (*СсД*, т. 8, с. 400; Рейсер С. А. Добролюбов в Нижнем Новгороде. 1836—1853. Горький, 1961, с. 99—100).

[5] Это письмо Сладкопевцева неизвестно.

[6] Некролог напечатан в ноябрьской книжке журнала (см. с. 307—312, наст. изд.).

П. И. МЕЛЬНИКОВ-ПЕЧЕРСКИЙ

ЗАМЕТКА О ПОКОЙНОМ Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ (К ИЗДАТЕЛЮ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»)

(Стр. 46—47)

Известный писатель Павел Иванович Мельников (псевдоним — Андрей Печерский; 1819—1882) родился и жил до 1852 г. в Нижнем Новгороде. В конце 1852 г. он переехал в Петербург. Насколько можно судить, в столице Мельников и Добролюбов не встречались.

Печатается по тексту: газ. «Северная пчела», 1861, 25 ноября, № 264, с. 1100, где было опубликовано впервые.

[1] А. И. Добролюбов умер 6 августа 1854 г.

[2] См. с. 333, коммент. 2 наст. изд.

В. И. ГЛОРИАНТОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ

(Стр. 47—50)

Почти никакими биографическими данными о сыне нижегородского священника и брате профессора Петербургской духовной академии Василии Ивановиче Глориантове мы не располагаем. Его воспоминания о Добролюбове не во всем достоверны. Будучи прочитаны на заседании Нижегородской губернской ученой архивной комиссии 5 мая 1902 г., они тогда же вызвали возражения. Председатель комиссии А. А. Савельев, полемизируя с их автором, заметил, что «сообщение отличается односторонностью и к нему надо относиться с известной осторожностью» (Журналы и доклады. Заседания LVIII—LXVIII с 25 мая 1901 по 2 марта 1903 г. Нижний

Новгород, 1903, с. 42 (Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии).

Едва ли не самым ценным в публикуемых воспоминаниях являются их заключительные строки — рассказ о том, что Добролюбов во время приезда в Нижний Новгород «литератором» (речь может идти только о приезде в июне 1857 г.) в беседе с преподавателем семинарии Л. И. Сахаровым сообщил о том, что он является корреспондентом «Колокола».

Сам по себе этот факт кажется вполне возможным. Однако категорически утверждать что-либо все же трудно: кроме статьи «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны», не имеющей ничего общего с нижегородской тематикой, никакие другие материалы Добролюбова в «Колоколе» пока не выявлены.

Печатается по тексту первого издания: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. Гослитиздат, 1961, где было напечатано полностью впервые по автографу *ЦГАЛИ*.

[1] 26 февраля 1853 г. А. И. Добролюбов подал архиерею соответствующее прошение (*СсД*, т. 8, с. 452—453).

[2] Неверно; см. с. 334, коммент. 1 наст. изд.

[3] Добролюбов никогда не отличался светскими манерами — они могли казаться таковыми лишь тем «бурсакам», о которых упоминает Глориантов; утверждение автора о значительной роли В. А. Трубецкого и его семьи в формировании взглядов Добролюбова преувеличено; французский язык он знал до 1853 г. плохо и на вступительном экзамене в Главном педагогическом институте получил единицу.

[4] Глориантов принимает всерьез шутку Добролюбова. См. с. 114 наст. изд.

[5] Никаких сведений об этом плане не сохранилось.

[6] Об этом см. выше в биографической заметке о Глориантове.

В ПЕТЕРБУРГЕ. В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

М. И. ШЕМАНОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 1853—1857 ГОДОВ

(Стр. 51—91)

Михаил Иванович Шемановский (1836—1865) — студент математического факультета Главного педагогического института, один из самых близких друзей Добролюбова. Ему читались секретнейшие стихи на политические темы, он знал об анонимном стихотвор-

ном послании Александру II, отправленном на имя министра двора В. Ф. Адлерберга, о памфлетах, обличающих директора института И. И. Давыдова. Именно Шемановскому мы обязаны тем, что знаем статью Добролюбова «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны», напечатанную в «Колоколе».

Верность Добролюбову Шемановский сохранил навсегда: когда в 1857 г. в институте возникла сплетня о якобы ренегатских поступках Добролюбова, он был одним из немногих, кто ей не поверил.

Дружба с Добролюбовым способствовала развитию Шемановского, определила его жизненные взгляды. Это видно из воспоминаний Шемановского, которые являются одним из наиболее важных источников биографии Добролюбова, отличающегося редкой и завидной точностью.

По окончании института Шемановский был назначен старшим учителем в Ковенскую гимназию (в марте 1859 г. ему удалось перевестись в Вятку), и друзья расстались. Вскоре у Шемановского начались ссоры с начальством, которое преследовало его за то, что он «властей не уважает». Он никак не может свыкнуться с гнетущей обстановкой провинциальной жизни, его письма к Добролюбову (7 писем 1857—1860 гг. напечатаны в *Материалах...* и 8 писем 1857—1861 гг.— в журнале «Литературный критик», 1936, № 2) — крик отчаяния гибнущего человека. Шемановский обращается к Добролюбову за поддержкой, помощью и советом.

Добролюбов откликнулся на призыв друга и в ряде писем (7 писем 1858—1860 гг. см. в *СсД*, т. 8) постарался оказать ему поддержку, сохранить в нем бодрость, стремление к честной деятельности. Он устраивает работы Шемановского в «Журнале для воспитания» (статьи «Об улучшении материального быта наших учителей в провинциальных училищах» (1858, № 11) и «Способ математика Кунце для решения неопределенных уравнений 1-й степени» (1859, № 9), в *Совр.* (рецензия на книгу П. А. Ефремова «Наглядное изложение предварительных понятий о геометрии», 1860, № 4), зовет его перебраться в Петербург, делает конфидентом своих революционных планов.

Печатается по тексту: *ЛН*, 1936, т. 25—26, с. 271—298 (одновременно: Год девятнадцатый. Альманах девятый. М., 1936, с. 390—425), где было опубликовано впервые.

[1] Шемановский имеет в виду два отрывка из дневника Добролюбова 1857 г. от 15 и 25 января, посвященные Щеглову и опубликованные Чернышевским в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» (*Совр.*, 1862, № 1; *ПссЧ*, т. 10, с. 52—53; *СсД*, т. 8, с. 531, 545).

[2] В издании *Аничкова* (т. 9, с. 2) эта фамилия расшифрована «Львов».

[3] То есть запрещенные цензурой.

[4] Среди бумаг Добролюбова в *ГПБ* хранятся черновики расчетов по подписке на 1856 г. Подписка на журнал стоила каждому участнику 1 р. 50 коп., на газету — 50 коп. (*Арх. Добр.* № 111). Начало коллективной подписки относится к 1854 г. (*см. СсД*, т. 8, с. 105).

[5] Подписей Добролюбова под его статьями никогда не было, но основная масса читателей «Современника» знала самые частые его псевдонимы — «бов» и «Лайбов» (Никол*ай* Добролю*бов*).

[6] Это прошение неизвестно.

[7] Текст этого прошения см. в *СсД*, т. 9, с. 497—499. См. также с. 336, коммент. 1 наст. изд.

[8] Ср.: Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2-х т. М., 1965, т. 1, с. 143.

[9] Вирхов Р. Патология, основанная на теории ячеек. Целлюлярная патология. М., 1859. Издана редакцией «Московской медицинской газеты», а не Медицинским департаментом, как пишет Шемановский. В заметке «О русском переводе «Целлюлярной патологии «Вирхова» (Русский вестник, 1859, декабрь, кн. 2, Современная летопись, с. 303) Я. Розенблат сообщает, что «перевод первых тринадцати чтений» сделан им совместно с И. Чацким, а «заглавие, предисловие, и последние семь чтений переведены не нами». Имя этого лица в заметке не названо. Не исключено, что им был Паржницкий. Кроме того, Паржницкий принимал участие в переводе «Руководства частной фармакологии» Ю. Кларуса (Казань, 1863). Ср. *СсД*, т. 9, с. 337, 577.

[10] В апреле 1861 г. в селе Бездна Казанской губернии возникли крестьянские волнения. Руководимое крестьянином Андреем Петровым движение было жестоко подавлено войсками под начальством А. С. Апраксина.

[11] О ком идет речь, не установлено.

[12] По-видимому, Паржницкий имеет в виду Августина Янковского — товарища Добролюбова по Главному педагогическому институту.

[13] Карамзин цитирует слова Тацита «Первые дни по смерти тирана бывают счастливейшими для народа» (История Государства Российского, т. 10, гл. 1).

[14] Имеется в виду стихотворение «18 февраля 1855 года» (*СсД*, т. 8, с. 24—25, 609—610).

[15] Имеется в виду стихотворение «17 апреля 1856 года», см. ниже коммент. 20.

[16] Имеется в виду написанная Добролюбовым и переданная Вяземскому (предположительно в марте 1856 г.) записка (описание) о беспорядках в Главном педагогическом институте. Местонахождение рукописи и ее содержание — неизвестны.

[17] О нем см. запись в дневнике Добролюбова от 25 января 1856 г. (*СсД*, т. 8, с. 545—546).

[18] Обнаруженные материалы подтверждают рассказ Шемановского (Б о г р а д В. Э. Эпизод из студенческой жизни Добролюбова.— Ученые записки Горьковского гос. ун-та, 1965, вып. 71, с. 268—274).

[19] Такое объявление действительно появилось в газете «Московские ведомости» (1856, № 111, 15 сентября). Эпизод, подтверждающий точность рассказа Шемановского, изложен Добролюбовым в его статье в «Колоколе» — «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны» (*СсД*, т. 1, с. 302—308) и в письме к Турчанинову от 11 июня 1859 г. (*СсД*, т. 9, с. 363—368).

[20] Указание Шемановского, будто приведенными стихами начинается стихотворение «26 августа»,— ошибочно. 26 августа 1856 г. состоялась коронация Александра II. Между тем в стихотворении идет речь об иллюминации по случаю его дня рождения, происходившей 17 апреля. Стихотворение «17 апреля 1856 года» числится в собственноручном списке политических стихотворений Добролюбова. Оно было послано автором В. Ф. Адлербергу для передачи Александру II. Полный текст его до 1957 г. оставался неизвестным (*СсД*, т. 8, с. 37—40, 613).

[21] Из называемых Шемановским трех стихотворений известно только одно — «Газетная Россия» (*СсД*, т. 8, с. 31—33, 611—612).

[22] Имеется в виду рецензия Добролюбова (без подписи) на изданные институтом в 1856 г. две книги: «Описание Главного педагогического института...» и «Акт девятого выпуска студентов Главного педагогического института 21 июня 1856 г. СПб., 1856» (*Совр.* 1856, № 8; *СсД*, т. 1, с. 176—181, 569—570).

[23] Речь идет о статье Чернышевского «В изъявление признательности. Письмо к г. З—ну» (*ПссЧ*, т. 10, с. 117—124).

[24] Срезневский Измаил Иванович — знаменитый филолог-славист, академик, профессор Петербургского университета и Главного педагогического института очень приветливо отнесся к молодому студенту, показавшему ему собранный им список областных слов. Под его руководством Добролюбов выполнил несколько филологических работ. Срезневский помог Добролюбову в истории с найденными у него сочинениями Герцена, защищал от мстительных нападок директора института И. И. Давыдова и т. д. Летом 1856 г. Добролюбов жил на квартире Срезневского, приводя в порядок его

библиотеку и выполняя секретарскую и литературную работу: Срезневский поручил Добролюбову составление указателей к некоторым изданиям Академии наук.

Б. И. СЦИБОРСКИЙ

ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 10 ФЕВРАЛЯ 1862 Г.

(Стр. 91—113)

Борис Иванович Сциборский (1833?—1896) — один из ближайших друзей Добролюбова по Главному педагогическому институту. Дружба со Сциборским началась сразу же по поступлении Добролюбова в институт, то есть в 1853 г.

В воспоминаниях Сциборского ярко и точно охарактеризована атмосфера студенческого кружка 1853—1857 гг., во главе которого стоял Добролюбов. В этот кружок входило человек десять—пятнадцать: Бордюгов, Шемановский, Сциборский, Михайловский, Щеглов, Радонежский, Турчанинов, Паржницкий, Сидоров, Янковский, Львов — первые четверо поддерживали связи с Добролюбовым и по окончании института.

Программа кружка определилась как борьба с злоупотреблениями начальства и отсталой системой преподавания. А этим определилась, в свою очередь, и вторая задача — самообразование. И уже отсюда на некоторой ступени зрелости (подпольная газета «Слухи» — показатель этого быстрого роста) появились общие задачи борьбы с устоявшимся и косным бытом, а затем уже и борьба с религией и выработка своей политической системы, противопоставляемой существующей.

Сциборский всегда пользовался полным доверием Добролюбова, принимал активное участие в добролюбовском кружке; сомневаться в искренности его побуждений и чувств не приходится.

Даже когда между друзьями в 1857 г. наступило временное охлаждение (о причинах его см. на с. 86—90), Добролюбов продолжал уважать волевого, собранного Сциборского и не хотел думать, что они навсегда стали врагами. В письмах к нему Добролюбов подчеркивал: «полный прежнего уважения к тебе», «никогда не перестававший уважать тебя» и пр. (*СсД*, т. 9, с. 284, 296).

После примирения, осенью 1859 г., Добролюбов особенно искал основания дружбы «в единстве и общности начал нашей публичной деятельности» (*СсД*, т. 9, с. 388) — другими словами рассчитывал на активную работу Сциборского в подготовлявшейся им конспиративной организации с революционной программой. Этим надеждам

не суждено было осуществиться (см.: Рейсер С. А. К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова.— Известия АН СССР. Отделение истории и философии, 1952, № 1, с. 52—60).

Известно три письма Добролюбова к Сциборскому 1857—1859 гг. (*СсД*, т. 9) и три письма Сциборского к Добролюбову 1856—1860 гг. (*ЛН*, т. 25—26, с. 340—342).

Печатается по тексту: *ЛН*, 1936, т. 25—26, с. 300—314, где было опубликовано впервые.

[1] Добролюбов находился в институтском лазарете по болезни с 21 по 23 декабря. Кроме того, в связи с историей со стихами на юбилей Греча, он был арестован в лазарете, заменявшем карцер, в конце декабря 1854 г. Едва ли не этот случай и имеет в виду Сциборский.

[2] Этот отрывок из дневника Добролюбова неизвестен.

[3] То есть партия сторонников инспектора А. Н. Тихомандритского и партия старшего надзирателя А. И. Смирнова — ближайшего помощника директора И. И. Давыдова и ревностного исполнителя его указаний.

[4] Имеется в виду А. Н. Тихомандритский.

[5] То есть директор института И. И. Давыдов.

[6] См. с. 361, коммент. 30 наст. изд.

[7] См. с. 342, коммент. 22 наст. изд.

[8] Сохранившиеся отрывки переводов Добролюбова из Фейербаха опубликованы в *ЛН*, т. 25—26, с. 243—244.

[9] Об этом см. коммент. 11.

[10] Сциборский излагает содержание передовой статьи «Слухов», действительно пользуясь рядом выражений Добролюбова.

[11] Всего вышло 19 номеров газеты; № 11 и 18 не сохранились. 14 номеров написаны рукою Добролюбова и 3 — рукою его институтского товарища Турчанинова (*СсД*, т. 1, с. 108—158).

[12] Это стихотворение Добролюбова («Жалоба ребенка») написано в 1856 г. и впервые опубликовано в *Совр.* (1862, № 1, отд. I, с. 325—326). Им Некрасов начал чтение стихотворений Добролюбова на вечере в зале 1-й гимназии 2 января 1862 г. Текст Сциборского неточен (см. *СсД*, т. 8, с. 42).

[13] Этот отрывок неизвестен.

[14] См. с. 67 наст. изд.

[15] Имеются в виду два письма Добролюбова к Сциборскому: 6 июля 1857 г. и декабря 1857—начала января 1858 г. (*СсД*, т. 9, с. 283—284, 295—296).

[16] Об этой размолвке, за которой примирение произошло лишь два года спустя, см. в воспоминаниях Шемановского (с. 88—90 наст. изд.).

[17] Это письмо Добролюбова к Сциборскому от сентября (?) 1859 г. (*СсД*, т. 9, с. 387—388).

[18] В. И. Добролюбову, дяде Н. А. Добролюбова.

А. А. РАДОНЕЖСКИЙ

‹ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ›

(Стр. 113—122)

Александр Анемподистович Радонежский (1834—1911) сошелся с Добролюбовым после поступления в Главный педагогический институт; с 1854 г. входил в добролюбовский кружок и был вовлечен в общий водоворот институтской жизни. Именно Радонежскому мы обязаны сохранением нескольких номеров подпольной рукописной институтской газеты «Слухи».

В конце декабря 1856 г. Добролюбов носил к Чернышевскому повесть Радонежского. Повесть была отвергнута, потому что «она очень бедна и, кажется, ничего в ней нет» (*СсД*, т. 8, с. 546—547). Несколько вялый и угрюмый («Буй-тур из Пущи Беловежской», как он назван в стихотворении Добролюбова конца 1854 г.), Радонежский никогда не выдвигался в первые ряды ни в учении, ни в общественной жизни.

Печатается по тексту: журн. *Совр.*, 1862, № 1, отд. I, с. 301—309, где было опубликовано впервые в статье Чернышевского «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова».

[1] См. с. 50 и коммент. 4 на с. 339 наст. изд.

[2] По математике и физике Добролюбов на экзаменах получил 3, по географии — $3^1/_2$, а по французскому языку — 1; все экзаменационные оценки см. в *Летописи...*, с. 66.

[3] «Mystères de Paris» — популярный роман французского писателя Э. Сю (1804—1857).

[4] В Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина сохранился ряд составленных Добролюбовым конспектов лекций (*Арх. Добр.*, № 116—139). Из пародийных записок сохранились «Заметки и размышления по поводу лекций С. И. Лебедева» (*СсД*, т. 8, с. 575—596).

[5] Добролюбов читал «Заметки о журналах» Чернышесного в № 1 «Современника» за 1857 г. (*СсД*, т. 8, с. 523).

[6] Это столкновение произошло с однокурсником Н. П. Авенариусом 9 января 1857 г. Добролюбов подробно рассказал о нем в дневниковой записи (*СсД*, т. 8, с. 523). Авенариус отомстил Добролюбову нелепой басней «Освобождение диких зверей из зверин-

цев». Текст этой басни Добролюбов снабдил своим эпиграфом и примечаниями (т а м ж е, с. 408—409, 651).

[7] Знакомство с Чернышевским относится приблизительно к апрелю 1856 г. Рассказ Радонежского недостоверен: в это посещение «Современника» Добролюбов был принят И. И. Панаевым.

[8] То есть в последнем классе товарного поезда (см. *СсД*, т. 9, с. 157 и с. 161, коммент. 2 и 3).

[9] Повесть Григоровича «Пахарь» напечатана в № 3 «Современника» за 1856 г.

[10] «Параша-Сибирячка» — пьеса Н. А. Полевого (1840).

[11] В дневнике от 29 января 1857 г. Добролюбов записал: «Максимов играл Чацкого отвратительно» (*СсД*, т. 8, с. 551).

[12] См. с. 87 наст. изд.

А. П. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

(Стр. 122—138)

Александр Петрович Златовратский (ум. в 1863 г.) никогда не был в числе близких друзей Добролюбова: едва ли он являлся участником добролюбовского кружка в Главном педагогическом институте. Тем не менее влияние Добролюбова оказалось настолько значительным, что определило мировоззрение Златовратского на всю жизнь. В середине 1857 г. он писал Добролюбову: «...я тогда только был хорош и буду таким, когда был связан товариществом с тобой и твоей шайкой и когда не прервется эта связь и по выходе из института» (*Материалы...*, с. 379).

Видимо, Златовратский не очень ясно представлял себе действительный характер своих отношений с Добролюбовым и явно преувеличивал их близость. Между тем Добролюбов никогда не делал попыток ввести его в круг тех проблем, которые постоянно затрагиваются в переписке с Шемановским и Бордюговым, то есть со всем тем, что было связано с подготовкой подпольной революционной организации.

Из воспоминаний видно, что Златовратский не знал таких важных обстоятельств жизни Добролюбова, как начало сотрудничества в «Современнике», истории со стихами на юбилей Греча и т. д.

В августе 1861 г., после поездки за границу, на обратном пути из Нижнего Новгорода в Петербург, Добролюбов ненадолго остановился во Владимире повидаться со Златовратским. Во время этого визита он дал обещание участвовать в затевавшейся во Владимире газете — этот план не осуществился (З л а т о в р а т с к и й А. П. Воспоминания. М., 1956, с. 132—133).

Воспоминания Златовратского о Добролюбове остались неоконченными. Они были написаны в 1862 г. по предложению Чернышев-

ского, но посланы ему не были. Текст этих воспоминаний был до сих пор известен только в кратком изложении его племянника — известного писателя-народника Николая Николаевича Златовратского. На основании получерновой и незаконченной рукописи своего дяди он создал сокращенный вариант, опубликованный в «Юбилейном сборнике Литературного фонда. 1859—1909» (СПб., 1910, с. 464—473) под заглавием: «Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове».

В настоящем издании публикуется полный текст подлинной рукописи А. П. Златовратского. Кроме того, воспроизводится бывший уже в печати отрывок из письма А. П. Златовратского к Чернышевскому; в примечаниях к *Материалам...* Чернышевский дал небольшой очерк, характеризующий отношения Златовратского и Добролюбова (с. 437—439).

Девять писем Добролюбова к Златовратскому 1857—1860 гг. напечатаны в *СсД* (т. 9); шесть писем Златовратского к Добролюбову тех же лет опубликованы в *Материалах...*, семь писем за эти же годы остаются неизданными (*Княжнин*, № 195).

1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Впервые — Русская литература, 1961, № 2, с. 174—182.

Печатается по первому изданию: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, Гослитиздат, 1961, где было опубликовано по автографу *ЦГАЛИ*. Квадратными скобками обозначены зачеркнутые в рукописи места.

[1] По имени проживавшего в ней однокурсника Добролюбова Петра Синева.

[2] В 1853—1854 гг. Добролюбов занимался изучением «Энеиды» и сравнением ее с напечатанным в *Совр.* (1852, № 11, 12; 1853, № 1—12) русским переводом И. Г. Шершеневича. Эту работу Добролюбова см. в *СсД* (т. 1, с. 8—61).

[3] Прозвище И. И. Давыдова.

[4] «Известия имп. Академии наук по отделению русского языка и словесности».

[5] Никаких других сведений о знакомстве Добролюбова с М. Ф. Архангельским нет. Под упоминаемым далее в тексте «профессором» подразумевается С. И. Лебедев, на которого Добролюбов написал пародийные «Заметки и размышления по поводу лекций Степана Исидоровича Лебедева» (*СсД*, т. 8, с. 575—596, 679—680).

[6] Курс педагогики в институте читал Н. А. Вышнеградский.

[7] Одна из старейших библиотек Петербурга, основанная

в 1815 г. В. А. Плавильщиковым, в 1823 г. перешедшая к А. Ф. Смирдину, а в 1840-х гг.— к П. И. Крашенинникову.

[8] См. с. 341, коммент. 4 наст. изд.

[9] Листовка «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству...» (1853) принадлежит Герцену. Листовки «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон...» и «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому вторично шлет низкий поклон» (1854) написаны В. А. Энгельсоном. Все эти листовки выпущены Вольной русской типографией Герцена в Лондоне. Автор стихотворения «Русский царь» (в других списках — «Русскому царю», «К русскому царю», «Отзыв на манифест») — П. Л. Лавров.

[10] Прокламация «К русским войскам в Польше» издана в 1863 г. Следовательно, о ней при жизни Добролюбова речь идти не могла.

[11] Автор этого стихотворения, приписывавшегося Некрасову, Н. А. Арбузову, И. И. Лажечникову и др., как это недавно установлено, В. Р. Зотов (Гаркави А. М. Безыменные стихотворения Владимира Зотова.— В сб. «Н. А. Некрасов и его время». Калининград, 1976, вып. 2, с. 74—79). Напечатано впервые в «Колоколе» (1857), 20 октября/1 ноября, лист 5, с. 42).

[12] Добролюбов должен был всячески скрывать свое авторство (см. с. 145—146) — Златовратский в числе доверенных лиц не был.

[13] Прозвище надзирателя института А. И. Смирнова.

[14] А. Н. Тихомандрицкий.

[15] См. с. 95—96 наст. изд.

[16] В 1855 и 1856 гг. Добролюбовым были составлены указатели к 4-му и 5-му томам «Известий имп. Академии наук по отделению русского языка и словесности». На титульном листе 5-го тома его имя значится в числе «посторонних ученых», участвующих в издании.

[17] По-видимому, Златовратский имеет в виду «библиографические примечания» Лайбова к «Дружеской переписке Москвы с Петербургом», в которых, однако, статья Добролюбова о «Собеседнике любителей российского слова» не упоминается (*СсД*, т. 7, с. 423—434).

[18] Тургенев в это время жил в Париже и 25 октября/6 ноября 1856 г. запрашивал Боткина: «Кто такой г-н Лайбов, автор статьи о «Собеседнике»?» (*ПссТ*, Письма, т. 3, с. 23). А 29 октября/10 ноября он писал Панаеву: «...статья Лайбова весьма дельна (кто этот Лайбов?)» (там же, с. 27).

[19] В статье Панаева «По поводу похорон Н. А. Добролюбова» рассказывается о похвалах Добролюбову на вечере у попечителя С.-Петербургского учебного округа Г. А. Щербатова (см. с. 298 наст. изд.).

[20] Историю статей о Буслаеве и Фете, от второй из которых сохранилось лишь самое начало, см. в *СсД* (т. 1, с. 64—80, 309, 555—556, 577).

[21] Буслаев Ф. И. Русские пословицы и поговорки.— В кн.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. В. Калачовым. М., 1854, т. 2, половина вторая, отд. IV, с. 1—176.

[22] Неточная цитата. У Фета: «Серебро и колыханье//Сонного ручья».

[23] Имеется в виду статья Чернышевского «Полемические красоты. Коллекция вторая» (*Совр.* 1861, № 7; *ПссЧ*, т. 7, с. 740—752).

[24] В статье Добролюбова о Буслаеве есть иронические слова: «...что мешает мне из пословицы: «Вот тебе помои — умойся, вот тебе онуча — утрися, *вот тебе лопата — помолися*», вывести поклонение лопате?» (*СсД*, т. 1, с. 78).

[25] Этот рассказ недостоверен; см. с. 143—146 наст. изд.

[26] Имеются в виду «Очерки гоголевского периода русской литературы» (*Совр.* 1855, № 12; 1856, № 1, 2, 4, 7, 9—12; *ПссЧ*, т. 3, с. 5—309).

II. ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 10 ФЕВРАЛЯ 1862 г. СУББОТА

Печатается по тексту: *Шестидесятые годы*, с. 59, где было опубликовано впервые.

[1] В римской мифологии богиня войны.

[2] Это письмо Добролюбова к Златовратскому неизвестно.

Д. В. АВЕРКИЕВ

РУССКИЙ ПУБЛИЦИСТ (ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА)

(Стр. 138—139)

Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905) — драматург, поэт, беллетрист, критик и публицист.

Добролюбов познакомился с Аверкиевым в годы, когда последний учился на отделении естественных наук Петербургского университета (1853—1859). Они встречались в 1856—1857 гг. В дневнике 20 января 1857 г. Добролюбов признается, что Аверкиев для него «довольно загадочен. В первое время знакомства он очень мне нравился по своей живости, подвижности, любви к литературе. Но с течением времени все это потеряло для меня свою цену. Я уви-

дел, что он жив оттого, что по молодости пустоват, подвижен оттого, что ни на чем еще порядком не установился, видит литературу, не углубляясь в смысл ее, а восхищаясь удачными стихами, прекрасными картинами, ловкими фразами. Может быть, все это перемелется, но теперь пока с ним еще трудно провести несколько часов, не соскучившись нестерпимо» (*СсД*, т. 8, с. 538).

Впоследствии в своей литературной деятельности Аверкиев примкнул к консервативному лагерю.

Печатается по тексту: газ. «Русский инвалид», 1861, 1 декабря, № 267, с. 1105, где было опубликовано впервые.

[1] То есть посещение церкви.

[2] О ком идет речь, установить не удалось.

«СОВРЕМЕННИК». ПОЕЗДКА В СТАРУЮ РУССУ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(Стр. 140—167)

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) принадлежит к числу самых близких друзей Добролюбова.

Познакомились они не позднее апреля 1856 г. Добролюбов к этому времени, как это видно из дневника и мемуарных материалов, знал уже важнейшие работы Чернышевского.

Знакомство произошло через институтского товарища Добролюбова, члена его кружка, а в прошлом — ученика Чернышевского по саратовской гимназии Н. П. Турчанинова.

Чернышевский сам достаточно подробно описывает это знакомство, повлекшее за собою сотрудничество студента Главного педагогического института в «Современнике» и быстро переросшее в глубокую дружбу. К сказанному Чернышевским стоит добавить слова Добролюбова из его письма к Турчанинову от 1 августа 1856 г.: «Я до сих пор не могу привыкнуть различать время, когда сижу у него 〈. . .〉. С Н. Г. мы толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь; но в моем смысле — вся честь сравнения относится к Ник. Гавр. Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно» (*СсД*, т. 9, с. 248). Последние слова вскрывают политический смысл бесед ученика и учителя.

Чернышевский и Некрасов предоставили молодому сотруднику полную свободу действий в отделе критики и библиографии, а вскоре и ввели его в состав редакции журнала.

Преждевременная кончина Добролюбова была для Чернышевского огромным личным горем. Сразу же после смерти Добролюбова Чернышевский с присущей ему энергией начал пропагандировать его наследие. Чернышевскому принадлежит некролог, в котором впервые была дана общая оценка деятельности Добролюбова, политическая характеристика его критических выступлений, а также впервые был дан краткий перечень важнейших его работ: было названо шестьдесят статей и рецензий и семнадцать произведений в «Свистке».

Важное значение имели «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», напечатанные Чернышевским в № 1 «Современника» за 1862 г.,— здесь впервые был опубликован ряд воспоминаний, впервые были изданы отрывки из дневника и пр. В этой публикации содержалась, кроме того, острая полемика с теми реакционными и либеральными деятелями, которые объявили Добролюбова «человеком без души и сердца».

Одновременно Чернышевский начал подготовку Сочинений Добролюбова. Из задуманных пяти томов вышло четыре (СПб, 1862). Подробный анализ редакторской работы Чернышевского содержится в предисловии к Полному собранию сочинений Добролюбова (т. I. Л., 1934, с. V—XII).

Арест, каторга и ссылка на двадцать шесть лет прервали работу Чернышевского над наследием своего великого друга. Лишь в мае 1888 г. А. Н. Пыпин во время встречи с Чернышевским в Астрахани предложил ему от имени редактора «Русской мысли» В. А. Гольцева написать популярную биографию Добролюбова (Чернышевский Н. Г. Лит. наследие. М., 1930, т. 3, с. 564—568; *ПссЧ*, т. 15, с. 705—708).

Этот план не осуществился. По присланным Пыпиным материалам Чернышевский в № 1 и 2 «Русской мысли» за 1889 г. напечатал статью «Добролюбов по его письмам». Статья не была подписана, а в списке было обозначено: «Сообщено г. Андреевым».

Одновременно Чернышевский начал работу по подготовке первого тома «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова». В середине июля 1888 г. было получено согласие издателя К. Т. Солдатенкова, и в октябре Чернышевский приступил к выполнению этой работы. Надо было разобрать, а отчасти скопировать полученные из Петербурга материалы, собрать множество справок, восстановить старые связи с живыми еще петербургскими и нижегородскими родственниками и друзьями Добролюбова. Связь с Петербургом поддерживал сын — М. Н. Чернышевский, в Нижнем Новгороде

по заданию Чернышевского работал брат В. Г. Короленко — Илларион Короленко.

С начала апреля 1889 г. рукопись стала по частям пересылаться в Москву. С середины мая начались корректуры — Чернышевский успел просмотреть двадцать семь листов,— в июле часть была уже отпечатана, но увидеть книгу ему было не суждено: остался неосуществленным план подготовки второго тома и биографии Добролюбова.

Материалы... вышли в свет в 1890 г., притом, как писал Солдатенков Пыпину, «после многих затруднений и препятствий со стороны цензуры». Имя Чернышевского было снято с титульного листа и обложки и было названо лишь в предисловии, написанном Пыпиным.

Издание *Материалов...* было осуществлено с исключительной любовью и тщательностью и навсегда останется в числе основных источников для всех изучающих наследие Добролюбова.

Переписка Чернышевского с Добролюбовым сохранилась не полностью. Известны шесть писем Добролюбова к Чернышевскому 1858—1861 гг. (*СсД*, т. 9) и тридцать одно письмо Чернышевского к Добролюбову за эти же годы (*ПссЧ*, т. 14).

I. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Впервые — *Совр.*, 1862, отд. I, с. 256—266, 312—315. Печатается по тексту: *ПссЧ*, т. 10, с. 11, 53—55.

[1] В этой статье (*Совр.*, 1859, № 12) высмеивался диспут между экономистами и коммерческими деятелями — Смирновым и Н. П. Перозио, состоявшийся в Петербурге в зале «Пассажа», относительно деятельности «Русского общества пароходства и торговли», державшего в своих руках пароходство по Черному морю. Диспут проходил настолько бурно, что председательствующий известный финансист Е. И. Ламанский закрыл его, заявив, что «мы еще не созрели» для публичного обсуждения общественных дел.

[2] См. с. 263 наст. изд.

II. ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ ЗНАКОМСТВА С Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ

Впервые — Современный мир, 1911, № 11, с. 186—188.

Печатается по тексту: *ПссЧ*, т. 1, с. 755—757. Приложение к письму А. Н. Пыпину от 1 ноября 1886 г., в котором Чернышевский сообщал: «Я писал тебе, что приготовляю для тебя заметки о моем

знакомстве с Добролюбовым. Начал писать и посылаю все, что написал: $3^1/_2$ странички разгонистого текста!» (*ПссЧ*, т. 15, с. 611).

[1] Имеется в виду Д. Ф. Щеглов.

[2] История с обнаружением у Добролюбова заграничных изданий Герцена и стихов на юбилей Греча произошла в январе 1855 г. С Чернышевским Добролюбов познакомился в апреле 1856 г. Таким образом, прошло почти полтора года.

[3] Тем не менее до окончания института (в июне 1857 г.) Добролюбов все же изредка анонимно печатался в «Современнике». Иногда его работы помещались в составе разделов, принадлежащих перу Чернышевского: всего им было опубликовано пять статей и рецензий.

[4] См. с. 342, коммент. 22 наст. изд.

[5] Напечатан в составе «Заметок о журналах» Чернышевского («Современник», 1856, № 11, отд. V, с. 169—176; *СсД*, т. 1, с. 279—286, 673).

[6] Статья «О значении авторитета в воспитании» (в журнале под заглавием: «Несколько слов о воспитании (Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова)» напечатана в «Современнике» (1857, № 5). Она предназначалась для «Журнала для воспитания», но редактор этого журнала А. А. Чумиков не решился ее опубликовать.

III. ПИСЬМО А. Н. ПЫПИНУ. <ВИЛЮЙСК. 25 ФЕВРАЛЯ 1878 г.>

Впервые — в кн.: Чернышевский в Сибири. Переписка с родными. М., 1912, т. 3, с. 53—56.

Печатается по тексту: *ПссЧ*, т. 15, с. 138—140.

[1] Имеется в виду Тереза Карловна Грюнвальд, с которой Добролюбов был близок с зимы 1856 г. до начала 1860 г. В ее судьбе он, а потом Чернышевский принимали ближайшее участие. См.: *Летопись...*, с. 139; *СсД*, т. 8, с. 351.

[2] Это стихотворение (заглавие «Дорожная песня») написано 27 июля 1857 г., т. е. на год раньше тех событий, о которых говорит Чернышевский. Текст приведен неточно; см. *СсД*, т. 8, с. 59—60.

[3] Из Старой Руссы Добролюбов уехал приблизительно 10 августа 1858 г., 11—15 он пробыл в Москве, а 16 или 17 возвратился в Петербург (*Летопись...*, с. 190).

[4] См. с. 370, коммент. 1 наст. изд.

[5] Вероятно, эти слова надо понимать в том смысле, что Чернышевский не читал статей Добролюбова в рукописи, до появления их в печати.

[6] См. с. 357, коммент. 5 наст. изд.

IV. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ (ОТВЕТ НА ВОПРОС)

Впервые — Современный мир, 1911, № 6, с. 143—150 (с сокращениями); полностью — Литература и марксизм, 1928, № 4, с. 25—55.

Печатается по тексту: *ПссЧ*, т. 1, с. 723—733, 734—738, 740—741. Текст рукою А. Н. Чернышевского (диктант) с поправками Н. Г. Чернышевского. Воспоминания — приложение к письмам А. Н. и Ю. П. Пыпиным от 21 января 1884 г.

[1] См. с. 150 и с. 357, коммент. 5 наст. изд.

[2] Вероятно, память в этом случае изменила Чернышевскому. Разговор с Тургеневым мог происходить до выхода в свет книжки «Современника» со статьей Добролюбова, т. е. до 31 марта 1860 г. Чернышевский, разумеется, был в курсе всей истории печатания этой статьи. Получив корректуру первоначальной редакции статьи о «Накануне», вызвавшую у него ряд возражений, цензор В. Н. Бекетов 19 февраля пригласил Добролюбова для объяснений (Заветы, 1913, № 2, с. 96). Согласно воспоминаниям Панаевой (см. с. 184 наст. изд.) именно Бекетов ознакомил Тургенева с текстом этой статьи. Однако из письма Некрасова к Чернышевскому следует, что он «отдал ее Тургеневу» (*ПссН*, т. 10, с. 413). Как бы то ни было, статья Добролюбова вызвала резкий протест Тургенева и требование отказаться от ее публикации (подробнее см. *СсД*, т. 6, с. 490—493).

[3] Разрыв Добролюбова с Тургеневым явился результатом сложных идейных разногласий группы революционных демократов с либералами, точку зрения которых выражал Тургенев. Конфликт постепенно нарастал; конкретным поводом явилась статья Добролюбова о «Накануне». Подробный рассказ см. в статье Чернышевского «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым».

[4] Давно подготовлявшийся разрыв между Некрасовым и Тургеневым был формально вызван появлением в «Современнике» (1860, № 6) рецензии Чернышевского на книгу Н. Готорна «Собрание чудес...» (СПб., 1860). Не называя Тургенева по имени, Чернышевский достаточно ясно указал, что в «Рудине» дана карикатура на М. А. Бакунина. Тургенев письмом на имя Панаева от 1 октября 1860 г. уведомил о прекращении сотрудничества в «Современнике»; письмо это, переданное через Анненкова, не дошло до адресата, так как Анненков задержал его у себя,— он считал, что «при разгоревшейся ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пла-

мя» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 430). Автором этой рецензии Тургенев ошибочно считал Добролюбова.

[5] Под «странным недоразумением» имеется в виду статья Герцена «Very dangerous!!!» (Колокол, 1859, 20 мая/1 июня, лист 44), непосредственным поводом для появления которой явились статья Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» и второй номер «Свистка». В ней Герцен допустил ряд несправедливых выпадов против руководителей «Современника», обвиняя их в общественной слепоте, в потере «гражданского чутья», а развернутую ими борьбу с мелкотравчатым обличительством, едва ли не пособничеством правительству. По поводу этой статьи Чернышевский выехал за границу и нелегально посетил Лондон для объяснений с Герценом; истинная цель и место поездки держались в строгом секрете. О ней, несомненно, знали Некрасов, Добролюбов и, вероятно, И. И. Панаев и А. Я. Панаева.

[6] Имеются в виду заведующий хозяйственной частью «Современника» в 1856—1866 гг. двоюродный брат И. И. Панаева — Ипполит Александрович Панаев (1822—1901) и его брат, сотрудник журнала, инженер Валерьян Александрович Панаев (1824—1899).

[7] «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд)» было основано в 1859 г.

[8] Этот разговор с Тургеневым происходил на литературном вечере, организованном Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым 10 января 1860 г. (*ПссЧ*, т. 10, с. 123).

[9] Чернышевский, очевидно, имеет в виду статью «По поводу «Отцов и детей», впервые напечатанную в т. 1 сочинений Тургенева в изд. 1869 г. (см. *ПссТ*. Сочинения, т. 14, с. 97—109).

[10] См. с. 262, 369 наст. изд.

[11] Вопрос о прототипе Базарова не может считаться решенным; сколько-нибудь подробных сведений о провинциальном медике Дмитриеве, о котором Тургенев писал в заметке «По поводу «Отцов и детей» нет. Сводку некоторых данных и гипотез о Добролюбове, В. И. Якушкине, Л. Н. Толстом и др. как прототипах Базарова см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Изд. 2-е, испр. и доп. Сочинения. М., 1981, т. 7, с. 436—456.

[12] В статье «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» (Современник, 1862, отд. I, с. 293; *ПссЧ*, т. 10, с. 35—36) Чернышевский называет «тупоумными глупцами» и «дрянными пошляками» тех, кто считал Добролюбова «человеком без души и сердца»,— возможно, что речь идет именно об этом месте (Современник, 1862, № 1, отд. I, с. 293; *ПссЧ*, т. 10, с. 36).

[13] Чернышевский ошибается. Указанный в предыдущем коммент. выпад был сделан до выхода романа «Отцы и дети».

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 167—195)

Авдотья Яковлевна Панаева (по второму мужу Головачева; 1819—1893), познакомилась с Добролюбовым, вероятно, в 1857 г., но дружба между ними началась летом 1858 г., когда Добролюбов посетил Некрасова на даче под Петергофом. Вскоре Панаева оказалась в числе ближайших друзей Добролюбова, посвященных не только в литературные, но и в интимные стороны его жизни. Достаточным доказательством их дружбы может служить то, что тяжелобольной Добролюбов, почувствовав приближение смерти, решился вызвать Панаеву из Парижа в Петербург. С начала октября и до его смерти она самоотверженно ухаживала за ним. В посвящении Панаевой посмертного Собрания сочинений великого критика, Чернышевский с полным основанием мог написать: «Ваша дружба всегда была отрадою для Добролюбова. Вы с заботливостью нежнейшей сестры успокаивали его больного. Вам он вверял свои последние мысли, умирая...»

Яркие и живые воспоминания Панаевой по праву занимают одно из первых мест в нашей мемуарной литературе: и характеристика эпохи и образ автора всегда привлекали читателей. Прочитав первые главы, помещенные в «Историческом вестнике» 1889 г., Чернышевский отозвался о них с большой теплотой. Он сразу же предпринял первые шаги, чтобы обеспечить отдельное издание воспоминаний: в его планы входило при этом сделать различные дополнения — выполнить это он не успел.

Написанные через двадцать семь лет воспоминания Панаевой, бывшей в самой гуще литературной борьбы эпохи, не всегда объективны и не отличаются точностью: многие даты и события в них спутаны.

Впервые — Исторический вестник, 1889, № 7, с. 34—52, № 8, с. 246—270.

Печатается по тексту последнего прижизненного издания: Панаева А. Я. Русские писатели и артисты. СПб., 1890, с. 290—333.

[1] Точность передачи Панаевой этих слов подтверждается письмами Тургенева к Дружинину и Григоровичу от 10 июля 1855 г. и посланным в тот же день письмом Тургенева к Некрасову (*ПссТ*. Письма, т. 2, с. 293, 296).

[2] В 1858 г. знаменитый французский писатель Александр

Дюма-отец посетил Россию; некоторое время он провел в Петербурге, в частности — у Кушелева-Безбородко.

[3] Письмо Добролюбова к Панаеву не сохранилось.

[4] Неточно: Некрасов в 1856—1857 гг. вел в «Современнике» отдел «Заметки о журналах».

[5] Добролюбов переехал в квартиру, соседнюю с некрасовской (на одной площадке по черному ходу), 25 августа 1858 и прожил в ней до мая 1859 г. (*СсД*, т. 9, с. 317; Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957, с. 123).

[6] Владимир Добролюбов переехал в Петербург в конце августа 1858 г. Первое время он жил у Т. К. Грюнвальд, а с середины сентября — у Добролюбова (*Материалы...*, с. 459—461, 469). Панаева приняла самое близкое участие в воспитании Владимира, а потом и Ивана (переехал в Петербург в августе 1860 г.— *Материалы...*, с. 585, 590—592) Добролюбовых. 12/24 сентября 1860 г. Чернышевский сообщал Добролюбову, что «Авдотья Яковлевна нянчится с вашими братьями так, как могла бы заботиться разве очень добрая сестра» (*ПссЧ*, т. 14, с. 408; см. также *ПссН*, т. 10, с. 438). После смерти Добролюбова редакция «Современника» в течение нескольких лет их материально обеспечивала.

[7] В организации сатирического приложения к «Современнику» «Свистка» (1859—1862) самое близкое участие принимал Добролюбов. Упоминаемый Панаевой В. С. Курочкин в «Свистке» не участвовал. В 1877 г. Некрасов напоминал: «Свисток» придумал, собственно, я, а душу ему, конечно, дал Добролюбов» (*ПссН*, т. 12, с. 24).

[8] Добролюбов пробыл в Старой Руссе приблизительно с 25 июня до 10 августа 1858 г. (*Летопись...*, с. 186—190).

[9] О какой статье идет речь — установить не удалось.

[10] См. коммент. 6.

[11] В. И. Добролюбов переехал в Петербург в январе 1859 г. (*Материалы...*, с. 488, 497).

[12] Этот криптоним раскрыть не удалось.

[13] Е. Я. и Д. Я. Колбасины были в числе ближайших друзей Тургенева, о ком из них идет речь — неясно.

[14] См. с. 354, коммент. 2 наст. изд.

[15] См. с. 354, коммент. 2 наст. изд.

[16] Повесть «Накануне» была напечатана в «Русском вестнике» (1860, № 1), для которого предназначалась с самого начала.

[17] Религиозная секта, основанная в 30-х годах XIX в. в США Дж. Смитом и названная по имени легендарного вождя Мормона. Среди прочих ее принципов было многоженство, которое и имеет в виду Панаева.

[18] См. с. 355, коммент. 5 наст. изд.

[19] Панаева ошибается: падение авторитета «Колокола» началось примерно с 1863 г.

[20] Панаева, конечно, намекает на Тургенева, но это предположение ошибочно: Тургенев приехал в Лондон уже после выхода того номера «Колокола», в котором была помещена статья «Very dangerous!!!» (К л е м а н М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.—Л., 1934, с. 105).

[21] См. с. 355, коммент. 5 наст. изд.

[22] По-видимому, имеется в виду роман Тургенева «Отцы и дети». Задолго до появления этого романа, вспоминал Г. З. Елисеев, ходили слухи, что его «главным героем выведен один из редакторов «Современника», именно Добролюбов» (*Шестидесятые годы*. М.—Л., 1933, с. 272). См. с. 355, коммент. 11 наст. изд.

[23] Это письмо, в котором, несомненно, шла речь о судьбе огаревского наследства, неизвестно.

[24] Панаева намекает на Тургенева, но ее подозрения ни на чем не основаны.

[25] Добролюбов выехал за границу приблизительно 14 мая 1860 г. (*Летопись...*, с. 258).

М. А. АНТОНОВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ

(Стр. 195—224)

Студент Петербургской духовной академии, а впоследствии видный критик «Современника» — Максим Алексеевич Антонович (1835—1918) принадлежит к числу поздних знакомых Добролюбова. Они встретились и познакомились, вероятно, в июле 1859 г., меньше чем за год до отъезда Добролюбова за границу.

«Современник» испытывал недостаток в сотрудниках отдела критики и библиографии, и Добролюбов сразу же оценил работящего и дельного студента, твердо порвавшего с духовной средой. Он заказывал ему сначала небольшие и второстепенные рецензии, а постепенно стал поручать и гораздо более ответственные выступления. За семь лет работы в журнале Антонович напечатал более пятидесяти рецензий и тридцати статей: в их числе такие принципиальные для «Современника», как «Асмодей нашего времени» (1862, № 3 — о романе Тургенева «Отцы и дети»), полемика с «Русским словом» и «Временем», ряд статей по философии, посвященных пропаганде материалистического мировоззрения, статья об учении Дарвина и т. д.

Воспоминания о Добролюбове Антонович писал в начале XX в.,

спустя сорок с лишним лет после смерти критика; неудивительно, что некоторые частности оказались изложенными по памяти неточно. Антонович широко использовал в своей работе подготовленные Чернышевским «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова». Несколько деталей мемуарного характера, касающиеся отношений Антоновича и Добролюбова и дружбы Чернышевского и Добролюбова, содержатся также в воспоминаниях Антоновича о Чернышевском и Некрасове (см. в сб.: «Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания, Г. З. Елисеев Воспоминания». М.—Л., 1933). Две записки Добролюбова к Антоновичу 1859 г. см. в *СсД*, т. 9.

Впервые (с цензурными пропусками) — Журнал для всех, 1902, № 1, с. 74—91. Перепечатано с восполнением пропусков, но с рядом неточностей по корректурному экземпляру воспоминаний в сб. «Звенья», 1934, вып. 3,4, с. 489—519. Этот же текст с несколькими дефектами вошел в кн.: «Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания, Г. З. Елисеев. Воспоминания». М.—Л., 1933, с. 134—176.

Печатается по тексту первого издания наст. сборника, где было опубликовано по корректуре *ЦГАЛИ*.

[1] Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца» (*СсД*, т. 8, с. 60).

[2] Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике» (1858, № 9; *СсД*, т. 3, с. 244—254).

[3] Это письмо неизвестно.

[4] Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно.

[5] Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. (*СсД*, т. 9, с. 248).

[6] Имеется в виду рецензия «Что иногда открывается в либеральных фразах!» (Русский раскол старообрядства ⟨. . .⟩ А. Щапова. Казань, 1859), начальные страницы которой написаны Добролюбовым (*Совр.*, 1859, № 9; *СсД*, т. 5, с. 286—288). Рецензия «Материалы для истории простонародных суеверий (Об антихристе . . . соч. Никольского. 1859. Le raskol ⟨. . .⟩)» появилась в № 6 за 1860 г.

[7] Цитата из письма к М. И. Шемановскому от 24 мая 1859 г. (*СсД*, т. 9, с. 357—358).

[8] Цитата из письма от 6 августа 1859 г. (т а м ж е, с. 378).

[9] Имеется в виду статья Добролюбова «Отец Александр Гавацци и его проповеди»; она не была пропущена цензурой и впервые появилась в 1862 г. в т. 4 посмертного издания Добролюбова (*СсД*, т. 7, с. 93—125).

[10] Цитата из письма к В. В. Лаврскому от 3 августа 1856 г. (*СсД*, т. 9, с. 254).

[11] Эта книжка не сохранилась.

[12] Имеется в виду Чернышевский.

[13] Вероятно, речь идет о цензоре Н. Ф. фон Крузе, уволенном за либерализм в начале 1858 г.

[14] Автором этой статьи был Г. З. Елисеев. Корректура ее хранится в *ИРЛИ*, ф. 628, оп. 2, № 96.

[15] См. с. 355, коммент. 5.

[16] Журнал «Русский вестник» под редакцией М. Н. Каткова до начала 1860-х годов горячо пропагандировал идеи английского парламентаризма.

[17] В 1857—1859 гг. Англия с необычайной жестокостью подавила в своей колонии Индии восстание сипаев — солдат, состоящих на службе Ост-Индской компании.

[18] Обе эпиграммы, а не одна, как считал Антонович, сохранились (см. *СсД*, т. 8, с. 27—28).

[19] Имеется в виду рецензия на стихи либерального поэта М. П. Розенгейма (*Совр.*, 1858, № 11; *СсД*, т. 7, с. 281—306).

[20] Речь идет о статье «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» (см. об этом *СсД*, т. 2, с. 7—46, 506—507).

[21] Имеется в виду муж сестры Некрасова подполковник Г. С. Буткевич. Как видно из неизданного архивного дела (*ЦГИА*, ф. 772, оп. 1, № 4863) его рекомендовали: отставной генерал-майор А. Н. Ераков, подполковник генерального штаба В. М. Аничков и полковник генерального штаба А. И. Астафьев.

[22] Это письмо от 30 июня (12 июля) 1860 г. (*СсД*, т. 9, с. 423—424).

[23] Имеется в виду митрополит Новгородский и Петербургский Григорий (Е. П. Постников; 1784—1860), оказывавший большое давление на цензурный комитет.

[24] Статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» была напечатана в «Атенее» (1858, № 18), скорее всего по тактическим соображениям, чтобы не наносить удара Тургеневу, ближайшему сотруднику «Современника» в близком ему журнале.

[25] Добролюбов был знаком с А. Д. Галаховым, но не находился с ним в лично близких отношениях, как считает Антонович.

[26] Приводимые Антоновичем строки содержатся в примечании Добролюбова к «Дружеской переписке Москвы с Петербургом» в № 4 «Свистка» (*Совр.*, 1860, № 3; *СсД*, т. 7, с. 424, примеч. 10).

[27] Имеется в виду книжка И. И. Покровского «Памятный листок ошибок в русском языке» (М., 1852).

[28] Речь идет о поэте А. Бешенцове, разоблаченном Добролю-

бовым в № 2 «Свистка» (*Совр.* 1859, № 4; *СсД*, т. 7, с. 346—347, 586—587).

[29] См. статьи Антоновича: «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (Слово, 1878, № 2, с. 82—83) и «Воспоминания по поводу чествования В. Г. Белинского» (Русская мысль, 1898, № 12, с. 1—12).

[30] Имеется в виду сатирическое стихотворение «На 50-летний юбилей . . . Греча» (*СсД*, т. 8, с. 7—11, 607—608). См. с. 54—55 наст. изд.

[31] В журнале «Слово», 1878, № 2, с. 82—83.

[32] Продолжение этого стихотворения (Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 6, с. 684; *СсД*, т. 8, с. 622—623) таково:

Что мы г...., и этим утешаем
Себя лишь тем, что составляем
Все ж не вонючее г....

[33] Цитата из популярной песни XIX в.:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий...

[34] Несомненно, предметом возникшего спора был вопрос о подлинности «Краледворской рукописи» — рукописного сборника древнечешских песен, якобы найденного В. Ганкой в 1817 г., в действительности же, как окончательно выяснилось в 80-е годы XIX в., оказавшегося подделкой, сделанной им из патриотических соображений.

[35] Речь идет о письме Чернышевского к Добролюбову от 3/15 мая 1861 г. и ответном письме Добролюбова от 12/24 июня 1861 г. (*ПссЧ*, т. 15, с. 428—429; *СсД*, т. 9, с. 473).

[36] Добролюбову принадлежит пять больших статей на «итальянские» темы: «Непостижимая странность», «Два графа», «Из Турина», «Отец Александр Гавацци и его проповеди», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (*СсД*, т. 7).

[37] Первая половина статьи Добролюбова «Непостижимая странность» была напечатана в *Совр.* (1860, № 11) с рядом цензурных искажений. Ряд намеков и параллелей, допущенных в статье, вызвал запрещение второй части: Чернышевскому удалось поместить статью полностью в т. 4 посмертного издания сочинений (*СПб.*, 1862).

[38] Эта книжечка не сохранилась.

[39] См. с. 265, 371 наст. изд.

[40] В 1862 г. с выходом романа Тургенева «Отцы и дети» (Рус-

ский вестник, 1862, № 2) слово «нигилизм» приобрело исключительную популярность.

[41] Пожар произошел в мае 1862 г., т. е. уже после смерти Добролюбова.

[42] Имеется в виду сводная рецензия на вышедшие в 1861 г. три книги по логике: Гегеля, П. А. Коробцева и А. И. Поморцева (*Совр*. 1861, № 8).

А. Н. ПЫПИН

МОИ ЗАМЕТКИ

(Стр. 224—228)

Известный славист, историк литературы и общественной мысли, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского — Александр Николаевич Пыпин (1833—1904) по своим воззрениям примыкал к культурно-исторической школе в истории литературы. В 1850—1860-х годах Пыпин был близок к кругу «Современника», в котором он активно сотрудничал. С 1863 г.— он член редакции; с 1865 г. и до закрытия журнала в мае 1866 г. был вместе с Некрасовым его ответственным редактором.

В годы ссылки Чернышевского Пыпин более двадцати лет сохранял у себя весь его архив. Пыпину мы обязаны и сохранением бумаг Добролюбова, находившихся со времени смерти критика у Чернышевского.

Печатается по тексту: журн. «Вестник Европы», 1905, № 3, с. 21, 25—28, где было опубликовано впервые полностью.

[1] См. с. 353, коммент. 2 наст. изд.

[2] См. с. 343, коммент. 22 наст. изд.

[3] При первоначальном распределении Добролюбов был намечен учителем 4-й (Ларинской) гимназии в Петербурге. Вследствие интриг И. И. Давыдова это назначение не осуществилось и Добролюбову предстояло учительствовать в Тверской гимназии. При поддержке товарища министра народного просвещения П. А. Вяземского, ему удалось получить номинальное назначение — домашним учителем детей кн. А. Б. Куракина, где он числился до мая 1858 г., а потом, тоже номинально — репетитором Второго кадетского корпуса до 25 сентября 1860 г., когда был уволен в отставку (Рейсер С. А. Добролюбов накануне окончания Главного педагогического института.— Труды Ленинградского гос. библиотечного института им. Н. К. Крупской. 1957, т. 2, с. 233—238).

[4] Михаил Алексеевич Воронов (1840—1873) — земляк Пыпина, беллетрист, сотрудник «Современника» и некоторое время секретарь Чернышевского.

[5] Местонахождение этой книжки неизвестно.

[6] С середины ноября 1857 и до конца июня 1858 г. Добролюбов жил на Фонтанке, № 39. (Этот дом не сохранился.)

[7] См. с. 357, коммент. 5 наст. изд.

[8] См. с. 352, коммент. 1 наст. изд.

[9] Пыпин провел 1858 и 1859 гг. в заграничной научной командировке.

Н. Д. НОВИЦКИЙ

ИЗ ДАЛЕКОГО МИНУВШЕГО

(Стр. 230—237)

Участник Крымской войны — Николай Дементьевич Новицкий (1833—1906) в конце 1850-х годов учился в Военной академии генерального штаба и был в числе прогрессивных офицеров, близких к Чернышевскому и Добролюбову, с которым он познакомился в марте — апреле 1859 г.

Не будучи революционером и отойдя впоследствии от участия в прогрессивном движении, Новицкий тем не менее навсегда сохранил уважение к памяти своих прошлых друзей. Написанные в 1890 г. с большой теплотою его воспоминания о Чернышевском и Добролюбове являются ценным источником.

Впервые с несколькими неточностями — *ЛН*, т. 67, 1959, с. 111—116.

Печатается по автографу (*ИРЛИ*, ф. 250, № 482).

[1] Неточная цитата из стихотворения «Пускай умру — печали мало» (*СсД*, т. 8, с. 86—87).

[2] См. с. 355, коммент. 11 наст. изд.

[3] Имеются в виду М. Н. Катков, П. М. Леонтьев и др.

[4] Негласным редактором реакционной «газеты-журнала» «Гражданин» в 1872—1878 гг. был В. П. Мещерский (1839—1914).

[5] См. с. 373, коммент. 5 наст. изд.

[6] Диспут о происхождении Руси, 19 марта 1860 г.

[7] См. с. 374, коммент. 8 наст. изд.

[8] Добролюбов отметил этот факт в особой заметке (*СсД*, т. 8, с. 599).

[9] Эти строки воспоминаний Новицкого — первое свидетельство о встрече Добролюбова с Островским. Статья «Темное царство» печаталась в № 7 и 9 *Совр.* за 1859 г. Так как после ее появления в печати Островский был в Петербурге в начале ноября (Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. М., 1953, с. 101, 102), то и его встреча с Добролюбовым, по-видимому, произошла в это время. Вероятно, к августу 1859 г. относится и набросок письма Островского к Добролюбову (Островский А. Н. Собр. соч. М., 1979, т. 11, с. 113).

[10] Персонаж из второго тома «Мертвых душ».

[11] Отрицательное отношение Добролюбова к либеральным деятелям итальянского движения Камилло Бензо Кавуру и Беттино Рпказоли выражено в статьях, перечисленных на с. 361, коммент. 36 наст. изд.

[12] Слово «говорильня» употреблено в статье «Из Турина» (*СсД*, т. 7, с. 7).

Н. А. ТАТАРИНОВА-ОСТРОВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 237—254)

Дочь симбирского помещика, члена губернского комитета по крестьянскому делу, а впоследствии члена редакционной комиссии в Петербурге Александра Николаевича Татаринова (1809—1862) — Наталья Александровна (по первому мужу — Грибовская, по второму — Островская; 1845—1910) в январе 1857 г. начала брать у Добролюбова уроки по русской литературе. Эти уроки продолжались приблизительно до середины года. Затем они возобновились, по-видимому, в конце 1859 г. и длились до отъезда Добролюбова за границу в середине мая 1860 г.— в это время Добролюбов занимался с Татариновой и ее двоюродной сестрой Александрой Федоровной. В *ЦГАЛИ* (ф. 496, оп. 1, № 1) хранятся двенадцать ученических тетрадей Татариновой и ряд отдельных листков, содержащих конспекты уроков. Записи эти, нередко в значительной степени испещренные поправками Добролюбова, являются, по существу, частью его творческого наследия; они представляют значительный интерес, характеризуя сложившиеся уже в это время революционные взгляды молодого критика — ученика Белинского и Чернышевского (опубликованы в *ЛН*, т. 67, с. 239—257).

Уроки у Татариновых и теплые отношения, установившиеся с семьей, помогли Добролюбову войти в петербургские литературные круги. Племянник А. И. и Н. И. Тургеневых, друг Н. М. Языкова по Дерптскому университету и его земляк — Татаринов имел обширные литературные связи. Активное участие Татаринова в редакционной комиссии в завершающий период разрешения крестьянского вопроса сделало его дом важным центром общественной жизни. На четвергах Татаринова бывали: П. В. Анненков, М. Н. Островский, П. Г. Редкин, К. Д. Кавелин, Н. А. Милютин, Н. В. Гербель, А. Ф. Писемский, А. Н. и В. Н. Бекетовы, Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский и др.

Добролюбов стал частым посетителем собиравшегося по четвергам салона; в дневнике зафиксирован, например, спор с братом драматурга, М. Н. Островским, о «чистом» искусстве и о диссертации Чернышевского (*СсД*, т. 8, с. 559—560).

Для Добролюбова семья Татаринова представляла значительный интерес в особенности тем, что он мог из первоисточника получать последние и совершенно точные сведения о всех перипетиях готовящейся крестьянской реформы.

Воспоминания Татариновой существуют в двух вариантах. В 1893 г. она напечатала в газете «Волжский вестник» «Мои воспоминания о Добролюбове», ознакомившись с которыми В. Г. Короленко в дневниковой записи от 23 ноября 1893 г. писал: «В «Волжском вестнике» напечатаны воспоминания о Добролюбове г-жи Островской, его бывшей ученицы (17 ноября, № 296). Наружность и внешние манеры Добролюбова обрисованы в этой статье с яркостью и мелочной подробностью, на которую способны женщины...» (Короленко В. Г. Полн. собр. соч. Посмертное изд.: Дневник. Харьков, 1926, т. 2, с. 219).

В течение последующих лет Татаринова продолжала писать воспоминания; они составляют тридцать шесть тетрадей и до сих пор большей частью остаются неизданными. Отрывок из них, посвященный Добролюбову, впервые был опубликован с некоторыми неточностями и в сокращенном виде — в журн. «Литература и марксизм», 1931, № 2, с. 112—125.

Печатается по первому изданию: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, Гослитиздат, 1961, где было опубликовано по автографу, хранящемуся в *ЦГАЛИ*.

[1] Автограф этой записки неизвестен; ср. близкие по содержанию упоминания в письмах к Ф. В. Благообразовой и В. В. Колосовской от 4 и 30 ноября 1857 г. (*СсД*, т. 9, с. 293—295).

[2] См. с. 354, коммент. 2 наст. изд.

В. И. МОДЕСТОВ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИЧНОСТИ И ВЗГЛЯД НА ПИСАТЕЛЯ

(Стр. 254—258)

Василий Иванович Модестов (1839—1907) — профессор Новороссийского (Одесского), Казанского и Киевского университетов, переводчик од и сатир Горация. В 1856—1860 гг. учился на филологическом отделении Главного педагогического института и был, таким образом, младшим сверстником Добролюбова.

По своим политическим воззрениям Модестов уже в студенческие годы был умеренным либералом, что и определило характер споров между ним и Добролюбовым. Никакой близости между ними не было, и, как видно из самих воспоминаний, после встреч в Старой Руссе в период 25 июня — 16 августа 1858 г. знакомство, если не считать одного случайного визита Модестова, не продолжалось.

Первоначально воспоминания Модестова были запрещены, а затем разрешены с некоторыми сокращениями (изъятые места не сохранились). См. *ЦГИА*, ф. 777, оп. 3, № 56, лл. 46—48 (сообщено В. Э. Боградом).

Печатается по тексту: журн. «Новь», 1886, 15 января, № 6, с. 232—233, где было опубликовано впервые.

[1] С начала 1860-х годов в России стали появляться подпольно изданные сочинения Л. Фейербаха, Л. Бюхнера и др.

[2] Не в Первый, а во Второй кадетский корпус, см. с. 362, коммент. 3 наст. изд.

[3] Три статьи Добролюбова о вышедшей в 1858 г. в трех томах книге Н. Г. Устрялова печатались под общим названием «Первые годы царствования Петра Великого» (*СсД*, т. 3, с. 7—132).

[4] Модестов имеет в виду Петра Николаевича Кудрявцева — профессора Московского университета, друга, ученика и преемника Т. Н. Грановского. Кудрявцев сотрудничал не только в «Русском вестнике», но и в «Отечественных записках». В редакцию «Русского вестника» он вошел в 1856 г. в качестве составителя политических обозрений. «Русский вестник» в эти годы занимал еще умеренно-либеральную позицию.

[5] На Малой Итальянской улице (ныне ул. Жуковского) Добролюбов жил в доме № 6 (современной нумерации) с начала августа до середины ноября 1857 г., т. е. до поездки в Старую Руссу. По возвращении в Петербург, с 25 августа 1858 г. до мая 1859 г. он жил на Литейном проспекте в доме № 36, рядом с квартирой Некрасова; адрес Добролюбова у Модестова указан неправильно.

П. И. ВЕЙНБЕРГ

‹ВОСПОМИНАНИЯ О ДОБРОЛЮБОВЕ›

(Стр. 258—260)

Петр Исаевич Вейнберг (1831—1908) — поэт, переводчик и историк литературы. С 1858 г. переехал из Одессы в Петербург и сотрудничал в «Библиотеке для чтения», «Современнике», «Искре» и в других периодических изданиях. В 1858 г. в «Колоколе» Герцена было напечатано стихотворение Вейнберга «Иакову Ростовцеву в день юбилея» — по поводу предательской роли Ростовцева накануне восстания декабристов. Были популярны некоторые юмористические стихи Вейнберга, особенно «Он был титулярный советник...», но наиболее значительное в его творчестве — переводы Гейне, Байрона, Гете, Лессинга, Шекспира, Шелли и ряда других авторов.

Воспоминания были прочитаны Вейнбергом на заседании Неофилологического общества при Петербургском университете 10 декабря в связи с 40-летием со дня смерти Добролюбова. Автограф неизвестен.

Печатается по тексту: газ. «Новое время», 1901, 11 декабря, № 9258, с. 2, где было опубликовано впервые в репортерском изложении в анонимной заметке «Памяти Добролюбова».

[1] Обед состоялся в ресторане Дюссо 10 марта 1859 г. в честь знаменитого актера Александринского театра в Петербурге А. Е. Мартынова, перед его отъездом на юг для лечения: вскоре Мартынов скончался от туберкулеза. Обед прошел очень тепло и оживленно; о нем подробно писал В. П. Боткин своему брату М. П. Боткину (Литературная мысль., 1923, вып. 2, с. 162); см. также запись А. В. Никитенко в «Дневнике» (изд. 1955 г. т. 2, с. 70).

[2] На этом обеде Некрасов прочитал стихотворение, обращенное к А. Е. Мартынову «Со славою прошел ты полдороги...» Цитируемая строка — из этого стихотворения («Свободную семью людей свободных Мартынов вкруг себя в тот день соединил»). Стихотворение впервые было напечатано в *Совр.* (1859, № 3).

[3] Добролюбову принадлежит перевод 24 лирических стихотворений Гейне: они сделаны в 1856—1857 гг. (*СсД*, т. 8, с. 88—97).

[4] В статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов

писал, что «вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее» (*СсД*, т. 6, с. 98).

[5] В газете «Россия» (1901, 11 декабря, № 9258, с. 2). эта фраза дана в другой редакции: «Речь зашла о Писемском, которого Добролюбов не любил за его личные качества».

[6] Добролюбов пробыл за границей с мая 1860 по конец июля 1861 г., т. е. год и два месяца.

В. Н. НИКИТИН

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 260—261)

Виктор Никитич Никитин (1839—1908) — публицист, беллетрист.

В мае 1860 г. Никитин, в то время писарь законодательного отделения канцелярии военного министерства, с запиской от Н. И. Костомарова пришел к Чернышевскому с рукописью одного из своих рассказов.

Первоначальный вариант под заглавием «Воспоминания о Н. А. Некрасове» был напечатан в журнале «Всемирный вестник», 1903, № 1, с. 124—138, за подписью «Бывший сотрудник «Отечественных записок».

Печатается по тексту: журн. «Русская старина», 1906, № 9, с. 660—661.

[1] Достоверность рассказа Никитина о встрече с Добролюбовым ставится под сомнение, так как первая статья, о которой он упоминает в воспоминаниях, появилась в «Русском инвалиде» 10 января 1862 г., когда критика «уже не было в живых» (Г а р к а в и А. М. Из мемуарной литературы о Некрасове.— Ученые записки Калининградского гос. ун-та, 1968, вып. 1, с. 148, 159; Б у ш к а н е ц Е. Г. Мемуарные источники. Казань, 1975, с. 44). Путаница в датах очевидна и может быть объяснена только тем, что со времени описываемых событий прошло более сорока лет. О том, что такая встреча действительно состоялась, свидетельствует ссылка на отъезд Добролюбова за границу «послезавтра» (14 мая), которая не могла быть выдумана.

[2] Утром Никитин был у историка Н. И. Костомарова, а затем видел Чернышевского, Добролюбова и Некрасова.

А. В. НИКИТЕНКО

ДНЕВНИК 24 ИЮЛЯ (5 АВГУСТА) 1860 г.

(Стр. 261—262)

Филолог и мемуарист — академик Александр Васильевич Никитенко (1805—1877) никогда близок с Добролюбовым не был. Встреча его с Добролюбовым была в Швейцарии случайной. Никитенко приехал в Интерлакен 13/25 июля 1860 г., а Добролюбов жил там приблизительно с 15/27 июня.

Впервые — Русская старина, 1890, № 11, с. 414.

Печатается по тексту издания: Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах. Л., 1955, т. 2, с. 135.

МАРКО ВОВЧОК (М. А. МАРКОВИЧ)

ПИСЬМО К Б. А. МАРКОВИЧУ 10 СЕНТЯБРЯ 1887 г.

(Стр. 262)

Знакомство Добролюбова с украинской и русской писательницей Марией Александровной Маркович (урожд. Вилинской; псевдоним — Марко Вовчок; 1834—1907) было очень недолгим. Они познакомились, по-видимому, в самом начале мая 1861 г. в Неаполе. 6/18 мая 1861 г. Марко Вовчок писала Тургеневу: «Здесь я встретила Добролюбова и видаю его каждый день. Он хороший какой человек и как не думает о том, что он вот как хорош и об этом не напоминает никому» (*ЛН*, т. 73, кн. 2, с. 292). Незадолго до того в № 9 *Совр.* за 1860 г. была напечатана большая статья Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья», посвященная народным рассказам Марко Вовчок.

Публикуемый отрывок — ответ на просьбу Чернышевского, переданную писательнице через ее сына — народника Богдана Афанасьевича. Б. А. Маркович (1853—1915) встретился с Чернышевским в Астрахани, где Маркович находился в это время в административной ссылке.

Из письма Марко Вовчок к Чернышевскому, относящегося к осени 1887 г. видно, что она послала ему сохранившиеся у нее письма Добролюбова и обещала «как только будет переписано, выслать и то, что «успела написать о нашей встрече и знакомстве в Неаполе» (Твори. В 7-ми томах. Київ, 1967, т. 7, кн. 2, с. 216).

Она просила использовать их в печати анонимно, так как «одна мысль видеть опять это имя, или, правильнее, кличку в печати невыразимо тягостна» (т а м ж е). В 1870-х годах Марко Вовчок почти прекратила литературную деятельность. Воспоминания, по-видимому, написаны не были и публикуемые строки лишь в небольшой степени их возмещают.

Шесть писем Добролюбова к М. А. Маркович см. в *СсД* (т. 9); двенадцать писем Маркович к Добролюбову: Твори. В 7-ми томах. Київ, 1967, т. 7, кн. 2, с. 84—96.

Впервые: М а р к о   В о в ч о к. Твори. Київ, 1928, т. 4, с. 461.

Печатается по изданию: М а р к о   В о в ч о к. Твори. В 7-ми томах. Київ, 1967, т. 7, кн. 2, с. 216.

А. П. ПЯТКОВСКИЙ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ (БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

(Стр. 263—264)

Журналист и критик Александр Петрович Пятковский (1840—1904) познакомился с Добролюбовым по возвращении его из-за границы,— так он сам датирует время встречи (Книжный вестник, 1861, № 22, с. 373). В это время, по словам мемуариста, «в его исхудалых чертах, в матовой бледности его лица уже ясно сквозили черты неумолимой болезни, общей ему с Белинским. Смерть уже сторожила свою жертву...»

Судя по воспоминаниям Н. Н. Мазуренко, Пятковский был у Добролюбова несколько раз (см. с. 295 наст. изд.).

Печатается по тексту: журн. «Книжный вестник», 1861, 1 декабря, № 22, с. 374—375, где очерк опубликован впервые на основании биографических сведений, сообщенных Чернышевским (об этом см. на с. 372 цитируемого номера «Книжного вестника»).

[1] К концу 1858 г. относится увлечение Добролюбова сестрой жены Чернышевского — Анной Сократовной Васильевой. Этот роман закончился неудачно. Второе увлечение Добролюбова — итальянка Ильдегонда Фиокки (Fiocchi); о ней см. с. 265, 371 наст. изд.

[2] Этот вопрос содержится в письме к дяде В. И. Добролюбову от 5/17 декабря 1860 г. из Генуи (*СсД*, т. 9, с. 456).

Д. П. СИЛЬЧЕВСКИЙ

К БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 264—266)

Дмитрий Петрович Сильчевский (1851—1919), по профессии журналист и библиограф, большую часть жизни провел в ссылках, впрочем, как справедливо отмечает новейший исследователь, «причислять его к последовательным деятелям революционного движения нет оснований» (Макашин С. А. в кн.: М. Е. Салтыков в воспоминаниях современников. Изд. 2-е, т. 2. М., 1975, с. 149). Сильчевский встречался с рядом писателей, и передаваемые им в статьях мемуарные материалы представляют определенный интерес. В перепечатываемом отрывке он рассказывает со слов А. Я. Панаевой историю увлечения Добролюбова в 1860 г. итальянкой Ильдегондой Фиокки (Fiocchi). В письме к М. А. Маркович из Неаполя от 28 мая/9 июня 1861 г. Добролюбов называет ее «мессинской барышней» (*СсД*, т. 9, с. 471).

Письмом от 22 мая/3 июня 1861 г. Добролюбов сделал ей предложение (письмо не сохранилось). В *ИРЛИ* (*Княжнин*, № 251) хранятся два неизданных письма к Добролюбову сестры Ильдегонды Фиокки — Софии Брунетти (Brunetti). Письмо от 30 мая/11 июня содержит уклончивый ответ от имени ее сестры и просьбу продолжать переписку: в письме любезная приписка И. Фиокки. 15/27 июня С. Брунетти сообщает, что ее сестра продолжает уклоняться от брака, ссылаясь на нежелание родителей отпустить ее в Россию. См. также письма Добролюбова к В. И. Добролюбову 5/17 декабря 1860 г. и Чернышевскому 12/24 июня 1861 г. (*СсД*, т. 9, с. 456—457; 473—476).

Трудно сказать, насколько соответствует действительности рассказываемый Сильчевским эпизод о врачебном осмотре и о сообщенном будто бы Добролюбову смертном приговоре. Л. Ф. Пантелеев, ссылаясь на разговор с Чернышевским в начале 1862 г., сообщает, что брак не состоялся, так как родители требовали, чтобы Добролюбов навсегда остался в Италии. Ни о каком врачебном освидетельствовании Чернышевский не рассказывал (Пантелеев Л. Ф. По поводу заметки г. Сильчевского о Добролюбове.— Русские ведомости, 1901, 1 декабря, № 325, с. 4; ср.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 466).

Печатается по тексту: газ. «Новости и биржевая газета», 1901, 17 ноября, № 317, с. 2, где было опубликовано впервые.

[1] Что именно имеет в виду Сильчевский, в точности неизвестно. Однако связь Добролюбова с итальянскими революционными деятелями представляется весьма вероятной. Подтверждением

этому могут служить слова, по-видимому, хорошо осведомленного автора некролога, который писал о том, что Добролюбов «весь погрузился в ту кипучую жизнь, которою жила соединявшаяся Италия, познакомился со всеми тамошними деятелями, принимал живое участие в их делах и прениях» (Время, 1861, № 11, с. 31—32; с. 316 наст. изд.).

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

ДЕТСКИЕ И ЮНЫЕ ГОДЫ. ВОСПОМИНАНИЯ 1845—1864 ГОДОВ

(Стр. 266—267)

Николай Николаевич Златовратский (1845—1911) — писатель, близкий к народничеству. Он шестнадцатилетним юношей видел Добролюбова, когда 6 или 7 августа 1861 г. по пути из Нижнего Новгорода в Петербург критик остановился на несколько часов во Владимире у своего институтского товарища — дяди будущего писателя, Александра Петровича Златовратского.

Впервые — Вестник Европы, 1910, № 9, с. 41—42 (первая редакция).

Печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956, с. 133—135 (текст автографа *ЦГАЛИ*).

[1] Отец будущего писателя, Николай Петрович Златовратский, письмоводитель канцелярии губернского предводителя дворянства; в 1859 г. он открыл во Владимире публичную библиотеку.

[2] Имеются в виду статьи Добролюбова о деятельности в качестве попечителя Киевского учебного округа Николая Ивановича Пирогова (1810—1881) — «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (*Совр.* 1860, № 1; *СсД*, т. 6, с. 7—31) и «От дождя да в воду» (*Совр.* 1861, № 8; *СсД*, т. 7, с. 133—160).

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

В. А. ДОБРОЛЮБОВ

ПАМЯТИ БРАТА

(Стр. 268—273)

Владимир Александрович Добролюбов (1849—1913) своего старшего брата не мог хорошо помнить,— когда Николай Александрович умер, ему было лишь двенадцать лет, да и жил он с бра-

том очень недолго — с конца августа 1858 г., то есть в общей сложности не более трех лет. Написанные спустя сорок лет воспоминания не отличаются точностью и дают сравнительно мало.

Печатается по тексту: газ. «Россия» (СПб.), 1901, 20 ноября, № 224, с. 2, где было опубликовано впервые. Несколько отрывков из этого очерка в их первоначальной редакции были переданы В. А. Добролюбовым М. М. Филиппову и использованы последним в его биографическом очерке «Николай Александрович Добролюбов», открывающем «Сочинения» Н. А. Добролюбова (изд. 6-е, СПб., 1901, т. 1, с. IV—V, XLIV—XLV, LXI—LXII).

[1] В. А. Добролюбов родился в 1849 г.— значит, описываемый им эпизод мог произойти, если даже считать, что он имел место перед самым отъездом Добролюбова в Петербург, когда автору было неполных четыре года; вероятно, это нечто вроде семейного предания, которое В. А. Добролюбов сохранил в памяти, вообразив себя его очевидцем.

[2] По-видимому, речь идет о приезде Добролюбова в Нижний Новгород в июне 1857 г.— в это время ему был 21 год, а В. А. Добролюбову — 8 лет.

[3] См. с. 357, коммент. 6 наст. изд.

[4] В действительности многие статьи Добролюбова появились в печати со значительными цензурными искажениями, устраненными лишь в советских изданиях.

[5] На Моховой ул. (д. № 7, кв. 1) Добролюбов жил с конца июня 1859 г. и до отъезда за границу в середине мая 1860 г. Дом не сохранился: теперь на его месте дом № 6 (нумерация домов изменилась).

[6] Василий Иванович, дядя Н. А. Добролюбова (брат его отца), мелкий чиновник в Нижнем Новгороде. Овдовев, он в январе 1859 г. переехал в Петербург к племяннику и поселился у него. В. И. Добролюбов выполнял ряд мелких поручений Н. А., особенно во время пребывания его за границей, и следил (вместе с А. Я. Панаевой) за воспитанием братьев Н. А.— Владимира и Ивана. Самолюбивый и обидчивый, он не поладил с племянниками и с 15 октября 1861 г. стал жить отдельно.

16 писем Добролюбова к дяде 1857—1861 гг. см. в *СсД* (т. 9) и 55 писем В. И. Добролюбова к племяннику 1854—1860 гг. с пропусками напечатаны в *Материалах*... Некоторые письма В. И. Добролюбова не изданы (*Княжнин*, № 180).

[7] См. с. 377, коммент. 6 наст. изд.

[8] И. Д. Делянов — попечитель Петербургского учебного округа в 1858—1861 и 1862—1866 гг.; в 1861 г. состоял директором департамента народного просвещения министерства народного

просвещения и членом Главного управления цензуры; графское достоинство он получил в 1888 г. Цель визитов Делянова к Добролюбову остается невыясненной.

[9] Речь идет о выступлении Чернышевского 2 марта 1862 г. на литературном вечере в зале Руадзе на тему: «Знакомство с Добролюбовым». См.: Краснов Г. В. Выступление Н. Г. Чернышевского с воспоминаниями о Н. А. Добролюбове 2 марта 1862 г. как общественное событие.— В сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1965, с. 143—163.

Л. Н. САМСОНОВ

ПЕРЕЖИТОЕ
МЕЧТЫ И РАССКАЗЫ РУССКОГО АКТЕРА. 1860—1878

(Стр. 274—275)

Известный в свое время провинциальный актер Леонид Николаевич Самсонов (1839—1882) в 1856—1857 учебном году был студентом первого курса Главного педагогического института (*Летопись...*, с. 327) и, значит, мог общаться с Добролюбовым только в течение этого учебного года. В 1860 г. он окончил Харьковский университет, недолгое время занимался педагогической деятельностью, а потом стал актером.

Особой близости между Самсоновым и Добролюбовым не было. 20—24 июля 1861 г. они встретились в Харькове. Во «Внутреннем обозрении» (*Совр.*, 1861, № 8) Добролюбов рассказал об этой встрече со своим бывшим товарищем и о его судьбе: антрепренер театра уговорил этого талантливого любителя бросить службу, а затем стал всячески «прижимать и оскорблять его ⟨...⟩ И вышла сцена, после которой непокорный не мог более оставаться в труппе» (*СсД*, т. 7, с. 197).

Самсонов благодарил Добролюбова за эти строки: «Харьков с полным сочувствием принял Вашу заметку — жаль, что не упомянули прямо — где» (*Летопись...*, с. 309). В августе и октябре того же года Самсонов писал Добролюбову, предлагая свои литературные произведения. Небольшую заметку о нем см.: Киевский театрал, 1907, № 1, с. 6—7.

Печатается по изданию: Самсонов Л. Н. Пережитое. Мечты и рассказы русского актера. 1860—1878. СПб., изд. А. С. Суворина, 1880, с. 17—21, где было опубликовано впервые.

[1] Почтовая карета.

К. В. ЛАВРСКИЙ

(Стр. 276—278)

Константин Викторович Лаврский (1844— после 1913) — брат семинарского друга Добролюбова по Нижнему Новгороду Валериана, студент Казанского университета. В мае 1863 г. он был арестован по делу об участии в «Казанском заговоре», но вскоре заболел и был помещен в госпиталь. Еще перед этим Лаврский дал властям «откровенные показания», которые председатель следственной комиссии сенатор С. Р. Жданов характеризовал как огромную услугу, склонившую «многих и, можно сказать, главных преступников к более широкому сознанию» (Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1920, т. 16, с. 347).

В воспоминаниях заслуживает внимания передача отзыва Добролюбова о Герцене. Важно сообщение о том, что Добролюбов расспрашивал Лаврского о Казанском университете; весьма вероятно, что Добролюбов знал о революционных настроениях казанских студентов и о существовании подпольной группы.

I. ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Печатается по изданию: *ЛН*, т. 67, с. 278.

[1] Добролюбов пробыл в Нижнем Новгороде с 1 по 5 или 6 августа 1861 г. (*Летопись...*, с. 296).

II. МЫСЛИ ВСЛУХ

Печатается по тексту: газ. «Волжский вестник», (Казань), 1893, 18 ноября, № 297, с. 3, где было опубликовано впервые с подписью «Сверчок».

[1] Имеется в виду стихотворение «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского округа», но оно было опубликовано до встречи Лаврского с Добролюбовым (*Совр.*, 1860, № 3; *СсД*, т. 7, с. 419—420).

Е. А. СТЕКЛОВА

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 23 МАЯ 1889 Г.

(Стр. 279)

Екатерина Александровна Стеклова (1843—1894) — младшая сестра Н. А. Добролюбова. После смерти родителей она была взята на воспитание в семью губернского прокурора Р. П. Реннен-

кампфа, вскоре переведенного в Симбирск на должность председателя палаты уголовного суда. В начале 1855 г. Е. А. Добролюбова была определена в Симбирский пансионат для сирот, где и пробыла до 1858 г. Затем она возвратилась в Нижний Новгород, жила у сестры Антонины и в конце 1861 г. стала женой преподавателя, а потом ректора Нижегородской и Симферопольской духовных семинарий Андрея Ивановича Стеклова (ум. в 1884 г.). Их сын Владимир — знаменитый математик, впоследствии вице-президент Академии наук СССР (Игнациус Г. И. Владимир Андреевич Стеклов. 1864—1926. М., 1967, с. 11—17). В его архиве хранится относящийся к 1919 г. набросок автобиографии, в котором есть такие строки: «Помню, что первое стихотворение, выученное мною со слов матери, когда я еще не умел читать, было: «Милый друг, я умираю //Оттого, что был я честен...» и т. д. и что имена Чернышевского и «дяди Коли» произносились не только в семье, но и среди всех знакомых не иначе как с благоговением» (Архив АН СССР в Ленинграде, ф. 162, оп. 3, № 125).

Печатается по изданию: *Шестидесятые годы*, с. 78—79, где было опубликовано впервые.

[1] См. с. 375, коммент. 1 наст. изд.

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

(См. о ней с. 357 наст. изд.)

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 280—293)

Печатается по изданию: Панаева А. Я. Русские писатели и артисты. СПб., 1890, с. 333—351.

[1] Возвращение Добролюбова не было неожиданным: по его письмам видно, что Чернышевский и другие лица были осведомлены о его планах возвращения в Россию в июле 1861 г.

[2] Автографы и полные тексты писем Добролюбова к Панаевой неизвестны.

[3] Панаева возвратилась в Петербург не раньше начала октября (*Летопись...*, с. 305).

[4] Некрасов имел, очевидно, в виду круг литераторов-ремесленников, с которым нужда связывала его в первые годы жизни в Петербурге. В это время он вынужден был писать различные афиши, сказки в стихах для издателей Гостиного двора и т. д.

[5] В. И. Добролюбов в это время уже жил отдельно.

[6] Квартира в доме Юргенса (ныне Литейный проспект, № 32, кв. 6) была снята В. И. Добролюбовым (может быть, с помощью Панаевой) в начале августа 1860 г., во время пребывания Добролюбова за границей (см. письмо В. А. Добролюбова к М. М. Филиппову от 2 февраля 1901 г.— Исторический архив, 1958, № 2, с. 121—122). В эту квартиру тяжелобольной Добролюбов был перенесен из квартиры Некрасова, в ней и скончался. Квартира была расположена на четвертом этаже — Панаева пишет о третьем.

[7] Частые посещения Чернышевским Добролюбова подтверждаются донесениями агента III Отделения, который вел наблюдение за ним (Красный архив, 1926, т. 1 (14), с. 87).

[8] О ком идет речь, не установлено. Во время предсмертной болезни Добролюбова лечили С. П. Боткин, П. Д. Шипулинский, Григорович и П. И. Боков (последний в конце октября был арестован). В *ИРЛИ* хранится неизданное письмо С. П. Боткина к П. И. Бокову, содержащее несколько врачебных советов в связи с болезнью Добролюбова (*Княжнин*, № 334; ср.: *Летопись...*, с. 313).

[9] Ср. в воспоминаниях В. А. Добролюбова, с. 272 наст. изд.

Н. Н. МАЗУРЕНКО

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 294—295)

Николай Николаевич Мазуренко (1840—после 1914) был исключен из Харьковского университета за участие в студенческих волнениях. В период 1859—1862 гг. он несколько раз ездил за границу, где установил контакт с Герценом, был корреспондентом «Колокола».

Мазуренко приехал из Харькова в Петербург с письмом бывшего товарища Добролюбова по Главному педагогическому институту, актера Л. Н. Самсонова. «Мой хороший знакомый Мазуренко очень желает познакомиться с Вами»,— писал Самсонов в этом письме (*Княжнин*, № 229). Знакомство состоялось, по-видимому, летом 1861 г. Е. Г. Бушканец предполагает, что Мазуренко выполнял для Добролюбова, а потом для Чернышевского конспиративные поручения (Бушканец Е. Г. Кто такой «Даниил»? — Вопросы истории, 1954, № 11, с. 110—111). Это предположение находит косвенное подтверждение в поведении Мазуренко: он в день ареста Чернышевского поспешно уехал в имение матери, а потом за границу (см.: Рейсер С. А. Вокруг Чернышевского.— Прометей, 1969, № 7, с. 246—249).

Печатается по тексту: журн. «Исторический вестник», 1901,

№ 12, с. 1064—1065, 1070, где было опубликовано впервые с подписью «Н. М—ко».

[1] Добролюбов после возвращения из-за границы жил на Литейном проспекте, ныне дом № 32. На Колокольной улице он никогда не жил.

[2] Добролюбов лечился не в Крыму, а за границей — в Швейцарии, Франции и Италии.

[3] См. с. 274 наст. изд.

[4] «Сцены из военно-походной жизни» С. И. Турбина были напечатаны в «Русской сцене», 1864, № 9.

[5] М. А. Антонович с 1862 г. заменил Добролюбова в отделе критики и библиографии.

[6] Драма П. Д. Боборыкина «Ребенок» была напечатана в «Библиотеке для чтения», 1861, № 1. Таким образом, Мазуренко ошибается: приносить ее Добролюбову после августа 1861 г. Боборыкин не мог.

Г

Н. В. ШЕЛГУНОВ

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

(Стр. 296)

Видный революционный деятель и публицист — Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891) с 1850-х годов был близок к кружку Чернышевского. В начале 1861 г. он вместе с М. Л. Михайловым написал прокламацию «К молодому поколению» (распространена в сентябре 1861 г.), в сентябре — октябре стала известна составленная им вторая прокламация — «К солдатам».

Шелгунов начал сотрудничать в «Современнике» с сентября 1861 г. Три его статьи «Рабочий пролетариат Англии и Франции» (№ 9—11) представляли собою изложение работы Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Работа Энгельса появилась в русском переводе в отрывках в 1884 и 1892—1893 гг., а полностью — лишь в 1905—1907 гг. Статья Шелгунова была, таким образом, едва ли не первой работой, способствовавшей проникновению в Россию идей марксизма. Она пользовалась большой популярностью в революционных кругах.

Знакомство Шелгунова с Добролюбовым относится, вероятно, к концу 1850-х годов; круг, в котором вращался Шелгунов, предопределил полное к нему доверие.

Впервые — Шелгунов Н. В. Собр. соч. СПб., 1891, т. 2, с. 734.

Печатается по изданию: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. В 2-х т. М., 1967, т. 1, с. 200.

[1] Добролюбов находился в квартире у Некрасова с начала или середины октября, приблизительно до 3 ноября. Вероятно, Шелгунов был у Добролюбова в середине октября, в разгар следствия по делу Михайлова.

Н. А. НЕКРАСОВ

ПОСМЕРТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 296—298)

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1877) встретился с Добролюбовым вскоре после знакомства последнего с Чернышевским, т. е. в апреле — мае 1856 г. Предположение, будто бы знакомство относится к 1855 г., когда Добролюбов приносил в «Современник» свою повесть, неосновательно: тогда он встречался с Панаевым (см. с. 170 наст. изд.).

Некрасов сразу же оценил талант и знания Добролюбова и вскоре предоставил ему полную самостоятельность в руководстве библиографическим отделом журнала. В письме к Тургеневу 25 декабря 1857 г. он обратил его внимание на «умные и блестящие страницы», принадлежащие Добролюбову — человеку «очень даровитому» (*ПссН*, т. 10, с. 375).

Личные отношения поэта и критика могут быть охарактеризованы как особо дружеские. Именно Добролюбова Некрасов посвящал в свои личные дела и переживания. Некрасов называл Добролюбова в своих стихах «юноша-гений» и посвятил ему несколько стихотворений (см. с. 323—324 наст. изд.). Некрасов посвятил умершему другу и выступление 2 января 1862 г. на вечере в зале 1-й петербургской гимназии в пользу бедных студентов. По одному из газетных отчетов мы можем судить о том впечатлении, которое оно произвело. Строки анонимного репортера служат важным дополнением к публикуемому тексту: «...зала была, как говорится, битком набита... Особенными, так сказать, двигателями вечера были: гг. Майков, Костомаров и Некрасов... Г-н Некрасов произвел фурор чтением стихотворений Добролюбова. Предварительно он нашел нужным сказать несколько объяснительных слов от себя. Добролюбова, заметил он, нужно искать не в стихотворениях, а в критических и полемических статьях; из них только можно видеть, какой это был честный и благородный человек, и как глубоко он сознавал и свято

исполнял долг гражданина, и какого полезного деятеля мы в нем лишились...» (Сын отечества, 1862, 2 января, с. 25).

Следует обратить внимание на некоторые строки публикуемого ниже выступления Некрасова. Поэт сказал: «Он сознательно берег себя для дела; он, как говорится... «не связал судьбы своей ни единым пристрастьем», устоял «перед соблазном жизни» и остался «полным господином своего сердца»,— все для того, чтобы ничто не помешало ему служить своему призванию, нести себя всецело на жертву долга, как он понимал его».

Вероятнее всего, Некрасов намекает на революционную деятельность критика. Последние годы жизни Добролюбова были связаны с создававшейся как раз в это время в России подпольной организацией «Земля и воля». Не исключено, что, живя в мае 1860—июле 1861 г. за границей, Добролюбов налаживал связи (см., например, письмо к В. И. Добролюбову от 20 мая 1860 г. в *СсД*, т. 9, с. 419 и др.). Характерным отражением бродивших слухов такого рода являются строки, будто бы Добролюбов скончался «с завещанием на умирающих устах: «сказано все, остается действовать — выходить на площадь с оружием в руках» (в кн.: Архиепископ Никанор (Бровкович). Биографические материалы. Одесса, 1900, с. 344).

В наследии Добролюбова нет ни одного подробного отзыва о произведениях Некрасова. Этому мешало то, что писать о Некрасове на страницах редактируемого им же журнала считалось невозможным. К тому же цензура в 1856—1861 гг., т. е. как раз в период литературной деятельности Добролюбова, не пропускала в печать никаких отзывов о стихотворениях Некрасова. Записи в дневнике (30 января 1857 г.), письма к ближайшим друзьям — М. И. Шемановскому и И. И. Бордюгову (от 6 августа и 20 сентября 1859 г.) — свидетельствуют о том, как высоко ценил Добролюбов поэзию Некрасова. В письме к Некрасову от 23 августа 1860 г. он писал: «...Вы любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила...» (*СсД*, т. 9, с. 440).

Именно в качестве поэта некрасовской школы Добролюбов вошел в историю русской поэзии. Некоторые произведения обдумывались и осуществлялись ими совместно (например, «Дружеская переписка Москвы с Петербургом»).

Статья представляет собой речь Некрасова, прочитанную 2 января 1862 г. в зале 1-й петербургской гимназии на вечере в пользу бедных студентов.

Впервые — *Совр.*, 1862, № 1, отд. I, с. 323—325, 348.

Печатается по изданию: *ПссН*, т. 9, с. 411—412, 428.

[1] Из стихотворения «Памяти отца» (*СсД*, т. 8, с. 60).

[2] Эти и следующие слова — неточные цитаты из стихотворения «Еще работы в жизни много...» (*СсД*, т. 8, с. 79).

[3] Цитата из стихотворения «С тех пор, как мать моя глаза свои смежила...» (*СсД*, т. 8, с. 81).

[4] Начало четверостишия 1861 г. (*СсД*, т. 8, с. 80). Стихотворение Добролюбова обращено к революции, о чем Некрасов, разумеется, не мог сказать в публичном выступлении. В перепечатываемой статье все тексты стихотворений приведены в редакции Некрасова, кое в чем не совпадающей с автографами Добролюбова.

И. И. ПАНАЕВ

ПО ПОВОДУ ПОХОРОН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 298—301)

Имя соредактора «Современника», журналиста и беллетриста Ивана Ивановича Панаева (1812—1862) встречается в дневниковых записях Добролюбова с осени 1855 г., когда он узнал, кто именно скрывается под псевдонимом «Новый поэт» (*СсД*, т. 8, с. 464). Впервые Добролюбов встретился с Панаевым в 1855 г., когда никому не известный студент Главного педагогического института предложил для журнала не дошедшую до нас повесть. Панаев рукопись отклонил и посоветовал Добролюбову не тратить времени «на сочинение повестей» (см. с. 170 наст. изд.). Настоящее знакомство состоялось после появления в журнале первых работ Добролюбова (т. е. в августе 1856 г.), а членом редакции «Современника» критик стал лишь с середины 1858 г. Таким образом, соответствующие строки Панаева содержат некоторые неточности.

Сколько можно судить, несмотря на постоянное общение, особой близости между Добролюбовым и Панаевым не было, и их отношения всегда оставались в границах корректности.

Печатается по тексту: журн. *Совр.*, 1861, № 11, отд. II, с. 72—78, где было опубликовано в составе раздела: «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта».

[1] См. с. 342, коммент. 22.

[2] Панаев здесь и дальше имеет в виду тот самый дневник, который Чернышевский в отрывках оглашал на похоронах Добролюбова и о котором сообщает агент III Отделения (см. с. 321). Эта часть дневника до нас не дошла.

[3] Неточно: тридцати семи.

Н. Я. НИКОЛАДЗЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

(Стр. 301—302)

Нико (Николай) Яковлевич Николадзе (1843—1928) — революционный деятель 1860-х годов, видный публицист, сотрудник «Колокола», «Современника», «Отечественных записок» и других журналов — лично с Добролюбовым никогда не встречался. Он приехал в Петербург в мае 1861 г., а 12 октября был уже арестован за участие в студенческих волнениях в Петербургском университете.

Печатается по тексту: журн. «Каторга и ссылка», 1927, № 4, (33), с. 48—49, где было опубликовано впервые. По сообщению проф. В. С. Шадури (Тбилиси) воспоминания были написаны в 1923 г. на русском языке в Лондоне, где жил в это время Николадзе.

Авторизованный перевод на грузинский язык был первоначально напечатан в журналах: «Кавкасиони» («Кавказ»), 1924, № 3—4 и «Ахали Кавкасиони» («Новый Кавказ»), 1925, № 1—2.

[1] Имеется в виду статья «Непостижимая странность», см. с. 362, коммент. 37 наст. изд.

[2] Псевдоним Добролюбова в «Свистке» — анаграмма фамилии славянофильского поэта Алексея Хомякова (1804—1860).

Н. В. РЕЙНГАРДТ

(Стр. 302—306)

1. ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Николай Викторович Рейнгардт (1842 — после 1905) — сотрудник, а затем редактор-издатель газеты «Волжский вестник», знаком с Добролюбовым не был. Его воспоминания посвящены описанию похорон и в основном подтверждаются другими источниками.

Печатается по тексту: газ. «Казанский биржевой листок», 1886, 24 января, № 19, с. 2—3, где было опубликовано впервые.

[1] Похороны Добролюбова состоялись на Литераторских мостках Волкова кладбища.

[2] Здесь и дальше, по цензурным причинам, имя Чернышевского было в газете заменено инициалами — NN.

[3] Из стихотворения «Еще работы в жизни много...» (*СсД*, т. 8, с. 79).

[4] Этот план не осуществился, хотя письмом в «С.-Петербургские ведомости» (1861, 29 декабря, № 287, с. 1574) редакция «Современника» сообщала, куда именно следует направлять деньги на памятник Белинскому и Добролюбову, «погребенным рядом». Против проекта общего памятника решительно возражала вдова Белинского (*ЛН*, № 57, с. 322). Постоянный памятник над могилою Добролюбова был установлен позднее.

II. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ И РАССКАЗАМ РАЗНЫХ ЛИЦ)

Печатается по тексту: журн. «Русская старина», 1905, № 2, с. 452—454, где было опубликовано впервые.

[1] Во время волнений в Петербургском университете в сентябре 1861 г. властями была арестована большая группа студентов, часть из них оставалась под арестом до начала декабря.

[2] Похороны Добролюбова состоялись не 19, а 20 ноября: дата смерти тоже указана у Рейнгардта неточно — не 16, а 17 ноября.

[3] Формально речь Чернышевского на похоронах Добролюбова не была ему инкриминирована, но, по существу, была в числе поводов для его ареста: похороны Добролюбова он превратил в политическую демонстрацию.

[4] Текст их см. на с. 325 и коммент. к ним на с. 390 наст. изд.

В. А. ОБРУЧЕВ

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

(Стр. 306—307)

Владимир Александрович Обручев (1836—1912) — участник революционного движения 1860-х годов, сотрудник «Современника». Член тайного общества «Великорус». 4 октября 1861 г. был арестован.

Печатается по тексту: журн. «Вестник Европы», 1907, № 5, с. 143—144, где было опубликовано впервые.

[1] В. А. Обручев вышел в отставку в чине поручика в августе 1859 г.

НЕКРОЛОГИ

Почти все русские газеты и журналы откликнулись на смерть Добролюбова. Из многочисленных некрологов в настоящем издании приводятся наиболее значительные. Некрологи не являются собственно мемуарным материалом, однако они весьма важны как непосредственные свидетельства современников, многие из которых лично знали Добролюбова.

В разделе некрологов помещено также донесение агента III Отделения, свидетельствующее о пристальном внимании к деятельности революционных демократов со стороны царского правительства.

Н. А. НЕКРАСОВ, И. И. ПАНАЕВ, Н. Н. ОБРУЧЕВ, Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

НЕКРОЛОГ

(Стр. 307)

Печатается по тексту: газ. «Северная пчела», 1861, 18 ноября, № 259, с. 1075, где было опубликовано впервые. Этот первый некролог важен тем, что он снабжен подписями ближайших друзей Добролюбова и в том числе Николая Николаевича Обручева (1830—1904) — видного деятеля и организатора подпольного революционного общества «Земля и воля».

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

(Стр. 307—312)

Впервые с рядом существенных сокращений — *Совр.* 1861, № 11, с. 1—8, особой пагинации, без подписи, в качестве редакционной статьи. В квадратные скобки заключены незачеркнутые в рукописи места, исключенные цензурой, или же Чернышевским, или Некрасовым в порядке автоцензуры. В двойные квадратные скобки заключены места, зачеркнутые в рукописи Чернышевского.

Печатается по изданию: *ПссЧ*, т. 7, с. 849—852, 1076.

[1] См. с. 333, коммент. 2 и с. 334, коммент. 7 наст. изд.

[2] Тексты юношеских стихотворений см. в *СсД*, т. 8.

[3] Эта статья напечатана в № 8 и 9 «Современника» за 1856 г.

[4] См. с. 342, коммент. 22 наст. изд.

[5] «Журнал для воспитания. Руководство для родителей и преподавателей» издавался в Петербурге в 1857—1859 гг. под редакцией А. А. Чумикова и ближайшем участии И. И. Паульсона. Журнал велся в умеренно-либеральном духе и не мог соответствовать взглядам Добролюбова: статей принципиального характера он в нем не помещал. После смерти Добролюбова, по просьбе Чернышевского, Чумиков и Паульсоп составили не отличающиеся особой точностью перечни работ Добролюбова в этом журнале (*Аничков*, т. I, с. 20—22).

[6] План остаться навсегда в Италии был связан с романом с Ильдегондой Фиокки; см. с. 265, 371 наст. изд.

[7] В это время происходили аресты передовых деятелей: были арестованы М. Л. Михайлов и В. А. Обручев.

А. С. ГИЕРОГЛИФОВ

ПОХОРОНЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 312—315)

Александр Степанович Гиероглифов (1824—1900) — журналист; в 1860—1863 гг.— редактор общественно-политической и литературной газеты «Русский мир», к участию в которой он привлек лучшие литературные силы (Достоевского, Писемского, Ап. Григорьева и др.). В 1860-х годах Гиероглифов был связап с прогрессивными кругами Петербурга. Власти считали, что он «принадлежит к обществу Чернышевского и компании» (*Герцен*, т. 15, с. 29). Он входил в Шахматный клуб — центр радикальной интеллигенции 60-х годов. Его подозревали в распространении «Великоруса» (т а м ж е, с. 325, 392). В 1870-х годах он пытался легально издавать Герцена (т а м ж е, т. 21, с. 302—308).

В некрологе содержится довольно подробное изложение речей Некрасова и Чернышевского, произнесенных над гробом Добролюбова.

Печатается по тексту: газ. «Русский мир», 1861, 22 ноября, № 91, с. 1524—1525, где было опубликовано впервые с подписью «А. Г—фов».

[1] Добролюбов был сыном не сельского, а городского священника. См. с. 333, коммент. 2 наст. изд.

[2] Эта часть дневника не сохранилась. По свидетельству А. В. Никитенко, Чернышевский «сказал на Волковом кладбище

удивительную речь. Темою было, что Добролюбов умер жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни почек, а затем и до смерти. Он неоднократно возглашал к собравшейся толпе: «А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем» (Дневник. М., 1955, т. 2, с. 243).

[3] Деньги для ссылаемого в Сибирь М. Л. Михайлова собирал Г. Е. Благосветлов (*Герцен*, т. 15, с. 29).

А. И. ГЕРЦЕН

КОНЧИНА ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 315)

Личных встреч между Добролюбовым и Александром Ивановичем Герценом (1812—1870), по-видимому, никогда не было. Высказываемые в литературе предположения о посещении Герцена Добролюбовым в августе 1860 г. остаются недоказанными *.

Добролюбов рано познакомился с сочинениями Герцена: уже в записях нижегородского времени (1853 г.) встречается упоминание статьи Герцена «Несколько замечаний об историческом развитии чести» в *Совр.* 1848 г. Во время учебы в Главном педагогическом институте он был постоянным и внимательным читателем «Полярной звезды» и других изданий вольной русской типографии.

В 1858 г. в «Колоколе» (лист 23—24 от 3/15 сентября) была анонимно напечатана статья Добролюбова «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны». О дальнейших отношениях и разрыве Герцена с кругом «Современника» и Добролюбовым в частности см. с. 356, коммент. 5 наст. изд. Однако несмотря на разногласия Герцен в своем некрологе высоко оценил деятельность русского критика.

Печатается по тексту: газ. «Колокол», 1861, 3/15 декабря, л. 116, с. 972, где было опубликовано впервые. Некролог был напечатан без подписи и перепечатан М. К. Лемке в разделе «Dubia» (*Герцен*, т. 11, с. 366). Авторство Герцена убедительно обосновано (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 15. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 418).

---

* Рейсер С. А. Необоснованная гипотеза.— Вопросы литературы, 1961, № 2, 56—63; Встречался ли Н. А. Добролюбов с А. И. Герценом в 1860 году? По материалам дискуссии на заседании Группы по изучению революционной ситуации в России в 1859—1861 гг.— В сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1962, с. 519—540; Бутканец Е. Г. Добролюбов и Герцен.— В кн.: «Проблемы изучения Герцена». М., 1963, с. 288—291.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ НЕКРОЛОГ

(Стр. 315—316)

Печатается по тексту: журн. «Время», 1861, № 11, «Смесь», с. 31—32, где было опубликовано впервые, без подписи. В. С. Нечаева считает, что некролог, возможно, написан А. Е. Разиным или П. А. Бибиковым. (Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972, с. 278). Также предположительно он приписывался Ф. М. Достоевскому (в кн.: «1-я Всесоюзная межвузовская конференция по проблемам изучения и преподавания литературной критики в высшей школе». Л., 1974, с. 53—60). Однако, «все те же аргументы, которые выдвигались в пользу авторства Ф. М. Достоевского, могут быть выдвинуты также в пользу авторства главного редактора «Времени», его старшего брата. Достоевский же, скорее всего, лишь отредактировал отдельные места некролога или внес в него свои стилистические поправки» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Л., 1984, т. 27, с. 187). Таким образом, вопрос об авторе некролога остается открытым.

[1] Этим криптонимом Добролюбов не пользовался: может быть, автор имеет в виду «Н. Т—нов»?

[2] Неточно: литературная деятельность продолжалась пять лет.

[3] Неточно: кроме Италии, Добролюбов был во Франции, в Швейцарии, в Германии, в Австрии и в Греции. О связях Добролюбова с итальянскими деятелями см. с. 265 и коммент. 1 на с. 371 наст. изд.

[4] Эти слова ошибочны: здоровье Добролюбова во время пребывания за границей не улучшилось. Уже в Одессе, на обратном пути в Россию, у него открылось горловое кровотечение.

П. И. ВЕЙНБЕРГ

(см. о нем с. 368 наст. изд.)

ЧТО НОВОГО В ПЕТЕРБУРГЕ?

(Стр. 316—317)

Печатается по тексту: журн. «Век», 1861, 28 ноября, № 47, с. 1343, где было опубликовано впервые, с подписью: «Гейне из Тамбова».

В. Р. ЗОТОВ

НЕКРОЛОГ

(Стр. 317—318)

Владимир Рафаилович Зотов (1821—1896) — писатель и критик. К первой статье Добролюбова «Собеседник любителей русского слова» он отнесся отрицательно и участвовал в возникшей тогда в печати полемике. И впоследствии основные статьи Добролюбова («Что такое обломовщина?», «Литературные мелочи прошлого года» и др.) вызывали с его стороны отрицательные отзывы. Некоторые же выступления Добролюбова (например, о жизни русского духовенства) он приветствовал, скорее всего не зная их автора.

Некролог Зотова свидетельствует, однако, о сочувственном отношении к Добролюбову и о верном понимании значения его деятельности в целом.

Печатается по тексту: журн. «Иллюстрированный семейный листок», 1861, 26 ноября, № 197, с. 446, где было опубликовано впервые.

[1] Ни одна из появившихся в печати работ Добролюбова не была подписана его именем. Все они были опубликованы анонимно или под одним из его псевдонимов.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

НЕКРОЛОГ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

(Стр. 318—319)

Печатается по тексту: газ. «С.-Петербургские ведомости», 1861, 26 ноября, № 263, с. 1441, раздел «Петербургская летопись», где было опубликовано впервые.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

НЕКРОЛОГ

(Стр. 319)

Печатается по тексту: газ. «Русский инвалид», 1861, 19 ноября, № 257, с. 1061, где было опубликовано впервые.

N. N.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ

(Стр. 319—321)

Автор некролога в точности не установлен, но скорее всего им является журналист Леонид Петрович Блюммер (1840—1888).

Печатается по тексту: газ. «Северная пчела», 1861, 23 ноября, № 262, с. 1090, где было опубликовано впервые.

[1] Автор некролога повторяет ошибку А. С. Гиероглифова, см. с. 314 наст. изд. Неточности этого некролога были отмечены в заметке П. И. Мельникова-Печерского, см. с. 46 наст. изд.

[2] Ошибка; см. коммент. 2 на с. 387 наст. изд.

[3] Ошибка или опечатка: обычный псевдоним Добролюбова «Н.— бов».

ДОНЕСЕНИЕ АГЕНТА III ОТДЕЛЕНИЯ О ПОХОРОНАХ ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 321—322)

Печатается по тексту: журн. «Красный архив», т. 1, (14), 1926, с. 90—92, где было опубликовано впервые.

[1] В донесении другого агента сказано, что «Некрасов в продолжении речи плакал и должен был остановиться, так как от слез не мог больше говорить». (Красный архив, 1926, т. 1(14), с. 91 сн.).

[2] Речь идет о поэте М. Л. Михайлове, арестованном 14 сентября 1861 г.

[3] Имеются в виду стихотворения «Милый друг, я умираю...» и «Памяти отца».

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДОБРОЛЮБОВУ

Н. А. НЕКРАСОВ

ДВАДЦАТОЕ НОЯБРЯ 1861 ГОДА

(Стр. 323)

Впервые — *Совр.*, 1862, № 1, отд. I, с. 348. С некоторыми изменениями — в издании: Некрасов Н. А. Стихотворения. СПб., 1864, ч. 3, с. 17. Печатается по этому тексту. Написано в день похорон Добролюбова.

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 324)

Впервые — *Совр.*, 1864, № 11—12, отд. I, с. 276. С некоторыми изменениями — в издании: Некрасов Н. А. Стихотворения. СПб., 1869, ч. 4, с. 272—273. Печатается по этому тексту. Впоследствии Некрасов сделал под стихотворением следующую приписку: «Надо заметить, что я хлопотал не о верности факта, а старался выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время лелеял Добролюбов». Строки «Какой светильник разума погас! Какое сердце биться перестало!» В. И. Ленин избрал эпиграфом к некрологу Фридриху Энгельсу (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 5).

М. Л. МИХАЙЛОВ

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

(Стр. 325—326)

Впервые — Колокол, 1862, 3/15 января, прибавление к листам 119—120, с. 1001. Печатается по этому тексту. Стихотворение быстро разошлось в списках по всей России и стало любимой студенческой песней. Стихотворение написано в Петропавловской крепости 20 ноября и сопровождалось следующей припиской автора: «Стихи эти невольно сложились у меня в голове вечером в день похорон бедного Бова, и я записал их, чтобы откликнуться из своей клетки на общее наше горе. Сообщите их друзьям покойника. Они не станут искать в них эстетических красот, как не искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и представляется его доброе прекрасное лицо со слезами на щеках. Да, умирать в такие годы горько». Михайлова и Добролюбова связывала давняя дружба, а возможно и совместная деятельность в создававшейся в это время подпольной революционной организации.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

«ТЫ ЖАЖДАЛ ПРАВДЫ, ЖАЖДАЛ СВЕТА...»

(Стр. 326)

Впервые — Гусли, 1881, декабрь, с. 3. Печатается по этому тексту. Стихотворение написано в связи с двадцатой годовщиной со дня смерти Добролюбова.

Г. Н. ЖУЛЕВ

В МАСТЕРСКОЙ ФОТОГРАФА

(Стр. 327—330)

Печатается по изданию: «Ба! Знакомые все лица! Рифмы дебютанта (Скорбного поэта) Г. Н. Жулева». СПб., 1872, с. 19—23, где и было опубликовано впервые (?). Гавриил Николаевич Жулев (1836—1878) — поэт и артист, примыкавший к прогрессивному лагерю, сотрудник «Искры» и др. сатирико-юмористических изданий.

[1] Владелец универсального магазина в Петербурге.

[2] Добролюбов умер на двадцать шестом году жизни.

П. Ф. ЯКУБОВИЧ

«ДРУЗЬЯ! В ТЯЖЕЛЫЙ МИГ СОМНЕНЬЯ...»

(Стр. 330)

Впервые — Вестник «Народной воли», 1885, № 4, с. 130. В легальной печати (с изменениями) — «Русское богатство», 1902, № 2, с. 228. Печатается по изд.: П. Я. (П. Якубович-Мельшин). Стихотворения. Изд. 6-е. СПб., 1910, т. 1, с. 82.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ[1]

[1] В указатель внесены названия периодических изданий и все личные имена, упомянутые прямо или косвенно в текстах воспоминаний. При именах авторов перечисляются упоминаемые в тексте и комментариях названия принадлежащих им произведений, а также литературные персонажи. Произведения эпические и фольклорные, а также анонимные и коллективные, приводятся в алфавите своих названий. Ссылки на страницы вступительной статьи и комментариев набраны курсивом. Имена и названия, встречающиеся только в статье и комментариях, в указатель не включены. Указатель составлен А. М. Малаховой.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

НЕКРОЛОГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДОБРОЛЮБОВУ

Д 56 **Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников.**— Вступ. статья Г. Елизаветиной; Сост., подгот. текста и коммент. С. Рейсера.— М.: Худож. лит., 1986.— 422 с., портр. (Лит. мемуары.)

В книгу вошли воспоминания, статьи и заметки мемуарного характера, посвященные жизни и творчеству выдающегося русского критика, революционера-демократа Н. А. Добролюбова. Наряду с известными воспоминаниями А. Я. Панаевой, Н. Г. Чернышевского, М. А. Антоновича в сборник включены и менее известные мемуары И. М. Сладкопевцева, Б. И. Сциборского, М. И. Шемановского и др.

Д $\frac{4702010100-159}{028(01)-86}$ 18-86

ББК 84Р1
8Р1

**Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ**

Составитель
Соломон Абрамович Рейсер

Редактор **Л. Платонова**

Младший редактор **В. Авдеенко**

Художественный редактор **Г. Масляненко**

Технические редакторы
Е. Пьянова и Л. Синицына

Корректоры **Л. Лобанова, И. Макаревич**

ИБ № 3375
Сдано в набор 03.01.85. Подписано к печати 27.08.85. Формат 84×108[1]/[32]. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,26 + вкл. + альб. = 23,15. Усл. кр.-отт. 23,57. Уч.-изд. л. 23,59+вкл.+альб. =24,48. Тираж 100000 экз. Изд. № II-1746. Заказ № 5-28. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24

